

2012
01/01/12



academia

11



Н Е М Е Ц К А Я Л И Т Е Р А Т У Р А

Под общей редакцией
М и х. Л и ф ш и ц а

Г Е О Р Г Б Ю Х Н Е Р

(1813—1837)

А С А Д Е М І А
Москва — Ленинград

ГЕОРГ БЮХНЕР

СОЧИНЕНИЯ

Перевод Е. Т. Рудневой
Статья А. К. Дживелегова
Комментарии А. И. Рубина

ACADEMIA

1935

Georg Büchner

WERKE UND BRIEFE

*Иллюстрации, переплет и супер-обложка
Н. Б. Розенфельда*



ГЕОРГ БЮХНЕР

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Из сочинений Георга Бюхнера до настоящего времени на русском языке были изданы: „Смерть Дантона“ (Соч. Бюхнера, вып. I, СПб. 1905; Альманах „Знание“, СПб. 1909; Собр. сочинений, изд.: „Всемирная литература“, М.—Л. 1924); „Войцек“ (изд. „Всемирная литература“, М.—Л. 1924); „Гессенский сельский вестник“ (Соч. Бюхнера, вып. I, СПб. 1905). Остальные произведения Бюхнера на русский язык не переводились и нами издаются впервые.

Все включенные в настоящий сборник произведения переведены по изд. *Georg Büchner, Sämtliche Werke und Briefe. Insel-Verlag 1922*, дающему наиболее критически проверенный текст. При этом нами выпущены естественнонаучные и философские сочинения Бюхнера, переводы драм В. Гюго („Лукреция Борджиа“ и „Мария Тюдор“), стихотворения и гимназические статьи и речи, за исключением „Катона Утического“, перевод которого мы даем. Из переписки Бюхнера мы даем все письма самого писателя, но опускаем письма его корреспондентов.

ГЕОРГ БЮХНЕР

1813—1837

I

Бюхнер жил не полных двадцать четыре года и написал: четыре пьесы, более или менее неотделанные („Смерть Дантона“, „Леонс и Лена“, „Войцек“, „Аретино“), незаконченную новеллу „Ленц“, три философских труда („История греческой философии“, „Система Спинозы“, „Система Декарта“), прокламацию „Воззвание к гессенским крестьянам“, много стихов и писем. Читал курс сравнительной анатомии в Цюрихском университете.

Немецкая радикальная общественность не даром оплакивала раннюю смерть этого удивительного юноши, так же как русская радикальная общественность оплакивала смерть Добролюбова, умершего в том же возрасте и так же бесконечно много обещавшего.

Обоих убила непосильная борьба. И, быть может, Бюхнеру в меттерниховской Германии было даже тяжелее, чем Добролюбову через тридцать лет в царской России.

Правда, когда Бюхнер выступил, уже начался некий жерелом. Июльская революция во Франции подрубила основы сколоченного на Венском конгрессе политического порядка и дала еще один после 1814—1821 годов сев. конституций в мелких государствах. Скорпионы новых полицейских скрижалей 1834 года родились без устрашающей силы Карлсбадских постановлений.¹ Хозяйство мед-

¹ Свод полицейских правил, принятый немецким Союзным сеймом сейчас же после Венского конгресса. 1819 году, самая высокая волна реакции в Германии..

ленно возрождалось после долгой спячки. Из общественных классов собственную организацию имели только верхи буржуазии. Богатая буржуазия одна могла осуществить та-моженный союз между Пруссией и несколькими мелкими государствами — начало объединения Германии. Она одна могла утилизировать в своих интересах параграфы конституционных хартий, не очень тароватых на вольности. Для нее одной работали экономисты, публицисты, поэты: Фридрих Лист, Роттек и Велькер, Дутлингер, „Молодая Германия“. Другие классы не имели ни организации для защиты своих экономических интересов, ни охраны в конституциях. И литература не отражала их нужд и интересов — ни научная, ни художественная. Ремесленники нигде или почти нигде не проявляли классового самосознания. Крестьяне были забиты и прозябали в безысходной нужде. Пролетариата не было почти совсем. Среди грудящихся царило безмолвие.

И эту черную мглу вдруг прорезывает молния. 1 августа 1834 года у ворот города Гиссена, в герцогстве Гессен-Дармштат, полиция арестовала студента Карла Миннегероде. У него нашли полтораста экземпляров прокламаций „Hessische Landbote“ — „Воззвание к гессенским крестьянам“. Прокламации конфисковали, студента посадили. Началось дело. Вскоре были арестованы пастор Фридрих Людвиг Вейдиг и журналист Август Беккер, „Красный Беккер“, как его называли в кружке Маркса в 40-х годах и позднее. Через некоторое время из пределов герцогства скрылся молодой писатель Георг Бюхнер.

Вейдиг был главою, а Бюхнер душой разгромленного тайного общества. Незадолго перед этим Бюхнер вернулся из Франции, где он учился в Страсбургском университете. В Гиссене, где он продолжал свои университетские занятия, он сошелся с кружком Вейдига, который был главою

гиссенского филиала организации, незадолго перед тем устроившей франкфуртский путч. В кружке он сразу занял положение главной научной и литературной силы, читал лекции по философии и старался вразумить членов кружка революционному искусству, как понимал его сам. Вейдиг, монархист, не понимавший, как можно делать революцию вне связи с буржуазными либералами, смотрел на юношу косо: его пугал революционный темперамент Бюхнера и смущали его политические взгляды. Конфликт между ними назревал, и разрыв был предупрежден разгромом кружка.

Среди арестованных оказался предатель, который рассказал все, что знал. Но он знал не все, и процесс поэтому затянулся надолго. В тюрьме заболел психически Миннегероде, а 23 февраля 1837 года Вейдиг, замученный, в припадке умоисступления перерезал себе горло осколком стекла. За четыре дня до этого в Цюрихе умер перебравшийся туда из Франции и ставший доцентом по кафедре сравнительной анатомии Бюхнер. Тогда рыжий Беккер рассказал суду историю прокламации.¹

Прокламацию написал Бюхнер. Вейдиг, который был революционером постольку, поскольку может быть революционером протестантский священник меттерниховской Германии, влил в расплавленный металл Бюхнера революционного пафоса добрую порцию лампадного масла. В этом виде прокламация была напечатана. В этом виде она распространялась и в этом виде дошла до нас. Беккер

¹ Гессенское правительство уничтожило эту прокламацию, и так хорошо, что оставался один единственный экземпляр у брата Бюхнера, Людвига, автора книги „Сила и материя“, знаменитого биолога-материалиста. По этому экземпляру она была перепечатана Карлом Эмилем Францозом в собрании сочинений Георга Бюхнера, им изданном: „Georg Büchners sämtliche Werke mit handschriftlichem Nachlass (Frankfurt a. M. 1879).“

своими показаниями на суде¹ помог нам распознать допущения Вейдига, но мы никогда не узнаем, что этот богобоязненный революционер выбросил из Бюхнерова текста.

Нам известно, что когда Бюхнер увидел свою брошюру в печати, он был до глубины души возмущен „поправками“ Вейдига и говорил, что вычеркнуто у него именно то, чему сам он придавал наибольшее значение и без чего теряло смысл остальное. Нам известно, в чем заключались два самых крупных изменения, сделанных Вейдигом. Всюду, где у Бюхнера стояло „богатые“, „die Reichen“, он поставил „die Vornehmen“, слово, которое означает знатных, притом не в социальном, а в бытовом смысле. Этим, как увидим, была затушевана четкая социальная мысль Бюхнера. Она была затушевана еще больше тем, что Вейдиг вычеркнул все резкие нападки на либералов, которые Бюхнер щедро рассыпал по воззванию. Но этого мало; Вейдиг разбил внутреннюю логическую связь Бюхнерова воззвания, пересыпав его цитатами из библии и божественными сентенциями. Как будто это была воскресная проповедь, а не революционная прокламация. Август Беккер, после того уже как Бюхнер умер, раскрыл до конца ход его мыслей во всей их революционной зна-

¹ К счастью, показания Беккера сохранились полностью. Несколько лет спустя после окончания процесса один старательный и благонамеренный гессенский чиновник, д-р Неллер, издал, чтобы опровергнуть нападки печати на гессенское правительство— были ведь 40-е годы: писалось смелее — почти всю стенограмму дела „Документальное изложение дела о государственной измене пастора Ф. Л. Вейдига“ (1844). Сомнительно, чтобы труд этого верного слуги реакции примирил кого-нибудь с великогерцогским правительством. Но агитационного материала он дал сколько угодно. Мы не знаем, догадался ли великий герцог лишить своего Hofgerichtsrat'a пенсии. Это было бы самым легким наказанием за его глупость.

чительности. Своими показаниями он топил своего друга юридически, что тому было уже не опасно, но зато в глазах потомства окружил его имя сверкающим ореолом.

В чем же теория Бюхнера?

II

То, что Бюхнер наблюдал в жизни Германии, сводилось к одному: к борьбе либеральной буржуазии против реакционных правительств из-за политической власти. Буржуазия требовала большей доли во власти, чем уделяли ей худосочные хартии немецких государств. После июльской революции во Франции напор буржуазии несколько усилился, но продолжал оставаться столь же безрезультатным, как и раньше. Меттерних зорко следил, чтобы правители Германии не увлекались либеральными идеями и не шли на какие-либо реальные уступки. Бюхнер знал, что кое-где замышляются перевороты: во Франкфурте совсем недавно такая революционная попытка привела даже к выходу на улицу. Но он был уверен — и события показали, что его уверенность не была пустым пессимизмом — что все эти попытки заранее обречены на неудачу. И точно формулировал причину: буржуазным революционерам некого и нечего противопоставить правительственным войскам, кроме кучки интеллигенции и единичных ремесленников. Массы не вовлечены в движение. А революция может совершиться только руками широких масс. Именно массы нужно привлечь на ее сторону. Но чем? Чисто политические лозунги — конституция, права человека, свобода печати — не скажут им ничего. Потому что когда говорят „массы“, нужно иметь в виду главным образом крестьян. А крестьянам эти вещи непонятны. Только на равнодушии крестьян к политическим лозунгам зиждется их верность своим государям. Но верность эта лишь кажущаяся. Нет никакого сомнения, что

крестьяне заряжены недовольством и причины их недовольства очень ясны. Это их материальное положение: зависимость от помещика, скудные доходы, чрезвычайно тяжелые подати, словом — голод. Если революция хочет иметь успех, она должна путем разумной агитации привлечь крестьян, измученных голодом и нуждой.

Почему Бюхнер считал крестьян главной революционной силой?

Студентом в Страсбурге он много занимался историей Великой французской революции. В истории 1789—1799 гг. революционная роль крестьян бросалась в глаза и уже была освещена в литературе. Отголосками Французской революции в Германии в последнее десятилетие XVIII века были, если исключить единичные движения в рейнских городах, поднятые буржуазной интеллигенцией, только крестьянские движения по Рейну, в Гессен-Касселе, в Саксонии, в Силезии. О Гессен-Кассельской жакерии еще не забыли там, где жил Бюхнер. А самое главное: только что, в 1830 году, сейчас же после того как весть об июльских днях пришла в Германию, по Гессен-Дармштату пронеслось бурное, хотя и быстро подавленное, крестьянское движение. Оно началось неожиданно и стихийно. Кто-то пришел в гессенские деревни и рассказал о том, что произошло в Париже несколько недель назад. Просто рассказал — ничего больше. И деревни поднялись, чтобы сделать то же.

Но не было не только агитации: не было скольконибудь толкового руководства и элементарной хотя бы организации. Жить было тяжело и думалось, что, если соберется большая толпа, все будет как во Франции. Но вышло не как во Франции. Драгунские сабли в Гессен-Дармштате пока что оказались острее.

И все-таки движение взбудоражило умы. Оно давало Бюхнеру главные идейные толчки. Другого материала

для социальных конструкций у него не было. Городская демократия в Германии не была способна к революционным выступлениям. Это показал тот же франкфуртский „путч“ 1834 года. Роль пролетариата была заметна еще меньше. Должно было пройти более десяти лет, и должен был появиться Карл Маркс, способный окинуть взглядом все европейские арены промышленного труда, чтобы могла создаться идеология пролетарской революции.

Каков же был метод, помощью которого Бюхнер старался осмыслить этот свой материал и извлечь из него политические уроки? Главные свои руководящие точки зрения Бюхнер черпал в материалистической философии. У нее он взял свое представление о господстве в общественной жизни материального момента. Значение идеи, как силы, самостоятельно двигающей общественное развитие, Бюхнер начисто отрицал. Этим он отрекался от какой бы то ни было связи с идеалистической философией, владевшей в то время умами большинства передовых людей, в том числе и вождей, „Молодой Германии“. Отношение Бюхнера к последней обуславливалось, повидимому, сознанием необходимости держать какую-то тактическую связь с этим наиболее радикальным крылом либеральной буржуазии. Он переписывался очень оживленно с Гуцковым и позднее печатал в его органах свои произведения.

Кое-чем обязан был Бюхнер и сен-симонизму: у него он взял мысль о разделении людей на трудящихся и паразитов. Но целиком доктрину Сен-Симона Бюхнер принять не мог. Он стоял на последовательно атеистической платформе, и ему претило религиозное учение Сен-Симона. Своей чуткой душой и своим живым умом он понял, что невозможно подчеркивать первенствующую важность материального фактора в общественной жизни и в то же время отводить в ней постоянное место религии, т. е.

то, чего никак не мог понять пастор Вейдиг, наиболее последовательный революционер среди немецких буржуазных радикалов. Когда Бюхнеру приходилось встречаться с эпигонами сен-симонизма в жизни, они вызывали с его стороны ироническое отношение. Одного из них — это, повидимому, был один из учеников Анфантена — он жестоко высмеял в письмах.

Какова же была, в конце концов, общественно-политическая позиция Бюхнера? В буржуазной литературе об этом идут споры. Там часто ставится вопрос, был или не был Бюхнер социалистом? Одни как будто упрекают его за то, что он им не был, другие просто жалеют об этом, третьи радуются. Эти разговоры просто смешны.

Бюхнер не был социалистом. И так как он хотел в своих конструкциях оставаться на немецкой почве и исходить из существующих немецких отношений, — он и не мог быть социалистом. Бюхнер тем и интересен, что он остается в истории идеологом чистой крестьянской революции. Это — веха. Старший сверстник Бюхнера Людвиг Галль (1790—1863), который пытался в тех же 30-х годах пересадить в Германию фурьеризм, не имел никакого успеха. Его просто не слышали. Память о нем сохранилась больше как об изобретателе метода научной фальсификации вина (галлизация), чем как о социалисте.

В тот момент, когда выступил Бюхнер, ставка на чистую крестьянскую революцию могла быть вполне оправдана. Пройдет два-три десятилетия, и крестьянская революция станет возможна только в соединении с революцией пролетарской.

Чтобы определить социальную позицию Бюхнера точнее, нужно подробно познакомиться с его главным публицистическим произведением — „Воззванием к гессенским крестьянам“.

III

„Мир хижинам! Война дворцам!“ „Friede den Hütten, Krieg den Palästen!“

Так начинается прокламация Бюхнера. Она впервые популяризировала этот лозунг, воспроизводившийся с тех пор на тысячах плакатов.

Формула не принадлежит Бюхнеру. Он взял ее, повидимому, у Шамфора (из его писем), а Шамфор заимствовал ее, по всей вероятности, из одной давным-давно позабытой пьесы: „Robert, chef des brigands“ („Роберт, атаман разбойников“ — 1791) неизвестного драматурга Лемартельера, превратившего в бульварную мелодраму романтический шедевр Шиллера.

Но Бюхнер, и только он, придал этому лозунгу тот революционный смысл, которого ни знаменитый остролювец XVIII века, ни тем более драмодел времен Великой революции не могли в него вкладывать. Это будет видно даже из краткого изложения прокламации.

„Крестьянин идет за своим плугом, а знатный (поправка Вейдига: у Бюхнера было „богатый“. — *А. Д.*) идет за крестьянином и погоняет его и впряженных в плуг быков. Он берет себе зерно и оставляет крестьянину мякину. Жизнь крестьянина — это непрерывный труд, чужие поедают плоды его полей на его глазах, он весь в мозолях, его пот — соль за столом у знатных“ (опять вместо „богатых“. — *А. Д.*).

После этого красноречивого, энергичного вступления начинается расчет: сколько налогов платят крестьяне, сколько богатые и что каждая общественная группа получает за это от гоеударства. Дальше идут чудесные, немного гротескные жанровые наброски, полные насыщенного революционного пафоса. Вот герцог: „... подойдите к нему поближе и взгляните на него, сбросив с него

его княжескую мантию. Он ест, когда голоден; спит, когда устал. Смотрите: он родился на свет таким же голым и беспомощным, как вы, и отправится в могилу таким же окоченелым и застывшим; и все же нога его на вашей шее; княжеская мантия — это ковер, на котором распутничают высокопоставленные придворные господа и дамы; орденами и лентами прикрывают они свои струпья, драгоценным платьем одевают свои прокаженные тела. Дочери народа — их служанки и наложницы, сыновья народа — их лакеи и солдаты. Подите в Дармштат и посмотрите, как весело живут там эти господа на ваши деньги; расскажите вашим голодным женам и детям, как на их хлебе господа отрастили себе толстое брюхо... Все это вы терпите, [потому что кучка подлецов говорит вам: это правительство от бога“.

Потом — о конституциях, к которым Бюхнер относится столь же отрицательно, как и к герцогской власти, потому что они ничего не дают массам и лишь обманывают их фактом своего существования. „... Что же это такое — эти дарованные конституции в Германии? Не более, как пустая солома, из которой зерна вымолотили для себя князя. Что такое наши ландтаги? Это неповоротливые телеги, которые раз-другой могут преградить путь разбойничьим набегам князей и министров, но из них никогда нельзя построить твердыню немецкой свободы. Что такое наши избирательные законы? Нарушение прав человека и гражданина для большинства немцев“. И чтобы показать, что между государями Германии существует своего рода взаимная страховка от натиска масс, Бюхнер переходит к Гессен-Дармштату, критикует его конституцию, его ландтаг и спрашивает, что было бы, если бы там было не так, как в действительности, а понастоящему хорошо. И отвечает: „Хищные коршуны из Вены и Берлина очень скоро показали бы свои когти

и задушили бы свободу нашей маленькой страны. Завоевать себе свободу должен весь немецкий народ, и это время, дорогие сограждане, уже недалеко“.

Для иллюстрации своей мысли Бюхнер в немногих, но удивительно сильных словах рассказывает о Французской революции: как восставший народ заставил короля признать свою волю законом, как король поклялся в верности созданной народными представителями конституции, а потом нарушил свою клятву, как народ казнил короля — „так и следует поступать с предателями“; как на революцию поднялась реакционная Европа и как революция ее сокрушила: „голос ее потрясал троны и вызывал ликование народов“.

Дальше, до конца, повидимому, разводит кадило и дымит ладаном Вейдиг. И только несколько строк, запечатленных подлинным бюхнеровским темпераментом, прорезывают цитаты из пророков и посланий апостольских. Вот эти строки: „Раскройте глаза и сосчитайте кучку ваших угнетателей; ведь они сильны только той кровью, которую они из вас высасывают, и тем, что вы безвольно отдаете в их распоряжение ваши рабочие руки. Их не больше десяти тысяч во всем герцогстве, а вас семьсот тысяч; и таково же соотношение между численностью народа и его угнетателей во всей Германии“. У Бюхнера после этого, очевидно, следовал — должен был следовать — страстный призыв: „Восстаньте же и сокрушите врагов!“ А вместо этого елейное перо пастора Вейдига вывело: „И пока господь не призовет вас через своих посланцев и своими знаменами — бодрствуйте, укрепляйте свой дух, молитесь сами и учите детей ваших молиться так: „Господи, сокруши скипетр наших угнетателей, и да придет царствие твое — царство справедливости. Аминь“.

Смешение библейских цитат с революционными призывами было очень обыкновенно в средние века, в эпоху

реформации, в эпоху пуританской революции. Позднее революционные призывы стали сочетаться с другими вещами. После Французской революции такое соединение совсем вышло из моды. В XIX веке „Hessische Landbote“ была, вероятно, единственной прокламацией, где было такое изобилие библейских текстов. Недаром Бюхнер был в ярости.

Но отсебятины пастора Вейдига были у него не единственным поводом для огорчений.

К прокламации отнеслись чрезвычайно холодно — чтобы не сказать больше — люди, которых Бюхнер считал единомышленниками. На суде был оглашен такой разговор. Один из вождей радикальной демократии, Карл Цейнер, показывал: „Я высказал Вейдигу, что прокламация написана слишком резко и воистину отвратительна. Вейдиг ответил, что и он говорил уже об этом, что первоначальный текст был еще ужаснее, но что он несколько смягчил его“. Целый ряд буржуазных революционеров, по-своему очень последовательных и смелых людей, неоднократно судившихся и раньше и после, сидевших в тюрьмах и крепостях, отнеслись к прокламации отрицательно. В их числе был профессор Вильгельм Иордан, будущий член *левой* франкфуртского национального собрания 1848 года.

Объяснение этого факта найти нетрудно. Оно даже было дано на суде. Несмотря на то, что Вейдиг тщательно старался замазать основную мысль прокламации, перекрашивая „богатых“ в „знатных“, — эта мысль была так ярка, что бросалась в глаза всем. Один из обвиняемых говорил, что Бюхнер поражал всех новизною своих идей. А новизна заключалась в том, что революция Бюхнера не была похожа на революцию его друзей. Те говорили о чисто политической революции и боялись социальной, потому что „она несет за собою охлократию“. А для

Бюхнера политическая революция без социальной была чем-то недоделанным и бессмысленным. Бюхнер совершенно отчетливо представлял себе, что революция есть восстание бедных против богатых. Он сознательно сеял классовую ненависть и видел в ней революционный рычаг. Он пришел уже к теории борьбы классов, хотя она у него осталась половинчатой, недоговоренной. Ему нехватало материала в общественной структуре Германии того времени, чтобы додумать ее до конца. Если бы в поле его политических наблюдений были рабочие, его формула классовых противоположностей — богатые и бедные — легко могла бы разложиться на более отчетливые понятия. А мысль о социальной революции, о насилии, как ее методе¹ — была налицо. Именно она и отпугивала буржуазных революционеров. Они совсем не хотели социальной революции. В это время, за четырнадцать лет до 1848 года, они боялись даже равного избирательного права и стояли — Вейдиг первый — за ценз. А Бюхнер издевался над цензовыми выборами.

И все-таки расхождения с людьми, которых он считал политическими единомышленниками, глубоко огорчали его. Со своей программой он оставался буквально один.

Но еще больше огорчало его отношение к „Hessische Landbote“ крестьян. Им ее подбрасывали очень щедро, подсовывали под двери, закладывали в оконные ставни. Но результат был неожиданный. Большинство отнесло найденные у себя экземпляры в полицию. Беккер говорил на суде, что прокламация для Бюхнера была пробным

¹ Письмо к родителям по поводу франкфуртского путча 5 апреля 1833 г.: „Если в наше время что-нибудь может помочь, то только насилие... Молодежь упрекают в склонности прибегать к насилию. Но разве мы не живем в постоянной атмосфере насилия?“

камнем. Он хотел узнать, может ли революция рассчитывать на крестьян. Это было своего рода „хождение в народ“, и с теми же результатами, что и у нас. Эти результаты жестоко разочаровали Бюхнера. Больше: он испытывал жгучее страдание, потому что ими подрывалась вся его вера в революцию. Революцию он считал единственным средством завоевания свободы и демократического строя, ибо в конституционную эволюцию, на которую уповали его друзья, он не верил совсем. И вдруг оказывалось, что тот класс, на который он только и рассчитывал, в лучшем случае не созрел для революционной борьбы, а может быть и совсем не способен на нее.

Но почему? Почему крестьяне могли сыграть такую огромную революционную роль во Франции в Великую революцию? Почему они могли поднять движение в самом Гессене в 1830 году? И почему, несмотря на призывы Бюхнера, они остались пассивны в 1834 г.?

IV

В одном из писем к Карлу Гуцкову (июль 1835) Бюхнер пишет, что всю революцию „... должны взять в свои руки массы необразованных и бедняков; отношение между богатыми и бедными есть единственный революционный элемент в мире. Один только голод может породить богиню свободы, и один только Моисей, наставив на нас семь казней египетских, смог бы стать нашим мессией. Накормите крестьянина, и революция умрет от апоплексии (man mässte den Bauer und die Revolution bekommt eine Apoplexie). Курица в горшке каждого крестьянина свернет шею галльскому петуху“. Это писано уже после провала гессенской организации. Но самая мысль созрела у Бюхнера гораздо раньше. Уже в 1833 году, т. е. до возвращения из Страсбурга, он писал родителям, объясняя почему он уклонился от участия в гамбахском празднике:

„...за последнее время я убедился, что только необходимые потребности широких масс могут привести к изменениям, что всякие действия и крики отдельных лиц являются совершенно напрасной и безумной тратой сил“. Остановимся пока на главной мысли Бюхнера. Почему голод является единственной революционной силой, и почему сытый крестьянин должен покинуть революцию?

Бюхнер не объясняет этого, но он так твердо убежден в этом, что, когда в период цюрихского профессорства до него доходили слухи, что немецкие правительства предполагают ввести реформы, улучшающие положение крестьян, он начинал не на шутку тревожиться: он боялся, что германские государи додумались до той же мысли и сознательно стараются выбить почву из-под революции. Каков же был ход его рассуждений? Об этом, как кажется, можно догадываться.

Что значит „накормить крестьянина“? Очевидно—дать ему столько земли, чтобы он мог собирать с нее достаточно для прокормления себя и семьи, И, кроме того, устроить так, чтобы ни помещик, ни государство не мешали ему работать и у него оставалось из плодов его труда столько, чтобы он и семья могли вести жизнь, достойную человека. Бюхнер надеялся, что, пока крестьянин этого не добьется, он будет поддерживать революцию. Но разве обязательно, чтобы он ее покинул, когда все это у него будет? Разве французские крестьяне покинули революцию, когда в 1793 году получили от якобинского Конвента земли и гражданскую свободу и увеличили вдобавок свои участки за счет национальных имуществ? Нет, но во Франции революции угрожала реакционная феодальная Европа, и крестьяне защищали революцию, ибо победа контрреволюции означала конфискацию их земель. За то они отдали скипетр Франции Бонапарту, который обещал защищать их приобре-

тения, — а ведь это был самый настоящий апоплексический удар для революции.

Если бы Бюхнер дожид до весны 1848 года и узнал о роли крестьян в революциях юго-западной Германии (Баден, Вюртемберг, Бавария), он мог бы увидеть в ней подтверждение своих тревог. Крестьяне там сначала очень энергично поддерживали буржуазных революционеров, но, получив личную свободу и перспективу выкупа земель, сделались к дальнейшему ходу революции совершенно равнодушны.

Это было похуже, чем весть о том, что гессенские крестьяне тащат в полицию его „Hessische Landbote“. И это было способно отравить всякий революционный пафос. Ибо для Бюхнера между 1834 и 1837 годами все замыкалось в проклятый круг. Крестьяне — единственный революционный элемент в стране. Крестьяне, как обнаружил гессенский опыт 1834 года, для революции не созрели. Крестьяне, как, повидимому, показывали события 1835 года, и вообще плохие революционеры. Какой же тогда выход? Никакого. Нет выхода.

Такова была драма Бюхнера. Но то была его личная, Георга Бюхнера, драма, а не драма революции. Ибо она целиком обуславливалась временными обстоятельствами. Она была присуща 30-м годам, была связана со специфическими условиями развития немецкого крестьянства. Но самое главное: вся драма исчезла в сороковых годах. Как только нашлись люди, достаточно чуткие, чтобы предвидеть вступление пролетариата на арену социальной борьбы, — выход из бюхнеровского проклятого круга стал отыскиваться. Дело революции было совсем не так безнадежно, как казалось Бюхнеру.

Но Бюхнер умер, задохнувшись в своих безнадежных выводах. Печать трагизма осталась запечатленной на нем и тогда, когда его глаза закрылись навеки. И пессими-

стический налет лежит на всех его произведениях, где он поднимает и разрешает вопросы, связанные с революцией так или иначе.

В драме „Смерть Дантона“ и в пьесе „Войцек“ можно найти много отголосков его настроений. Первая рассматривает вопросы революции в социальном плане, вторая в индивидуальном.

V

„Смерть Дантона“ писалась в дни, которые едва ли не были самыми тревожными в жизни Бюхнера: когда рукопись „Hessische Landbote“ передавалась Вейдигу, печаталась, распространялась; когда воззвание попадало в руки полиции и становилось предметом судебного следствия; когда власти выхватывали и сажали в тюрьму одного за другим друзей и соратников Бюхнера; когда сам он мог быть арестован каждую минуту и едва успел бежать во-время и когда провал всего дела сопровождался такими тяжелыми разочарованиями. „Дантон“ запечатлел на себе всю эту полосу мучительных переживаний.

Пьеса носит явные следы торопливости и недоработанности. Бюхнеру нужно было поскорее кончить ее и послать Гуцкову, чтобы получить гонорар, так ему необходимый. Глава „Молодой Германии“ потом очень хвалил ее, и она действительно заслуживает похвал. Места в ней есть замечательные.¹

Гуцков, расхваливая „Дантона“, не заметил, что хвалит вещь, которая во всем противоположна и идеализму

¹ В Москве ставили ее в 1919 или 1920 году в переделке А. Н. Толстого. В этом виде она, несомненно, стала сценичнее, но из нее исчезло многое, что для Бюхнера было особенно характерно.

и романтизму „Молодой Германии“. Бюхнер не идеалист и не романтик, а материалист и реалист. Он хочет идти творческими путями не Шиллера, а Гете и Шекспира. „Что касается,—говорит он,—так называемых идеальных поэтов, то я нахожу, что они не создали почти ничего, кроме марионеток с небесно-голубыми глазами и аффектированным пафосом, но они не дают нам людей с плотью и кровью, страдание и радость которых я мог бы переживать, поступки которых внушали бы мне отвращение или восхищение. Одним словом, я очень высоко ставлю Гете или Шекспира, но очень низко Шиллера“. Бюхнер мог прибавить к этому слова, которыми в те же приблизительно годы, немного раньше, характеризовал свою драматургию другой поэт, но несравненно более крупный — Пушкин: „Шекспиру подражал я в вольном и широком изображении характеров, в необыкновенном составлении типов и простоте... По примеру Шекспира я ограничился изображением эпохи и исторических личностей, не гоняясь за сценическими эффектами, романтическим пафосом и проч.“.

В „Смерти Дантона“ удивительно показана суровая эпопея террора. Революционная народная толпа полна жизни. Пластично и ярко, по-настоящему „вольно и широко“ изваяны такие фигуры, как Дантон, Демулен, Эро де Сешель, Робеспьер, и разве только женские типы — Жюли и Люсиль — не свободны от налета сентиментальности, показывающего, что Бюхнер-драматург как-то связан с предыдущим периодом развития немецкой драмы. Но для Бюхнера не это было главным. Ему было гораздо важнее раскрыть в драме свою политическую программу, чем дать ей полное художественное завершение и настоящую отделку.

Ему нужно было прежде всего показать, что основным рычагом Французской революции — как и всякой револю-

ции — было материальное положение масс, „царь-голод“. Прочтите сцену на улице в первом акте и прислушайтесь к разговорам толпы по поводу беспутного поведения дочери Симона: это вводит в общий тон пьесы.

„У вас подвело животы от голоду, а они страдают от переполнения желудка, у вас дырявые блузы, а у них теплые сюртуки, у вас мозоли на ладонях, а у них бархатные ручки. Ergo, вы работаете, а они ничего не делают; ergo, вы добыли, а они у вас украли; ergo, если вы хотите вернуть несколько грошей из украденного у вас имущества, вы должны продавать свое тело и просить милостыню; ergo, они негодяи и их надо убивать!“ И в ответ раздается многоголосое: „Смерть всякому, у кого нет дыр на платье!.. Смерть! Смерть!.. У него есть носовой платок! Это аристократ! На фонарь! На фонарь!“

Набрасывая эту сцену, Бюхнер, конечно, решал для себя в десятый и сотый раз политическую теорему, правильное решение которой нужно было ему в тот момент, когда он писал, и нужно было для правильной ориентации немецкой революции. И, разумеется, эти сцены, которые дышат настоящим реализмом, были сверх того еще и настоящей публицистикой.

Совершенно таким же образом и основной трагический конфликт пьесы, для иллюстрации которого Бюхнер вполне реалистически расставляет и характеризует фигуры действующих лиц, раскрывается, как политическая проблема сегодняшнего дня классовой борьбы в немецкой революции 30-х годов.

В революции, как во всех вообще общественных отношениях, преобладает материальный момент, ибо он определяет ход и исход классовой борьбы. Из этого тезиса делается дальнейший вывод: о невозможности сколько-нибудь устойчивой коалиции между трудящимися и даже передовым отрядом буржуазии—радикальной буржуазной

интеллигенцией. Бюхнер говорит об этом, пользуясь терминами, свойственными его времени, но мысль его ясна. В 1836 году он писал Гуцкову, одному из тех, кто возлагал все революционные надежды на интеллигенцию, будущему автору „Рыцарей духа“: „Впрочем, чтобы быть вполне откровенным, я должен сказать, что путь, избранный вами и вашими друзьями, на мой взгляд отнюдь не является самым мудрым. Реформировать общество при помощи идеи, силами образованного класса — невозможно! Наша эпоха насковозь материалистична. Чем прямее приступили бы вы к делу политически, тем скорее достигли бы той точки, когда реформа прекращается сама собой. Вы никогда не перейдете через пропасть между образованным и необразованным обществом...

Я убедился, что образованное и зажиточное меньшинство, каких бы уступок для себя ни добилось оно от власти, никогда не сумеет устранить свои обостренные отношения с широкой массой“.

„Образованное и зажиточное меньшинство“ — это буржуазная интеллигенция, „широкая масса“ — это народ, т. е., по Бюхнеру, прежде всего крестьянская масса — революционная сила, которая одна стояла в области его кругозора. Зажиточные и бедные не могут сговориться, потому что у одних „подвело животы от голода“, а у других „переполнены желудки“ от обжорства. При таких условиях все, что будет говорить интеллигенция, будет „совершенно напрасной и безумной тратой сил“. А раздвинуть круг „голодных“ Бюхнер не мог: ничто ему не подсказывало, что есть в Германии настоящий революционный элемент и помимо крестьянства. Ведь должно было пройти еще несколько лет, насыщенных грозой и бурей, чтоб появился ремесленный коммунизм Вейтлинга.

В „Смерти Дантона“ Бюхнер ищет и находит для этой своей тактической программы художественные

образы. Дантон, Филиппо, Эро, Демулен — настоящие представители интеллигенции. Они гибнут потому, что не могут решиться связать себя с народом. А не могут они это сделать потому, что такова интеллигентская природа: у дантонистов, у „Молодой Германии“ — всюду и везде. Даже более радикальной группе революции, якобинцам: Робеспьеру, Сен-Жюсту и их сторонникам, нужно всячески переламывать себя, итти на всевозможные жертвы, чтобы держаться народной линии. Они должны подлаживаться к народу, хитрить со всеми, обманывать Конвент: такова картина у Бюхнера. В пьесе якобинцы торжествуют. Но ведь все знают, что гильотина термидора уже поджидает их и сразит очень скоро. Ибо пропасть между ними и народом столь же непроходима, как между народом и дантонистами.

А в теоретических, бессвязных стонах Дантона перед арестом „в степи“ — есть такая сцена в пьесе — слышится как будто отзвук собственного разочарования Бюхнера, его сознания собственной безнадежной оторванности от народа: ведь он ждал ареста, когда писал „Дантона“. И быть может, его симпатии к Дантону объясняются тем, что он ощущал над собою тот самый рок, который сгубил его героя.

Если бы Бюхнер работал над „Дантоном“ в спокойном состоянии, реализм пьесы, может быть, был бы ярче, и вся она была бы художественно полноценней. Но и в том виде, в каком она попала в печать, она представляет собою произведение совершенно исключительное, ибо в ней сливаются достоинства художественные и политические, потрясающая картина Великой французской революции и раскрытие неизбежной грядущей революции в Германии.

„Дантон“ — это борьба, которую революционная вера Бюхнера ведет с фактами, ее подрывающими: апелляция

к истории от безрадостных уроков сегодняшнего дня. Недаром говорил Бюхнер, что драматург выше историка, потому что он творчески, хотя и в полном соответствии с фактами, воскрешает прошлое; и делает это лучше, чем историк: вместо „сухого рассказа“ он „вторично создает для нас историю“, „вместо характеристик дает характеры, вместо описаний — образы“.

Пока Бюхнер оперировал фактами Французской революции, у него все выходило хорошо: социологически подтверждалась неизбежность революции. А когда он обращался к немецкой действительности, выводы получались печальные: не только о неизбежности революции не приходилось говорить, но самая возможность ее становилась под вопрос. В „Дантоне“ вера победила неверие.

В этом смысле „Дантон“ — настоящая „оптимистическая трагедия“, ибо она была написана после того, как революция в Германии стала представляться ее автору окончательно невозможной.

Этот оптимизм, который, казалось, так хорошо был утвержден и художественными и политическими концепциями „Дантона“, удержался у Бюхнера недолго. От него не осталось и следа в его позднейших художественных произведениях.

VI

При жизни Бюхнера были напечатаны „Леонс и Лена“ — комедия и „Ленц“ — новелла. Неопубликованными остались еще две пьесы: „Войчек“ или „Войцек“, найденная в его бумагах через несколько лет после его смерти, — об этой пьесе сейчас будет речь, — и „Пьетро Арегино“, которая находилась у невесты Бюхнера и была ею уничтожена, как произведение атеистическое. Этот акт варварства и ханжества, который рисует в очень

непривлекательном виде ум и взгляды благочестивой девы и даже характер ее отношений к только что умершему близкому человеку, лишил нас возможности заглянуть еще в один уголок творческой лаборатории Бюхнера и увидеть, как он отнесся к этому, столь сильно оклеветанному историей писателю. Самый факт не удивителен. Невеста была пасторской дочкой. Не везло бедному Бюхнеру с пасторами: один изуродовал его гессенское воззвание, дочь другого сожгла „Аретино“.

Если недоделан „Дантон“, то три остальные вещи недоделаны в еще большей мере. В комедии „Леонс и Лена“ пародийная установка то и дело сбивается на реалистическую, и этот стилевой перебой указывает с несомненностью, что автор скомкал свою тему. Новелла „Ленц“ просто не окончена. Что касается трагедии „Войцек“, то она дошла до нас в таком виде, что невозможно с уверенностью сказать, каков должен быть в ней порядок сцен.

И все-таки все три вещи содержат в себе великолепные штрихи, которые дополняют образ Бюхнера, как писателя, мыслителя и бойца, складывающийся на основе „Landbote“, „Дантона“ и писем.

Все три вещи тесно связаны между собою и со всеми предыдущими писаниями Бюхнера. Он все больше и больше терял веру в революции, все больше сгибался под бременем пессимистических предвидений. Но продолжал бороться, хотя уже далеко не так энергично, как в „Дантоне“, и написал „Леонса и Лену“. Ему хотелось исчерпать всю палитру, которую давало ему его творчество, чтобы еще раз проверить свою мысль. От истории он обращается к современности, от трагедии — к пародии. В другом плане он возвращается к тем же мыслям.

Он рисует быт провинциальной немецкой резиденции и высмеивает его в духе тех гротескных набросков, которые мы встретили в „Воззвании“. Носитель насмешки, Дантон пародии — мудрый шут Валерио, который язвит монархию, бюрократию и либералов самыми злыми инвективами — быть может, это те самые, которые Вейдиг выбросил из „Воззвания“. Бюхнер словно спрашивает читателя: неужели может долго удержаться такое чудовищно-нелепое создание, как немецкая монархия? Но насмешку он подкрепляет другим орудием. Когда под перо ему подвергается картина народного быта, ирония исчезает, скептическая усмешка превращается в гримасу горечи. Бюхнер широкой кистью набрасывает вполне реалистическую картину. Изображение народных страданий в „Леонсе“, как и в „Дантоне“, — наиболее сильные места. Но этого уже было мало Бюхнеру.

Насмешка в союзе с пафосом оказалась последней ставкой веры Бюхнера в революцию. В „Леонсе“ все получалось менее сильно и менее убедительно, чем в „Дантоне“. Недаром сама пьеса оказалась скомканной в еще большей мере, чем „Дантон“. Утверждается пессимистический вывод. Оптимисту места больше не было.

И Бюхнер написал „Ленца“. „Ленц“ дает выход уже чисто субъективным ощущениям автора. В тот момент, когда он писал эту новеллу, он, мы знаем, уже не находил выхода для революции. Здесь у него с особенной остротой заговорили всегда сильные в нем фаталистические нотки. Ему уже давно казалось, что всякое положение дано раз навсегда и потому изменить его нельзя. „Обстоятельства вне нашей воли“ — так формулирует он эту мысль в письме к родителям из Франции в начале 1834 года. В „Ленце“, который написан уже после

провала прокламации и бегства во Францию, Бюхнер еще раз возвращается к этой мысли и пробует развить ее в беллетристической форме. Но бросает вещь, не кончив ее, очевидно испугавшись тех безотрадных выводов, к которым он пришел. Новелла производит такое впечатление, что Бюхнер вдруг почувствовал наступление нервного кризиса, самого настоящего нервного кризиса, несущего с собою в зародыше безумие. Было чего испугаться.

Не чужд этих настроений и „Войцек“. Эта пьеса — тоже фаталистическая, но роль фатума исполняет в ней природа. Она подавляет психику героя, Войцека, жалкого забитого бедняка, который становится — и не может не стать — жертвою богатства, власти и природы. Он убивает свою подругу, и пьеса ставит своей задачей показать, что не убить ее он не мог, раз даны те условия, в которых он живет. „Дантон“ изображает массу, которая силою общественных условий приводится к восстанию, показывает, как эти общественные условия приводят к физиологическому факту, — голоду, которому масса противиться не в силах. „Войцек“ дает картину, как постепенно под влиянием неудач и голода появляется неудержимый стимул к убийству в сознании отдельного человека. Сделана пьеса — хотя она вся состоит из фрагментов — мастерски и производит впечатление совершенно подавляющее. Мало где с такой потрясающей убедительностью изображен процесс, игралищем которого становятся два существа с очень хорошими задатками: чудесная девушка, которая вынуждена сделаться проституткою, и очень неплохой и неглупый человек, которого обстоятельства превращают в убийцу. Неотвратимость того и другого исхода раскрывается с необыкновенной убедительностью.

VII

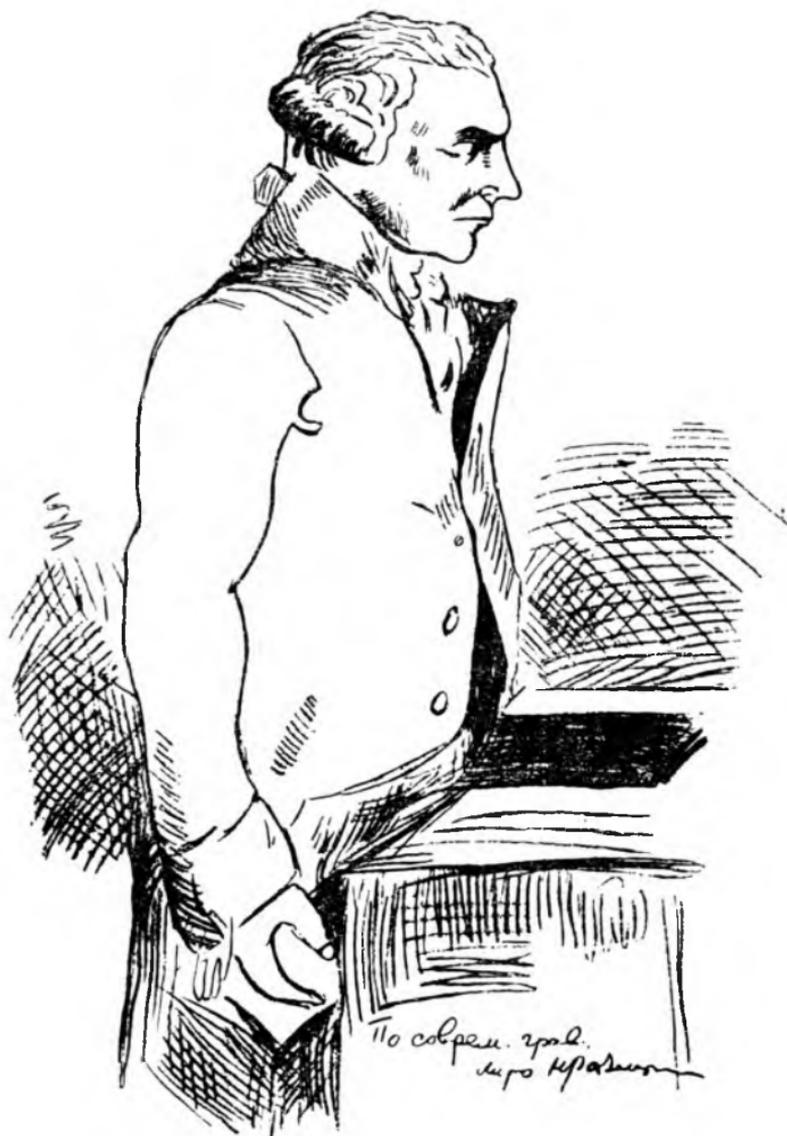
Бюхнер умер, не найдя выхода из того трагического конфликта, в котором он видел обреченность и для революции и для революционера. И ускорило его смерть, быть может, именно сознание этой безысходности.

Но безысходность, скажем еще раз, была не объективная. Она вовсе не вытекала с необходимостью из тех фактов, которые Бюхнер наблюдал и объяснял. Вывод о безысходности объясняется несовершенством его метода. Он правильно установил факт господства материального момента в истории, правильно объявил, что история есть борьба классов, борьба бедных и богатых на почве материальных интересов. Но он принял условия, господствовавшие в 30-х годах в Германии, за данные раз навсегда. Его метод не был оплодотворен идеей диалектического развития.

Этим объясняются его ошибки, этим объясняется ощущение безысходности революции, этим объясняется его личная трагедия, которая привела его на порог безумия и погубила его таким юным, так много обещавшим.

А. Дживелегов

ГЕОРГ БЮХНЕР



По солпен. зрел.
дуго крпашу

СМЕРТЬ ДАНТОНА

Драма

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Жорж Дантон	}	депутаты
Лежандр		
Камилл Демулен		
Эро Сешель		
Лакруа		
Филиппо		
Фабр д'Эглантин		
Мерсье	}	члены Комитета общественно- го спасения
Томас Пейн		
Робеспьер		
Сен-Жюст		
Баррер		
Колло д'Эрбуа		
Бильо-Варенн		
Шометт, прокурор коммунального совета		
Диллон — и генерал		
Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель	}	председатели Революци- онного трибунала
Эрманн		
Дюма		
Пари, друг Дантона		
Симон, суфлер		
Лафлот		
Жюли, жена Дантона		
Люсиль, жена Камилла Демулена		
Розали	}	гризетки
Аделаид		
Марион		

Мужчины и женщины из народа,
гризетки, депутаты, палачи и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Эро Сешель, несколько дам (за игорным столом), Дантон, Жюли (поодаль). Дантон на скамеечке у ног Жюли.

Дантон. Посмотри на эту хорошенькую даму, как мило она перебирает карты! Да, она ловко это проделывает; говорят, что мужу своему она всегда показывает сердце — червонную масть, а прочим бубны. Вы можете заставить человека влюбиться даже в ложь.

Жюли. Но ведь мне ты веришь?

Дантон. Почему я знаю! Мы мало знаем друг друга. Мы толстокожие, мы стираем друг к другу руки, — но тщетный труд, мы только тремса друг о друга своей грубой кожей, — мы очень одиноки.

Жюли. Ты знаешь меня, Дантон.

Дантон. Да, но что значит «знать»? У тебя темные глаза, кудрявые волосы, нежный цвет лица, и ты говоришь мне постоянно: милый Жорж! Это я знаю. Но что находится там, за этим? (Указывает на ее лоб и глаза.) Наши органы чувств слишком грубы. Знать друг друга? Для этого надо было бы разломать друг другу черепа и извлечь мысли из мозговых волокон.

Дамы (к Эро). Что вы изображаете там своими пальцами?

Э р о. Ничего!

Да ма. Не закладывайте так большой палец, это неприлично!

Э р о. Но взгляните, это имеет своеобразный вид!

Да н т о н. Нет, Жюли, я люблю тебя, как могилу.

Ж ю л и (*отодвигаясь*). О!

Да н т о н. Нет, послушай! Говорят, что в могиле покой, что покой и могила — это одно и то же. Если это так, то в твоих объятиях я уже лежу под землей. Ты сладостная могила, твои губы — надгробные цветы, твой голос — похоронный звон, твоя грудь — мой могильный холм и твое сердце — мой гроб.

Да ма. Вы проиграли.

Э р о. Это была авантюра влюбленного, и, как всегда, она стоит денег.

Да ма. Но если так, ваши объяснения в любви вы, как глухонемой, делали пальцами.

Э р о. А почему бы и нет? Можно даже утверждать, что такое объяснение легче всего достигает цели. Я завязал любовную интрижку с карточной королевой; мои пальцы были принцы, превращенные в пауков; вы, мадам, были фея; но дело пошло скверно, дама поминутно рожала, и у нее то и дело появлялся мальчишка-валет. Своей дочери я не позволил бы играть в эту игру: дамы и кавалеры так неприлично валяются здесь друг на друга, и тотчас же рождаются валеты.

Входят Камилл Демулең и Филиппо.

Эро. Филиппо, почему ты глядишь так печально? Ты продырявил свой красный колпак? На тебя прогневался святой Яков? Во время гильотинирования шел дождь? Или тебе досталось плохое место, и ты ничего не видел?

Камилл. Ты пародируешь Сократа. Помнишь, какие вопросы задал божественный Алкивиаду, найдя его однажды мрачным и подавленным: «Ты потерял свой щит на поле битвы? Ты потерпел поражение на беге взапуски или на состязании мечами? Другой лучше тебя спел и лучше сыграл на цитре?» Какие классические республиканцы! Да вдобавок еще наша романтика гильотины!

Филиппо. Сегодня снова пало двенадцать жертв. Мы были в заблуждении, гебертистов послали на эшафот только потому, что они поступали недостаточно последовательно; может быть, и потому также, что децемвиры считают для себя гибельным, если хотя бы одну неделю просуществуют люди, внушающие больше страха, чем они сами.

Эро. Они хотят превратить нас в допотопные существа. Сен-Жюст был бы очень непрочь увидеть нас ползающими на четвереньках, чтобы затем адвокат из Арраса, пользуясь механикой женеvского часовщика, снова изобрел для нас стеганные шапочки, школьные скамьи и господ бога.

Филиппо. Ради этого они не побоятся присоединить к счету Марата еще несколько нулей. Долго ли еще будем мы в грязи и в крови, как новорожденные дети, в гробах вместо колыбелей, и будем играть отрубленными головами? Надо

итти вперед; комитет милосердия должен быть назначен, изгнанные депутаты должны быть снова приняты.

Э р о. Революция вступила в стадию реорганизации. Революция должна кончиться, республика должна начаться. В наших государственных принципах право должно стать на место долга, благосостояние — на место добродетели, защита личности — на место наказания. Каждый должен получить возможность проявить себя сообразно своей природе. Он может быть разумным или неразумным, образованным или необразованным, хорошим или дурным, — государства это не касается. Все мы дураки, и никто не имеет права навязывать другим свою личную глупость. Каждому должна быть предоставлена возможность наслаждаться по-своему, но не за счет других и не мешая другим наслаждаться по их собственному вкусу.

К а м и л л. Государственная форма должна быть прозрачной одеждой, тесно облегающей тело народа. Каждое набухание сосудов, каждое сокращение мускулов, каждое движение связок должно отпечатываться на ней. Тело может быть красиво и безобразно; оно имеет право быть таким, каково оно есть; мы не в праве выкраивать на него костюмчик по нашему произволу. Мы должны ударить по рукам людей, которые хотят набросить рясу монахини на обнаженные плечи очаровательной грешницы Франции. Мы хотим нагих богов, вакханок, олимпийских игр, мелодичных губ; ах, срывающая покровы злая любовь! Мы не будем мешать «римлянам» добродетельно сидеть в углу и варить репу, но пусть

избавят они нас на будущее время от гладиаторских игр. Божественный Эпикур и Венера с ее великолепным задом должны стать привратниками республики вместо святых Марата и Шалье. Дантон, ты начнешь наступление в Конвенте.

Дантон. Я начну, мы начнем, он начнет. Довелось бы нам только до этого дожить, как говорят старухи. В продолжение каждого часа проходит шестьдесят минут. Не правда ли, мой мальчик?

Камилл. К чему это? Это понятно само собою.

Дантон. О, все понятно само собою. Кто же должен осуществить все эти прекрасные вещи?

Филиппо. Мы и все честные люди.

Дантон. Это твое «и» — длинное слово; оно держит нас на слишком большом расстоянии друг от друга; путь долог, и честность успеет выдохнуться, прежде чем мы сойдемся вместе. А если бы и так! На что пригодны честные люди? Им можно одолжить денег, с ними можно покумиться, за них можно выдать дочерей, — но это и все!

Камилл. Если ты так думаешь, зачем же ты начал борьбу?

Дантон. Эти люди опротивели мне. Когда я вижу таких надутых Катонов, я не могу удержаться, чтобы не дать им пинка. Такова уж моя природа. *(Поднимается.)*

Жюли. Ты уходишь?

Дантон *(к Жюли)*. Я должен уйти, иначе они замучат меня своей политикой. *(Выходит.)*
В дверях я посылаю вам пророчество: статуя

свободы еще не отлита, печь еще пылает, и все мы еще можем обжечь себе пальцы. (Уходит.)

К а м и л л. Оставьте его! Как вы думаете, захочет он рискнуть своими пальцами, когда дойдет до дела?

Э р о. Да, но только для препровождения времени, как шахматный игрок.

УЛИЦА

С и м о н, его ж е н а.

С и м о н (бьет жену). Ах, ты, сводница, шкура проклятая, пилюля сморщенная, червивое яблоко дьяволово!

Ж е н а. Ой, ой! Помогите! Помогите!

Л ю д и (сбегаются). Разнимите их, разнимите их!

С и м о н. Нет, оставьте меня, римляне! Я хочу прикончить эту клячу. Ты, весталка!

Ж е н а. Весталка? я? Ну вот еще!

С и м о н.

Так я одежду с плеч твоих сорву
и выставлю на солнце твой позор.

Потаскуха! В каждой морщине твоего старого тела гнездится распутство.

Их разнимают.

П е р в ы й г р а ж д а н и н. В чем дело?

С и м о н. Где девочка? Говори! Нет, не так! Девушка! Нет, нет, женщина, жена! опять-таки, нет! Лишь одно осталось слово; о, оно душит меня! У меня нехватает духу его выговорить.

В т о р о й г р а ж д а н и н. И это к лучшему; иначе от этого слова несло бы водкой.

Симон. Старый Виргиний, закрой свою лысую голову, — ворон-стыд сидит на ней и клюет тебе глаза. Дайте мне нож, римляне! (Падает.)

Жена. Ах, он славный малый, он только слабоват; водка всегда подставляет ему ножку.

Второй гражданин. Он, значит, ходит тогда на трех ногах!

Жена. Нет, он падает.

Второй гражданин. Правильно, сначала он идет на трех, потом падает на третью, пока сама третья не падает снова.

Симон. Ты язык вампира, сосущего самую горячую кровь моего сердца.

Жена. Оставьте его, в это время он всегда бывает расстроен; потом он придет в себя.

Первый гражданин. В чем же дело?

Жена. Видите ли: я сидела здесь на камушке на солнце и грелась, видите ли — потому что у нас нет дров, видите ли, нечем топить...

Второй гражданин. Так возьми нос своего мужа.

Жена. И моя дочь зашла тут за угол — она славная девочка и кормит своих родителей.

Симон. Ха, она признается!

Жена. Иуда, да разве у тебя была бы хоть пара штанов, если бы молодые господа не скидывали у нее своих штанов? Винная бочка, ведь ты умер бы от жажды, если бы перестал течь этот ручеек! А! мы работаем всеми членами, почему же и не этим? Этим ее рожала на свет мать, и ей было больно; почему же и ей не поработать теперь этим для своей матери, а? хотя бы ей и было больно, а? Ты дурак!

С и м о н. О Лукреция! Нож, дайте мне нож, римляне! О Аппий-Клавдий!

П е р в ы й г р а ж д а н и н. Да нож, но не для этой бедной потаскушки. Что сделала она? Ничего. Это ее голод распутничает и нищенствует. Нож для людей, которые покупают тело наших жен и дочерей. Горе тем, которые предаются распутству с дочерьми народа. У вас подвело животы от голоду, а они страдают от переполнения желудка; у вас дырявые блузы, а у них теплые сюртуки, у вас мозоли на ладонях, а у них бархатные ручки. Ergo, вы работаете, а они ничего не делают; ergo, вы добыли, а они у вас украли; ergo, если вы хотите вернуть несколько грошей из украденного у вас имущества, вы должны продавать свое тело и просить милостыню; ergo, они негодяи, и их надо убивать!

Т р е т ь и й г р а ж д а н и н. Вся кровь в их жилах высосана из нас. Они сказали нам: убивайте аристократов, это — волки! Мы повесили аристократов на фонарях. Они сказали: veto пожирает ваш хлеб; мы убили veto. Они сказали: жирондисты морят вас голодом; мы гильотинировали жирондистов. Но они обобрали убитых, а мы попрежнему бегаем босиком и мерзнем. Сдерем с них кожу и сошьем себе штаны, вырежем из них жир и заправим им себе суп. Вперед! Смерть всякому, у кого нет дыр на платье!

П е р в ы й г р а ж д а н и н. Смерть всякому, кто умеет читать и писать!

В т о р о й г р а ж д а н и н. Смерть всякому, кто захочет покинуть отечество!

Все (кричат). Смерть! Смерть!

Тащат молодого человека.

Отдельные голоса. У него есть носовой платок! Это аристократ! На фонарь! На фонарь!

Второй гражданин. Как! он не сморкается двумя пальцами? На фонарь!

Спускают фонарь.

Молодой человек. Ах, господа!

Второй гражданин. Здесь нет господ! На фонарь!

Несколько голосов (поют).

Кого в землю засыпают,
Того черви поедают;
Лучше в воздухе висеть,
Чем в сырой земле истлеть!

Молодой человек. Пощадите!

Третий гражданин. Это пустяк, игра с пеньковым локоном вокруг шеи! Всего одна минута; мы милосерднее вас. Наша жизнь есть медленное убийство работой; мы висим шестьдесят лет на веревке и корчимся, но скоро мы эту веревку перережем — на фонарь его!

Молодой человек. Пожалуй, но только у вас в головах от этого не станет светлее!

Окружающие. Bravo! Bravo!

Несколько голосов. Отпустим его.

Он исчезает.

Появляется Робеспьер в сопровождении женщин и санкюлотов.

Робеспьер. В чем дело, граждане?

Третий гражданин. Да, в чем же дело? От нескольких капель крови, пролитых в августе и сентябре, щеки народа не стали румяными. Гильотина работает слишком медленно. Нам нужен ливень крови!

Первый гражданин. Наши жены и дети кричат от голода, мы накормим их мясом аристократов. Эй! Смерть всем, у кого нет дыр на платье!

Все. Смерть! Смерть!

Робеспьер. Именем закона!

Первый гражданин. Что такое закон?

Робеспьер. Воля народа.

Первый гражданин. Мы народ, и мы хотим, чтобы не было закона; это наша воля есть закон, ergo, именем закона нет более закона, ergo, смерть!

Отдельные голоса. Слушайте Аристида! Слушайте Неподкупного!

Одна женщина. Слушайте мессию, который послан, чтобы избирать и судить; он поразит злых острием меча. Его глаза — глаза избрания; его руки — руки правосудия!

Робеспьер. Бедный добродетельный народ! Ты исполняешь свой долг, ты приносишь в жертву своих врагов. Народ, ты велик! Ты даешь откровение о себе при блеске молнии и раскатах грома. Но, народ, твои удары не должны ранить твое собственное тело; ты сам убиваешь себя в своем гневе. Ты можешь пасть лишь от собственной руки, это знают твои враги. Но законодатели твои бодрствуют, они будут направлять твою руку; их взгляд безошибочен, твоя рука неотразима. Идемте со мною к якобин-

цам! Ваши братья раскроют вам свои объятия, и мы будем чинить кровавый суд над нашими врагами.

Многие голоса. К якобинцам! Да здравствует Робеспьер! *(Все уходит.)*

Симон. О, горе мне, я покинут! *(Он пытается приподняться.)*

Жена. Ну! Ну! *(Поддерживает его.)*

Симон. Ах, моя Бавкида!

Жена. Ну, стой же!

Симон. Ты отворачиваешься? О, можешь ты простить меня, Порция? Я бил тебя? Это не моя ладонь, это не моя рука, это мое безумие било тебя:

Не Гамлет то, не он нанес обиду, —

Его безумие. А если так,

То он и сам обижен глубоко:

Безумство — враг несчастному Гамлету.

Где наша дочь? Где моя Сусанночка?

Жена. Вон там, за углом.

Симон. Идем к ней! Идем, моя добродетельная супруга!

Оба уходят.

КЛУБ ЯКОБИНЦЕВ

Лионез. Братья из Лиона послали нас, чтобы излить перед вами свое горькое негодование. Мы не знаем, была ли та телега, которая отвезла Ронсена на гильотину, погребальной колесницей свободы, но мы знаем, что с этого дня убийцы Шалье опять так спокойно ходят по земле,

словно для них не существует могилы. Неужели вы забыли, что Лион есть то пятно на французской земле, которое должно быть закрыто костями предателей? Неужели вы забыли, что только воды Роны смогут смыть с этой проститутки короля все ее мерзости? Неужели вы забыли, что революционная рука должна в Средиземном море посадить флоты Питта на мель, образованную из трупов аристократов? Ваше мягкосердечие убивает революцию. Дыхание аристократа — предсмертный хрип свободы. Только трус умирает за республику, якобинец убивает за нее. Знайте: если мы не найдем в вас более энергии людей 10 августа, сентября и 31 мая, то для нас, как для патриота Гейара, останется только одно: кинжал Катона.

Одобрение и беспорядочные крики.

Якобинец. Мы вместе с вами выпьем кубок Сократа!

Лежандр (*вскакивает на трибуну*). Нам незачем искать так далеко и обращать свои взоры на Лион. У людей, которые носят шелковое платье, которые ездят в каретах, которые занимают ложи в театре и говорят по академическому словарю, последнее время головы прочно сидят на плечах. Люди эти остроумны и говорят, что Марата и Шалье надо сделать мучениками в двойне, гильотинировав их бюсты.

Сильное движение среди присутствующих.

Отдельные голоса. Эти люди мертвы, язык их гильотинировал их.

Лежандр. Кровь этих святых да падет на них! Я спрашиваю присутствующих членов Комитета общественного спасения, с какого времени их уши так глухи...

Коллод'Эрбуа (*прерывает его*). А я спрашиваю тебя, Лежандр, чей голос приходит на помощь такого рода мыслям, оживляет их, дает им смелость высказаться? Пора сорвать маски! Слушайте! Причина обвиняет свое действие, крик — свое эхо, основание — свое следствие. Комитет общественного спасения более логичен, Лежандр. Успокойся! Бюсты святых останутся неприкосновенными; как голова медузы, будут они превращать в камень предателей.

Робеспьер. Прошу слова.

Якобинцы. Слушайте, слушайте Неподкупного!

Робеспьер. Мы ждали лишь крика общего негодования, чтобы заговорить. Глаза наши были открыты, мы видели, как враг вооружался и подымался, но мы не давали сигнала тревоги; самому народу предоставили мы охранять себя, и он не спал, он взялся за оружие. Мы выманили врага из его убежища, заставили его выйти наружу; и вот он стоит, ничем не прикрытый, при полном свете дня; каждый удар, направленный против него, попадает в цель; он мертв, раз вы его заметили.

Я уже раз говорил вам: на две части, как бы на два военные отряда, разбились внутренние враги республики. Под знаменами различной окраски и самыми различными путями спешат они к одной и той же цели. Одна из этих фрак-

ций уже более не существует. В своем аффективном безумии она старалась отбросить в сторону испытаннейших патриотов, обвиняя их в слабости и нерешительности, чтобы отнять у республики ее самые крепкие руки. Они объявили войну богу и собственности, чтобы совершить диверсию в пользу короля. Они превращали в пародию возвышенную драму революции, чтобы обессилить ее умышленными эксцессами. Триумф Гебера поверг бы республику в хаос, и деспотизм получил бы полное удовлетворение. Меч закона поразил предателя. Но может ли это обескуражить чужеземцев, раз имеются преступники иного рода, готовые помочь им в достижении той же цели? Мы ничего не достигнем, пока не уничтожим другой фракции.

Это прямая противоположность предыдущей. Она толкает нас к слабости, ее боевой клич: милосердие! Она хочет вырвать у народа его оружие и ту силу, которая направляет оружие, чтобы беззащитным и лишенным энергии отдать его на произвол королей.

Оружие республики есть террор, сила республики есть добродетель, — добродетель, потому что без нее террор губителен, террор, потому что без него добродетель бессильна. Террор есть излучение добродетели, он есть не что иное, как быстрое, строгое и неумолимое правосудие. Они говорят, что террор есть оружие деспотического правительства и что поэтому наш строй похож на деспотизм. Конечно! Но так, как меч в руках героя свободы похож на ту саблю, которой вооружен телохранитель тирана. Пусть деспот с помощью террора правит своими скотоподобными

подданными: как деспот, он прав. Раздавите с помощью террора врагов свободы, и вы будете не менее правы, как основатели республики. Революционное правление есть деспотизм свободы, направленный против тирании.

Милосердие роялистам! — кричат некоторые. Милосердие негодяям? Нет! Милосердие невинным, милосердие слабым, милосердие несчастным, милосердие человечеству! Только мирным гражданам приличествует защита со стороны общества. В республике лишь республиканцы — граждане, роялисты и чужеземцы — враги. Наказывать угнетателей человечества — милость, прощать их — варварство. Все проявления ложной чувствительности представляются мне вздохами, летящими в Англию или в Австрию. Но, не довольствуясь разоружением руки народа, хотят еще отравить пороком священных источники его силы. Это самое утонченное, самое опасное, самое отвратительное нападение на свободу. Порок есть каинова печать аристократизма. В республике он не только моральное, но и политическое преступление; порочный — политический враг свободы, и он тем опаснее для нее, чем больше те услуги, которые он ей, повидимому, оказывает. Самый опасный гражданин это тот, который скорее износит дюжину красных шапок, чем совершит одно доброе дело.

Вы легко поймете меня, если вспомните о людях, которые раньше жили на чердаках, а теперь раскатывают в каретах и развратничают с бывшими маркизами и баронессами. Мы должны поставить вопрос: откуда это? Если законодатели народа щеголяют всеми пороками и всеми

излишествами бывших придворных, если эти маркизы и графы от революции женятся на богатых женщинах, задают пышные пиры, играют, держат слуг, носят драгоценное платье, то что это значит? Ограблен ли народ, или это золото из королевских рук, которые они пожимают. Можно ли удивляться, что этим людям приходит в голову прекраснодушествовать и красоваться бонтонностью? Недавно мы слышали бесстыднейшую пародию на Тацита; я мог бы ответить Саллюстием и пародировать Катилину; но, кажется, дальнейшие штрихи излишни, портреты готовы.

Никакого соглашения, никакого перемирия с людьми, которые помышляют только об ограблении народа, которые надеялись совершить это ограбление безнаказанно, для которых республика — спекуляция, а революция — ремесло! Устрашенные многочисленными примерами суровой расправы, они замышляют потихоньку заморозить правосудие. Слово каждый из них говорит себе: «Мы недостаточно добродетельны, чтобы устрашать. Законодатели-философы, сжальтесь над нашей слабостью! Я не осмеливаюсь сказать вам, что я порочен; лучше скажу поэтому: не будьте жестоки!»

Успокойся, добродетельный народ, успокойтесь, патриоты! Скажите вашим братьям в Лионе: меч закона не заржавел в руках тех, кому вы его вверили! Мы дадим республике великий пример.

Общее одобрение.

Многие голоса. Да здравствует республика! Да здравствует Робеспьер!

Председатель. Заседание закрыто.

УЛИЦА

Лакруа, Лежандр.

Лакруа. Что ты наделал, Лежандр! Ты говорил о бюстах. Знаешь ли ты, чьи головы могут из-за этого слететь с плеч?

Лежандр. Нескольких франтов и щеголих, не более.

Лакруа. Ты — самоубийца; ты, копия, убиваешь свой оригинал, а следовательно и самого себя.

Лежандр. Я не понимаю.

Лакруа. Мне кажется, Колло говорил достаточно ясно.

Лежандр. Стоит ли обращать на это внимание? Он опять был пьян.

Лакруа. Дураки, дети и пьяные говорят правду. Кого, думаешь ты, разумел Робеспьер под Катилиной?

Лежандр. Ну?

Лакруа. Дело очень просто. Атеистов и ультра-революционеров послали на эшафот; но народу это не помогло, он все еще бегает босиком по улицам и хочет сделать себе башмаки из кожи аристократов. Термометр гильотины не должен падать; еще несколько градусов, и Комитету общественного спасения придется искать себе постель на Площади Революции.

Лежандр. Но какое же отношение имеют к этому мои бюсты?

Лакруа. Ты все еще не видишь? Ты открыто признал контрреволюцию, ты пробудил энергию децемвиров, ты направил их руку. Народ — это Минотавр, которому еженедельно

надо доставлять трупы, иначе он сам будет пожирать людей.

Лежандр. Где Дантон?

Лакруа. Почему я знаю? Он отыскивает Венеру Медицейскую по кусочкам среди всех гризеток Пале-Рояля; он занимается мозаикой, как он говорит. Небу известно, до какого члена добрался он теперь в своих поисках. Как досадно, что природа рассекает красоту, как Медея своего брата, на куски и вкладывает эти обломки поодиночке в различные тела. Идем в Пале-Рояль!

Оба уходят.

КОМНАТА

Дантон, Марион.

Марион. Нет, оставь меня! Здесь, у ног твоих. Я хочу рассказать тебе.

Дантон. Ты могла бы дать своим губам лучшее употребление.

Марион. Нет, оставь. Моя мать была умная женщина, она говорила всегда, что целомудрие — самая прекрасная из добродетелей. Когда люди приходили к нам в дом и начинали говорить о некоторых вещах, она всегда высылала меня из комнаты; если я спрашивала, что они хотели сказать, она говорила, что я должна была бы постыдиться задавать такие вопросы; когда я читала книгу, она почти всегда заставляла меня пропускать некоторые страницы; но библию я могла читать сколько угодно, там все было свято; однако и там кое-чего я не

понимала. Мне не хотелось также никого расспрашивать; я все сидела одна и думала. Но вот пришла весна; кругом что-то происходило, но я в этом не участвовала. Я очутилась в какой-то особой атмосфере, в которой я почти задыхалась. Я рассматривала свои члены; мне казалось иногда, что я раздваиваюсь и потом снова сливаюсь в одно существо. Наш дом посещал один молодой человек: он был красив и часто говорил всякие глупости; я не понимала точно, чего он хочет, но мне было смешно. Моя мать приглашала его заходить почаще, и это обоим нам было на руку. В конце концов нам показалось, что мы так же хорошо можем лежать вместе под одним одеялом, как и сидеть рядом на двух стульях. Мне доставляло это больше удовольствия, чем его разговоры, и я не могла понять, почему мне разрешают меньшее удовольствие, но заставляют отказываться от большего. Мы делали это потихоньку. Так оно шло некоторое время. Но я стала как море, которое все жадно поглощает и бурлит все сильнее и сильнее. Для меня осталось только одно различие: между мужчиной и женщиной, и все мужчины слились в одно тело. Такова уж была моя природа; что же я могла с этим поделать? Наконец он заметил это. Однажды утром он пришел и целовал меня так, точно хотел задушить; его руки крепко впились в мою шею, я была страшно испугана. Вдруг он выпустил меня, рассмеялся и сказал: «Я чуть было не выкинул большой глупости; пусть у тебя останется твоя оболочка, пользуйся ею, она скоро сама собою износится; я не хочу портить тебе игру преждевременно, — ведь это единственное,

что ты имеешь». Потом он ушел; я опять-таки не понимала, чего ему надо. Вечером я сидела у окна; я очень впечатлительна и живо ощущаю все, что происходит вокруг меня; я вся растворилась в волнах вечерней зари. Вдруг на улице показалась толпа; дети бежали впереди, женщины высовывались из окон. Я посмотрела вниз: они несли его мимо меня; луна освещала его бледный лоб, кудри были влажны, он утопился. Я не могла не плакать. Это был единственный момент, когда во мне что-то дрогнуло. У других людей есть воскресные и рабочие дни, они работают шесть дней и молятся на седьмой; каждый год в день рождения они радуются, а под новый год мечтают. Все это мне непонятно; я не знаю отдыха, не знаю никаких перемен. Во мне всегда одно: неутолимое желание, пыл, поток. Моя мать умерла от огорчения; люди показывают на меня пальцами. Это глупо. Не все ли равно, что доставляет человеку радость: тело, изображение Христа, цветы или детские игрушки; ведь чувство одно и то же; кто более наслаждается, тот больше молится.

Дантон. Почему не могу я целиком вобрать в себя твою красоту, целиком охватить ее?

Мария. Дантон, у твоих губ есть глаза.

Дантон. Я хотел бы быть частью эфира, чтобы купать тебя в своем потоке, чтобы преломляться на каждом изгибе твоего прекрасного тела.

Входят Лакруа, Аделаид, Розали.

Лакруа (*останавливаясь в дверях*). Как смешно, как смешно!

Дантон (*недовольно*). В чем дело?

Лакруа. Я вспоминаю улицу.

Дантон. И?

Лакруа. На улице были две собаки, дог и маленькая болоночка, они склещились.

Дантон. К чему это?

Лакруа. Так просто, пришло на память и стало смешно. Это было назидательно! Девушки выглядывали из окошек. Следовало бы из предосторожности не позволять им сидеть на солнце; а то мошки проделывают то же самое у них на руках; это наводит на мысли. Мы с Лежандром обошли чуть не все кельи; монашенки откровения плоти хватали нас за фалды и требовали благословения. Лежандр дал поучение одной, но за это ему придется целый месяц поститься. Вот вам две из этих подвижниц в натуре.

Марион. Добрый день, демуазель Аделаид! Добрый день, демуазель Розали!

Розали. Мы давно уже не имеем удовольствия...

Марион. Я очень об этом сожалела.

Аделаид. Но, бог мой, мы день и ночь заняты.

Дантон (*Розали*). Ах, малютка, какие стройные стали у тебя бедра!

Розали. Что же, мы каждый день совершенствуемся.

Лакруа. Какая разница между античным и современным Адонисом?

Дантон. А какой интересно-благонравный вид приобрела Аделаид; пикантная перемена. Лицо ее — точно фиговый листок, который она

держит перед своим телом. Фиговое деревцо на такой проезжей дороге дает очень освежающую тень.

Аделаид. Я была бы дорогой, ведущей к домашнему очагу, если бы только господин...

Дантон. Я понимаю; ну, не сердитесь, барышня!

Лакруа. Слушай же! Современного Адониса растерзывают не вепрем, а свиньями; он получает смертельную рану не в бедро, а в пах, и из его крови вырастают не розы, а цветы, налитые ртутью.

Дантон. У мадемуазель Розали реставрированный торс, только бедра и ноги подлинно античны. Она — магнит; что отталкивает полюс-голова, то притягивают полюс-ноги; а посередке экватор, где каждый, кто в первый раз переходит через эту линию, должен получить крещение сулемой.

Лакруа. Две сестры милосердия; у каждой для приема пациентов свой госпиталь, свое тело.

Розали. Постыдитесь, не заставляйте нас краснеть.

Аделаид. Вы могли бы держать себя более деликатно.

Аделаид и Розали уходят.

Дантон. Доброй ночи, милые детки!

Лакруа. Доброй ночи, ртутные ямы!

Дантон. Мне жаль их, они пошли добывать себе ужин.

Лакруа. Послушай, Дантон, я сейчас был у якобинцев.

Дантон. Ну, и что же?

Л а к р у а. Лионцы читали воззвание; они находят, что им более ничего не остается, как вернуться в тогу. У каждого из них такое выражение на лице, словно он хочет сказать соседу: Пет, это не больно! Лежандр кричал, что собираются разбить бюсты Шалье и Марата. Я думаю, он снова хочет вымазать себе физиономию кровью; он совсем отбилась от террора; дети дергают его на улице за фалды.

Д а н т о н. А Робеспьер?

Л а к р у а. Перебирал пальцами на трибуне и сказал: добродетель должна господствовать при помощи террора. От этой фразы я почувствовал боль в шее.

Д а н т о н. Она стругает доски для гильотины.

Л а к р у а. А Колло кричал, как одержимый, что надо сорвать маски.

Д а н т о н. Вместе с масками слетят и головы.

Входит П а р и.

Л а к р у а. Что нового, Фабриций?

П а р и. От якобинцев я пошел к Робеспьеру; я попросил объяснения. Он старался скорчить мину Брута, жертвующего своими сыновьями. Он говорил о долге вообще. Он сказал, что когда дело идет о свободе, он не может считаться ни с какими побочными соображениями, что он готов для нее всем пожертвовать: собою, своими братьями, своими друзьями.

Д а н т о н. Это очень недвусмысленно. Надо только перевернуть картину, и тогда окажется, что он стоит внизу и держит лестницу для своих друзей. Мы должны благодарить Лежандра, он развязал им языки.

Л а к р у а. Гебертисты еще не убиты, народ в нищете; это коромысло ужасных весов. Чашка с кровью не должна подниматься, чтобы не стать фонарем для самого Комитета общественного спасения; он нуждается в балласте, ему нужна тяжелая голова.

Д а н т о н. Я очень хорошо знаю — революция, как Сатурн, пожирает своих собственных детей. *(После некоторого размышления.)* Но все же они не рискнут на это.

Л а к р у а. Дантон, ты мертвый святой; но революция не признает реликвий, она выкинула на улицу останки королей и выбросила из церквей все статуи. Неужели ты думаешь, что тебя оставят красоваться в качестве монумента?

Д а н т о н. Мое имя! Народ!

Л а к р у а. Твое имя? Ты умеренный так же, как я, Камилл, Филиппо, Эро. Но в глазах народа слабость и умеренность — одно и то же; он убивает плетущихся в хвосте. Портные из секции красной шапки почувствуют, что в их иголке вся римская история, если герой сентября окажется по сравнению с ними умеренным.

Д а н т о н. Совершенно верно. И сверх того — народ как дитя: он должен все разломать, чтобы посмотреть, что там внутри.

Л а к р у а. К тому же, Дантон, мы порочны, как говорит Робеспьер, то есть мы наслаждаемся радостями жизни; а народ добродетелен, то есть он не наслаждается, потому что работа притупляет его органы наслаждения, он не напивается, потому что у него нет денег, он не ходит в публичные дома, потому что из глотки у него воняет селедкой и сыром, а девочек тошнит от этого.

Дантон. Он ненавидит наслаждающихся, как евнух — мужчин.

Лакруа. Нас называют негодьями, и... (наклоняясь к уху Дантона) в этом есть доля правды. Робеспьер и народ пребудут добродетельны, Сен-Жюст напишет роман, а Баррер будет выкраивать карманьолу и примерять Конвенту кровавый плащик, — я все вижу.

Дантон. Ты гредишь. Без меня у них ни на что нехватило бы смелости; им не удастся никого восстановить против меня; революция еще не кончена, я могу еще им понадобится, они пожелают сохранить меня про запас.

Лакруа. Нам надо действовать.

Дантон. За этим дело не станет.

Лакруа. За этим дело не станет, когда мы погибнем.

Марион (Дантону). Твои губы стали так холодны, твои слова задушили твои поцелуи.

Дантон (к Марион). Потерять столько времени! Сколько труда! (К Лекруа) Завтра я иду к Робеспьеру; я рассержу его, и тогда он не сможет молчать. Итак, завтра! Покойной ночи, друзья мои, покойной ночи! благодарю вас!

Лакруа. Другими словами: убирайтесь, дорогие друзья мои, убирайтесь! Покойной ночи, Дантон! Бедра этой барышни гильотинируют тебя, mons Veneris будет твоей Гарпейской скалой. (Уходит вместе с Пари.)

КОМНАТА

Робеспьер, Дантон, Пари.

Робеспьер. Я говорю тебе: кто хватает меня за руку в то время, как я извлек меч, тот

мой враг — безразлично, какими бы намерениями он ни руководился. Тот, кто мешает мне защищаться, убивает меня совершенно так же, как если бы он прямо на меня напал.

Дантон. Где оканчивается необходимая самооборона, там начинается убийство; я не вижу основания, заставляющего нас продолжать убивать.

Робеспьер. Социальная революция еще не закончена; кто производит революцию наполовину, тот сам себе роет могилу. Высшее общество еще не добито, здоровые силы народа должны заступить место этого во всех отношениях выродившегося класса. Порок должен быть наказан, добродетель должна господствовать при помощи террора.

Дантон. Я не понимаю слово: «наказание». Ах, эта твоя добродетель, Робеспьер! Ты никогда не брал взяток, ты никогда не делал долгов, ты никогда не спал у женщин, ты всегда носил приличное платье и ни разу не напился пьян. Робеспьер, ты возмутительно добродетелен! Мне было бы стыдно тридцать лет шататься по свету с такой высоконравственной физиономией ради одного только жалкого удовольствия сознавать, что другие хуже меня. Неужели ты никогда не слышишь внутреннего голоса, который потихоньку шепчет тебе: ты лжешь, ты лжешь!

Робеспьер. Совесть моя чиста.

Дантон. Совесть — зеркало, перед которым кривляется обезьяна; каждый приукрашивается по собственной фантазии и по собственному вкусу. Стоит ли из-за этого вцепляться друг другу в волосы? Каждый может защи-

щаться, если другой портит ему игру. Но если ты носишь всегда тщательно вычищенный камзол, то неужели это дает тебе право гильотиной скрести грязное белье других людей и отрубленными головами чистить их запачканное платье? Ты можешь охранять свою одежду, не давать другим плевать на нее и рвать ее; но если тебя оставляют в покое, что тебе за дело до других? Если они не стесняются открыто показываться такими, каковы они есть, то разве это достаточное основание, чтобы отправить их в могилу? Кто ты таков? Агент небесной полиции? Если ты не можешь смотреть на это так же спокойно, как смотрит твой господь бог, то прикрой глаза носовым платком.

Робеспьер. Ты не признаешь добродетели?

Дантон. И порока. Существуют только эпикурейцы и притом грубые и утонченные, — Христос был самым утонченным из них. Вот единственная разница, которую я нахожу между людьми. Каждый поступает сообразно своей природе, то есть делает то, что ему приятно. Но правда ли, Неподкупный, это жестоко, сорвать тебе таким образом каблуки башмаков?

Робеспьер. Дантон, бывают времена, когда порок — государственная измена.

Дантон. Этого ты не должен провозглашать ни за что на свете, это было бы неблагодарностью. Ведь пороку ты слишком многим обязан: по контрасту. Впрочем, даже если оставаться при твоих понятиях, наши пороки надо признать полезными для республики; невинные не должны страдать на ряду с виновными.

Робеспьер. А кто же говорит, что пострадал хоть один невинный?

Дантон. Ты слышишь, Фабриций? Ни один невинный не был казнен! *(Идет к двери; на ходу обращается к Пари.)* Нам нельзя терять ни минуты, мы должны показать себя!

Дантон и Пари уходят.

Робеспьер *(один)*. Уходи! Он хотел бы заставить коней революции останавливаться перед каждым бардаком, как извозчик своих дрессированных кляч; но у них хватит силы догнать его до Площади Революции.

Сорвать мне каблуки с башмаков! Остаться при моих понятиях! — Так! Так! Что это в сущности значит? — Они скажут, что его гигантская фигура слишком затеняла меня и что поэтому я хочу убрать его, чтобы он не застил мне солнца. — А если бы они даже были правы? — Действительно ли это так необходимо? Да, да! Республика! Он должен быть устранен. Смешно, как мои мысли выслеживают друг друга. — Он должен быть устранен. Тот, кто среди массы, устремляющейся вперед, стоит на месте, оказывает сопротивление, точно так же как и тот, кто идет навстречу: его растаптывают.

Мы не позволим этим людям посадить корабль революции на тинистую мель их жалких расчетов; мы отсечем руку, которая осмелится удерживать его, хотя бы в нас вцепились зубами. Долой общество, которое, сняв платье с мертвой аристократии, унаследовало ее язвы.

Нет добродетели! Добродетель каблук на моем башмаке? Мои понятия! Опять и опять эти

мысли! Почему я не могу от них отделаться? Он тычет кровавым пальцем все сюда, все сюда! Сколько ни наворачивай на него тряпок, кровь проступает наружу. *(После некоторой паузы)* Я не знаю, что во мне лживо. *(Подходит к окну.)* Ночь храпит над землей, погруженной в беспутный сон. Мысли и желания, едва подозреваемые, смутные и бесформенные, пугливо прячущиеся от дневного света, теперь приобретают формы и очертания и прокрадываются в тихое обиталище сна. Они раскрывают двери, выглядывают в окна, наполовину обрастают плотью; во сне расправляются члены, губы шепчут. И не есть ли наше бодрствование более ясный сон? Не являемся ли мы лунатиками? Не поступаем ли мы и наяву, как во сне, но только отчетливее, определеннее, последовательнее? Кто может нас порицать за это? За один час дух наш может совершить мысленно больше дел, чем в состоянии осуществить косный организм нашего тела за целые годы. Грех в мыслях! Становится ли мысль делом, увлекает ли она за собою тело, — зависит от случая.

Входит Сен-Жюст.

Робеспьер. Эй, кто там в темноте? Эй, света, света!

Сен-Жюст. Ты не узнаешь меня по голосу?

Робеспьер. А, это ты, Сен-Жюст?

Служанка вносит свечу.

Сен-Жюст. Ты был один?

Робеспьер. Только что вышел от меня Дантон.

Сен - Жю ст. Я встретил его по дороге сюда в Пале-Рояле. Он выставил свой революционный лоб и говорил эпиграммами; он братался с санкюлотами, гризетки увивались около него; люди останавливались и шептали друг другу на ухо его слова. — Мы потеряем преимущества нападающего. Неужели ты еще будешь медлить? Тогда мы обойдемся без тебя. Мы решились.

Робеспьер. Что хотите вы сделать?

Сен - Жю ст. Мы созовем Законодательный комитет, Комитет безопасности и Комитет общественного спасения на торжественное заседание.

Робеспьер. Слишком много парада.

Сен - Жю ст. Мы должны похоронить этот огромный труп с подобающими церемониями, как священники, а не как убийцы; мы не хотим его калечить, пусть отправится в могилу со всеми своими членами.

Робеспьер. Говори яснее!

Сен - Жю ст. Мы хотим похоронить его в полном вооружении и убить на его могильном холме всех его коней и рабов: Лакруа. . .

Робеспьер. Определенный негодяй, бывший писец адвоката, теперь генерал-лейтенант республики. Дальше!

Сен - Жю ст. Эро Сешель.

Робеспьер. Красивая голова!

Сен - Жю ст. Он был красиво размалеванной начальной буквой конституционного акта; мы больше не нуждаемся в подобного рода украшениях, его пора стереть. — Филиппо. — Камилл.

Робеспьер. И он?

Сен - Жю ст. *(передает ему бумагу)*. Да, я думаю. На, читай!

Робеспьер. Ага, «Старый францисканец»! И больше ничего? Но он ребенок, он потешался над вами.

Сен-Жюст. Читай здесь, здесь. (Показывает ему место.)

Робеспьер (читает). «Этот кровавый мессия Робеспьер на своей Голгофе, между обоими разбойниками, Кутонем и Колло, где он приносит жертвы, а не приносит в жертву. Богомолки гильотины стоят внизу, как Мария и Магдалина; Сен-Жюст, как Иоанн, его любимый ученик; он излагает в Конvente апокалипсические откровения учителя; он носит свою голову, как дароносицу».

Сен-Жюст. Он у меня понесет свою голову, как святой Денис.

Робеспьер (читает дальше). «Не кажется ли вам, что чистенький фрак мессии — саван Франции, а его тонкие пальцы, которыми он перебирает на трибуне, ножи гильотины? — И ты Баррер, ты, который сказал, что на Площади Революции будут чеканить монету! Однако я не хочу ворошить этот старый мешок. Это вдова, имевшая и похоронившая с полдюжины мужей. Что можно сказать против этого? Такой уже у него дар, что за полгода до смерти он видит у человека гиппократову печать на лице. И кому охота копаться среди этих трупов и нюхать их вонь?»

Итак, и ты тоже, Камилл? Долой их! Скорее! Только мертвые не возвращаются.

Ты уже приготовил обвинение?

Сен-Жюст. За этим дело не станет. Ты сам наметил его намеками у якобинцев.

Робеспьер. Я хотел их поугаать.

Сен-Жюст. Мне остается только привести в исполнение. Поддельватели составят первое блюдо, чужеземцы десерт, и от этой трапезы они умрут, даю тебе слово.

Робеспьер. Но только скорее, завтра! Не надо длинной борьбы со смертью! С некоторого времени я стал очень чувствителен. Скорее!

Сен-Жюст уходит.

Робеспьер (*один*). Совершенно верно, кровавый мессия, который приносит жертвы, а не приносится в жертву. Он искупил вас своею кровью, а я искупаю вас вашей собственной. Он предоставлял вам грешить, а я беру грехи на себя. Он взял себе сладострастие боли, а я — муки палача. Кто был самоотверженнее, я или он? И все же есть что-то безумное в этой мысли. Почему нас всегда так влечет к нему? Правда, сын человеческий распинается в каждом из нас; все мы в кровавом поту боремся в саду Гефсиманском, но никто не в состоянии искупить другого своими ранами.

Мой Камилл! Все они уходят от меня — все пусто и безлюдно кругом — я один.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

КОМНАТА

Дантон, Лакруа, Филиппо, Пари, Камил Демулен.

Камилл. Скорее, Дантон, нам нельзя терять времени!

Дантон. Но время теряет нас. Как это скучно, сначала всегда надевать рубаху, потом штаны, по вечерам ложиться в постель, а по утрам опять вылезать из нее и переставлять ноги одну за другою; и нет никакой надежды, чтобы это могло когда-нибудь измениться. Очень тоскливо, что миллионы людей уже проделывали все это и миллионы еще будут проделывать и что мы сверх того состоим из двух половинок, совершенно одинаковых, и все делается в нас дважды — это очень тоскливо.

Камилл. Ты говоришь совсем по-детски.

Дантон. Умирающие часто впадают в детство.

Лакруа. Своей медлительностью ты влечешь себя к гибели и тащишь за собой всех своих друзей. Известно малодушным, что наступило время сплотиться вокруг тебя, обратись с призывом и к людям Равнины и к людям Горы! Кричи о тирании децемвиров, говори о кинжа-

лах, призывай память Брута; тогда ты напугаешь трибуны и соберешь вокруг себя даже тех, кому грозят, как соучастникам Гебера! Дай волю своему гневу! Не дай нам, по крайней мере, умереть обезоруженными и униженными, позорной смертью Гебера!

Дантон. У тебя плохая память. Ты назвал меня мертвым святым; и ты был более прав, чем сам думал. Я был в секциях; они отнесли ко мне с благоговейной почтительностью, как к покойнику. Я — реликвия, а реликвии выбрасывают на улицу, ты правильно сказал.

Лакруа. Зачем же ты допустил до этого?

Дантон. До этого? Да, действительно, под конец мне это страшно наскучило. Все время таскаться в том же самом платье с теми же самыми складками. Что за убожество! Быть жалким инструментом, единственная струна которого всегда издает тот же самый тон. Это невыносимо! Я хотел устроиться по своему вкусу. Мне это удалось; революция дает мне покой, но иначе, чем я это думал.

Впрочем, на кого же опереться? Наши девки могли бы откликнуться да богомолки гильотины; больше я никого не знаю. Можно перечислить по пальцам: якобинцы заявили, что в порядке дня добродетель, кордельеры называют меня палачом Гебера, коммунальный совет творит покаяние, Конвент — к нему можно было бы прибегнуть! Но если бы произошло 31 мая, они неохотно уступили бы. Робеспьер — догмат революции; его не следует вычеркивать. Да это и не выйдет. Не мы создали революцию, а она нас.

А если бы даже и вышло — я предпочитаю быть гильотинированным, чем гильотинировать. Я сыт по горло; зачем мы, люди, должны еще бороться друг с другом? Надо сесть рядышком и успокоиться. Была сделана какая-то ошибка, когда нас создавали; нам кое-что нехватает, не знаю, как это назвать — но во всяком случае мы не найдем этого в кишках других людей; зачем же нам распарывать друг другу животы? Да, мы жалкие алхимики!

К а м и л л. Или, выражаясь более патетично: доколе же человечество в своем вечном голоде будет пожирать свои собственные члены? Или: доколе мы, потерпевшие крушение, будем на обломках нашего корабля гасить нашу неутолимую жажду, высасывая кровь из жил друг друга? Или: доколе мы, алгебраисты плоти, в поисках нашего неизвестного, вечно ускользающего икса, будем писать наши уравнения растерзанными членами живых людей?

Д а н т о н. Ты громкое эхо.

К а м и л л. Эхо пистолетного выстрела похоже на раскаты грома, не правда ли? Тем лучше для тебя; тебе следовало бы всегда иметь меня при себе.

Ф и л и п п о. А Франция останется в руках своих палачей?

Д а н т о н. Ну, что ж такое! Людям это только на пользу. Они несчастны; а это только и нужно, чтобы почувствовать себя растроганным, быть благородным, добродетельным или остроумным, вообще, чтобы избавиться от скуки. Не все ли равно, будут ли они умирать от гильотины, или от горячки, или от старости! И даже

предпочтительнее уйти за кулисы гибкой походкой, сделать на прощанье несколько красивых жестов и услышать аплодисменты зрителей. Это очень мило и очень нам подходит: ведь мы всегда выступаем на театральных подмостках, — даже если нас в конце концов убивают по-настоящему. Совсем не плохо, что срок нашей жизни немного укорачивается; платье было слишком длинно для нашего тела, его надо подрезать. Жизнь превращается в эпиграмму, и это к лучшему; у кого хватило бы духу и вдохновения на эпическую поэму в пятьдесят или шестьдесят песен? Наступило время, когда небольшое количество эссенции, приходящейся на долю каждого из нас, пьют не из чана, а из ликерной рюмочки; и все же наш рот полон ею, тогда как в большом неуклюжем сосуде едва можно было бы набрать ее несколько капель.

Наконец — мне пришлось бы кричать; это слишком утомительно, жизнь не стоит того труда, который надо затратить для ее сохранения.

П а р и. Тогда беги, Дантон!

Д а н т о н. Разве можно унести с собой отечество на подошвах башмаков?

И наконец — и это главное: они не осмелятся на это. (Камиллу) Пойдем, мой мальчик; я говорю тебе, они на это не осмелятся. Прощайте! Прощайте!

Дантон и Камилл уходят.

Ф и л и п п о. Он уходит.

Л а к р у а. И не верит ни одному слову из того, что сам сказал. Только лень и больше ни-

чего! Он скорее даст себя гильотинировать, чем соберется сказать речь.

П а р и. Что же делать?

Л а к р у а. Итти домой и, как Лукреция, изучать наиболее благопристойный способ самоубийства.

БУЛЬВАР

Гуляющая публика.

Г р а ж д а н и н. Дорогая моя Жаклина — я хотел сказать, Корн... я хотел: Кор...

С и м о н. Корнелия, гражданин, Корнелия.

Г р а ж д а н и н. Дорогая моя Корнелия порадовала меня мальчиком.

С и м о н. Родила сына республике.

Г р а ж д а н и н. Республике, это звучит слишком обще: можно бы сказать...

С и м о н. В том-то и дело, что частное должно подчиняться общему...

Г р а ж д а н и н. Да, да, то же самое говорит и моя жена.

У л и ч н ы й п е в е ц (поет).

В чем же, в чем же, наконец,
Наших радостей венец?

Г р а ж д а н и н. Но как его назвать, я не могу придумать.

С и м о н. Назови его Пикой, Марат!

У л и ч н ы й п е в е ц.

Чтоб с утра до поздней ночи
Изо всей трудиться мочи.

Гражданин. Хотелось бы дать ему три имени — три — это все-таки такое число... и притом, чтобы было что-нибудь полезное и что-нибудь доблестное; стой, придумал: Плуг, Робеспьер. Ну, а третье?

Симон. Пика.

Гражданин. Благодарю вас, сосед; Пика, Плуг, Робеспьер, хорошенькие имена, они мне нравятся.

Симон. Я говорю тебе: грудь твоей Корнели, как вымя римской волчицы — нет, это не годится: Ромул был тиран, это не годится...
(Проходят мимо.)

Нищий (поет). «Праха горсть, немного моху...» Дорогие господа, прекрасные дамы!

Первый господин. Тебе надо работать, парень, ты выглядишь таким здоровяком!

Второй господин. На тебе! (Дает ему денег.) Смотрите, какие у него нежные руки. Это прямо бесстыдство.

Нищий. Господин, откуда у вас ваш камзол?

Второй господин. Трудись, трудись! Ты мог бы иметь такой же; я дам тебе работу, приходи ко мне, я живу...

Нищий. А зачем вы трудитесь, господин?

Второй господин. Дурак, для того, чтобы добыть этот камзол.

Нищий. Вы, значит, мучили себя для того, чтобы получить удовольствие; ведь такой камзол доставляет удовольствие, но и мои лохмотья также.

Второй господин. Конечно, как же иначе?

Ни щ и й. По-моему, чорт возьми, одно стоит другого. Солнышко пригревает так тепло, и больше ничего не нужно. (Поет)

Праха горсть, немного моху. . .

Р о з а л и (к Аделаид). Идем, вон солдаты. Со вчерашнего дня у нас маковой росинки во рту не было.

Ни щ и й. «Вот мой жребий на земле. . .» Почтенные господа и дамы!

С о л д а т. Стой! Куда вы, мои детки? (К Розали.) Сколько тебе лет?

Р о з а л и. Столько же, сколько моему мизинчику.

С о л д а т. Да ты воструха!

Р о з а л и. Зато ты очень туп.

С о л д а т. Так дай, я немного поточусь об тебя. (Поет)

Христина, милочка моя,
Тебе не сделал больно я,
Ой, больно я, ой, больно я?

Р о з а л и (поет).

Ах, нет, солдатик дорогой,
Мне так приятно быть с тобой,
Да, быть с тобой, да, быть с тобой!

Входят Дантон и Камилл.

Д а н т о н. Разве тут не весело? Я чую что-то в атмосфере; словно само солнце сеет кругом распутство. Хочется прыгать в его лучах, скинуть штаны, и спариваться через зад, как уличные собаки. (Проходят.)

Молодой господин. Ах, мадам, звуки колокола, отблеск вечерней зари на деревьях, мерцание звезды. . .

Дама. Аромат цветка! Эти естественные радости, это чистое наслаждение природой! (Своей дочери) Смотри, Эжени, только у добродетели глаза на это раскрыты.

Эжени (целует матери руку). Ах, я вижу только вас, мама.

Дама. Милое дитя!

Молодой человек (шепчет Эжени на ухо). Видите вы там хорошенькую даму рядом с пожилым господином?

Эжени. Я знаю ее.

Молодой человек. Говорят, что ее парикмахер причесал ее à l'enfant.

Эжени (смеется). Злой язык!

Молодой человек. А старичок шагает с ней рядом и водит ее гулять на солнышке; он видит, как набухает бутончик, и воображает, что сам источник того живительного дождя, который заставляет его расти.

Эжени. Как неприлично! Вы заставляете меня краснеть.

Молодой человек. А я готов побледнеть от этого. (Уходят.)

Дантон (Камиллу). Только не говори мне ни о чем серьезном! Я не понимаю, почему люди на улице не останавливаются и не хохочут друг другу в лицо. Мне кажется, люди должны бы со смехом высовываться из окон и из могил, небо должно бы корчиться и земля кататься от смеха. (Уходит.)

Первый господин. Уверяю вас, это изу-

мительное открытие! Все технические искусства приобретут благодаря ему совершенно новую физиономию. Человечество гигантскими шагами идет навстречу своему высокому предназначению.

Второй господин. Видели вы новую вещь? Вавилонская башня! Путаница сводов, лестниц, переходов, и все так легко и смело брошено в воздух. Головокружение на каждом шагу. Странная выдумка! *(Останавливается в смущении.)*

Первый господин. Что с вами?

Второй господин. Ах, ничего. Вашу руку, сударь. Эта лужа... так! Благодарю вас. Я с трудом ее миновал; это могло бы быть опасно!

Первый господин. Надеюсь, вы не боитесь?

Второй господин. Видите ли, земная кора так тонка; я опасаясь всегда, как бы не провалиться сквозь нее, когда встречаю такую дыру. Надо ходить с осторожностью, иначе можно проломить. Однако сходите в театр, советую вам это!

КОМНАТА

Дантон, Камилл, Люсиль.

Камилл. Говорю вам, у них есть глаза и уши только для тех неуклюжих копий, которые показывают по билетам в театрах, концертах, на художественных выставках. Вырежет кто-нибудь из дерева марионетку, которая двигает

членами, когда ее дергают за веревочку, и при каждом шаге трещит пятистопными ямбами, — и все кричат: какой характер! какая законченность! Возьмет кто-нибудь страстишку, сентенцию, понятие, облачит в штаны и камзол, приделает руки и ноги, размалюет лицо и заставит эту штуку колобродить три акта, пока наконец дело не закончится свадьбою или самоубийством, — и готов идеал. Сварганит кто-нибудь оперу, которая передает движения человеческой души, как свистулька с водою пение соловья, — искусство!

Выведите людей из театра на улицу: какая жалкая действительность! Они забывают творение божие из-за их скверных копий, они не слышат и не видят того пылающего, гремящего и сверкающего творчества, которое ежемгновенно снова зарождается вокруг них и в них самих. Они ходят в театры, читают стихи и романы, изображают на своих лицах заимствованные отсюда гримасы и говорят о творениях божьих: как обыденно! Греки знали, что говорили, утверждая, что статуя Пигмалиона хотя и ожила, но не могла иметь детей.

Д а н т о н. И художники обращаются с природою, как Давид, который хладнокровно зарисовывал убитых в сентябре, когда их выкинули из тюрьмы на улицу; он говорил: я хочу уловить последние содрогания жизни у этих злодеев.

Дантона вызывают из комнаты.

К а м и л л. Что ты сказала, Люсиль?

Л ю с и л ь. Ничего, я так люблю смотреть на тебя, когда ты говоришь.



К а м и л л. Но ты и слушаешь меня?

Л ю с и л ь. О, конечно.

К а м и л л. Ну, что же, прав я? Ведь ты поняла, что я сказал?

Л ю с и л ь. Нет.

Д а н т о н возвращается.

К а м и л л. В чем дело?

Д а н т о н. Комитет общественного спасения постановил арестовать меня. Меня предупреждают и предлагают мне убежище.

Они хотят моей головы; ну, что же, пускай. Мне надоела эта сутолока. Пусть возьмут меня. Что за беда? Я сумею умереть мужественно; это легче, чем жить.

К а м и л л. Дантон! Еще есть время!

Д а н т о н. Невозможно. Но я бы не думал...

К а м и л л. А все твоя лень!

Д а н т о н. Я не ленив, я устал; мои подошвы жгут меня.

К а м и л л. Куда ты идешь?

Д а н т о н. Кто может это знать!

К а м и л л. Нет, серьезно, куда?

Д а н т о н. Прогуляться, мой мальчик, прогуляться. (Уходит.)

Л ю с и л ь. Ах, Камилл!

К а м и л л. Успокойся, дорогое дитя.

Л ю с и л ь. Когда я только подумаю, что они эту голову... Мой Камилл! Это безумие! Я сойду с ума.

К а м и л л. Успокойся. Дантон и я не одно и то же.

Л ю с и л ь. Земля так велика, на ней столько людей — почему же как раз одного этого? Кто

смеет отнять его у меня? Это было бы жестоко. И зачем им это нужно?

К а м и л л. Повторяю, ты можешь быть спокойна. Вчера я говорил с Робеспьером: он был приветлив. Отношения между нами немного натянуты — это правда; различия во взглядах, но больше ничего!

Л ю с и л ь. Пойди к нему.

К а м и л л. В школе мы сидели на одной скамье. Он был всегда угрюм и замкнут. Один я умел расшевелить его и заставлял иногда смеяться. Он всегда обнаруживал большую привязанность ко мне. Я ухожу.

Л ю с и л ь. Так скоро, друг мой? Впрочем, иди! Ступай! Только один раз сюда. (*Целует его.*) И сюда! Иди, иди!

Камилл уходит.

Тяжелое время. Ничего не поделаешь. Кто может тут что-нибудь изменить? Надо быть ко всему готовой. (*Напевает*)

Разлука, разлука, разлука,
Кто выдумал тебя?

Почему мне как раз это пришло в голову? Не хорошо, что такие мысли сами собою приходят на ум. Когда он вышел, у меня было такое чувство, что он уже больше не может вернуться и должен идти все дальше от меня, все дальше. . .

Как пусто в комнате; и окна открыты настежь, как будто в доме покойник. Мне здесь невыносимо. (*Уходит.*)

ОТКРЫТОЕ ПОЛЕ

Дантон.

Дантон. Дальше я не пойду. Не хочется нарушать эту тишину шумом шагов и учащенного дыхания. (Он садится. После некоторого молчания) Мне рассказывали, что есть такая болезнь, при которой теряется память. Смерть, должно быть, что-то в этом же роде. Иногда у меня возникает даже надежда, что она, быть может, действует еще сильнее и заставляет человека потерять все. Если бы это было так! Тогда я, как христианин, бросился бы спасти моего врага, то есть мою память.

Место должно быть надежным — для моей памяти, не для меня; мне внушает больше уверенности могила, она, по крайней мере, даст мне забвение. Она убьет мою память. Но там память обо мне живет и убивает меня. Я или она? Ответить не трудно. (Он поднимается и идет назад.)

Я кокетничаю со смертью; это очень приятно так издали перемигиваться с нею через лорнет.

В сущности, вся эта история заслуживает только смеха. Какое-то чувство говорит мне, что все останется по-старому; завтра будет, как сегодня, послезавтра и дальше, как теперь. Это пустой шум. Меня хотят лишь припугнуть; они не осмелятся! (Уходит.)

КОМНАТА

Ночь.

Дантон (у окна). Что же это никогда не прекратится? Никогда не погаснет этот свет и не замолкнет шум? Никогда не станет тихо

и темно, чтобы мы не могли уже больше слышать и видеть этих наших омерзительных грехов? Сентябрь!

Жюли (*кричит из глубины*). Дантон, Дантон!

Дантон. Ну?

Жюли (*входит*). Что ты кричишь?

Дантон. Я кричал?

Жюли. Ты говорил об омерзительных грехах и затем престодал: сентябрь!

Дантон. Я? Я? Нет, я этого не говорил; я едва это подумал, это были совсем тихие, тайные мысли.

Жюли. Ты дрожишь, Дантон.

Дантон. Как же мне не дрожать, когда стены начинают разговаривать. Если тело мое так разбито, что мысли выходят наружу, бродят кругом и начинают говорить каменными губами... Это жутко.

Жюли. Жорж мой, Жорж!

Дантон. Да, Жюли, это очень жутко. Лучше уже больше вовсе не думать, если каждая мысль будет высказывать себя так вслух. Есть мысли, Жюли, которых никто не должен бы слышать. Нехорошо, если они при своем рождении сразу начинают кричать, как дети; это нехорошо.

Жюли. Сохрани бог твой разум; Жорж, Жорж, узнаешь ли ты меня?

Дантон. Почему же нет! Ты человек и сверх того женщина и, наконец, моя жена; земля имеет пять частей света: Европу, Азию, Африку, Америку и Австралию; дважды два — четыре. Ты видишь, я в здравом уме. Но кто же кричал: «Сентябрь!»? Ведь ты сама сказала!

Жюли. Да, Дантон, крик этот пронесся через все комнаты.

Дантон. Когда я подошел к окну... (Выглядывает наружу.) Город спокоен, свет везде погас...

Жюли. Где-то близко кричит ребенок.

Дантон. Когда я подошел к окну — по улицам все кричало и взывало: сентябрь!

Жюли. Ты грезил, Дантон. Опомнись!

Дантон. Грезил? Да, я видел сон; но это было совсем другое. Я сейчас тебе расскажу — моя бедная голова так плохо меня слушается. Сейчас! Так, теперь я вспомнил: подо мною, тяжело дыша, неслась земля в стремительном беге; я держался на ней как на диком коне, гигантскими руками вцепился ей в гриву и сжал ей ребра, откинув голову, волосы развевались над бездною — так я несся. Я закричал от страха и проснулся. Я подошел к окну — и тогда услышал это, Жюли... Что значит это слово? Почему именно оно? Зачем оно мне? Для чего простирает оно ко мне свои кровавые руки? Не я убил. О, помоги мне, Жюли! Мой ум мешается! Ведь это было в сентябре, Жюли?

Жюли. Короли стояли тогда под Парижем на расстоянии сорокачасового марша.

Дантон. Крепости сдавались, аристократы в городе...

Жюли. Республика погибала.

Дантон. Да, погибала. Мы не могли оставить врага в тылу у себя, мы были бы дураками: два врага на одной доске; мы или они? Более сильный должен был сбросить вниз более слабого — разве это не справедливо?

Жюли. Да, да.

Дантон. Мы разбили их, это было не убийство, это была гражданская война.

Жюли. Ты спас отечество.

Дантон. Да, я сделал это; это была необходимая самооборона, мы должны были.

Человек на кресте очень ловко вывернулся: «Зло должно притти в мир, но горе тому, через кого оно приходит!» — «Должно»; это и было должное. Кто станет проклинать руку, на которую наложило проклятие должное? И кто сказал: «Должно»? Кто? Что это такое, что в нас распутничает, лжет, ворует и убивает?

Мы куклы, которых дергают за проволоку неведомые силы; мы сами ничто. Ничто! Мечи, которыми сражаются духи, — только, как в сказке, мы не видим их рук. Теперь я спокоен.

Жюли. Совсем спокоен, дорогой мой?

Дантон. Да, Жюли; идем в постель!

УЛИЦА ПЕРЕД ДОМОМ ДАНТОНА

Симон, солдаты гражданского ополчения.

Симон. Сколько часов?

Первый гражданин. Что такое?

Симон. Я спрашиваю, сколько часов ночи?

Первый гражданин. Да ровно столько, сколько прошло после захода солнца.

Симон. Негодяй! Который час?

Первый гражданин. Посмотри на свой собственный циферблат; это как раз тот час ночи, когда маятники отбивают удары под одеялом.

С и м о н. Мы должны войти. Посторонитесь, граждане! Мы отвечаем за это своими головами. Живого или мертвого! Он человек огромной силы. Я пойду вперед, граждане. Дорогу свободе! Позаботьтесь о моей жене! Я оставляю ей дубовый венок.

Первый гражданин. Желудевый венок? Да разве она и без того не получает от тебя ежедневно хорошую порцию желудей?

С и м о н. Вперед, граждане. Вы должны послужить отечеству!

Второй гражданин. А я хотел бы, чтобы отечество послужило нам; мы продырявили столько людей, и хоть бы одна дыра на наших собственных штанах залаталась от этого.

Первый гражданин. Ты хочешь, чтобы тебе залатали прореху на твоих штанах. Ха, ха, ха!

Другие. Ха, ха, ха!

С и м о н. Дорогу, дорогу!

Они проникают в дом Дантона.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНВЕНТ

Группа депутатов.

Лежандр. Когда же будет конец этому избению депутатов? Кто же будет в безопасности, если падет Дантон?

Первый депутат. Что же делать?

Второй депутат. Он должен быть выслушан перед решеткой Конвента. Успех тогда обеспечен. Что смогут они противопоставить его словам?

Третий депутат. Невозможно. Декрет запрещает это.

Лежандр. Надо отменить декрет или допустить исключение. Я внесу предложение; рассчитываю на вашу поддержку.

Председатель. Объявляю заседание открытым.

Лежандр (*всходит на трибуну*). Этою ночью были арестованы четыре члена Национального конвента. Я знаю, что один из них Дантон; имена прочих мне неизвестны. Но кто бы они ни были, я требую, чтобы они были заслушаны перед решеткой.

Граждане! Я заявляю: я считаю Дантона таким же невинным, как самого себя, а я не думаю, чтобы меня можно было в чем-нибудь упрекнуть. Я не хочу затрагивать никого из членов Комитета общественного спасения или Комитета безопасности, но я имею серьезные основания опасаться, что личная ненависть, личные страсти могут отнять у свободы людей, которые оказали ей величайшие услуги. Человек, который своей энергией спас Францию в 1792 году, заслуживает того, чтобы его выслушали; ему нужно дать возможность представить свои объяснения, раз его обвиняют в государственной измене.

Сильное движение.

Несколько голосов. Поддерживаем предложение Лежандра!

Первый депутат. Мы здесь именем народа; без воли наших избирателей нельзя вырывать нас отсюда.

Второй депутат. Ваши слова пахнут трупом; вы заимствовали их у жирондистов. Вы хотите привилегий? Меч закона подъят одинаково над всеми головами.

Третий депутат. Мы не можем позволить нашим комитетам вырывать законодателей из убежища, предоставленного им законом, и отправлять их на гильотину.

Четвертый депутат. Преступление не имеет убежища. Только коронованные преступники находят его на троне.

Пятый депутат. Только негодяи апеллируют к праву убежища.

Шестой депутат. Только убийцы не признают этого права.

Робеспьер. Давно невиданное смятение в этом собрании уже само по себе доказывает, что обсуждаемый вопрос очень важен. Сегодня решается вопрос о том, могут ли несколько человек одержать победу над отечеством? Неужели вы можете до такой степени пренебрегать своими принципами, что готовы сегодня разрешить некоторым лицам то, в чем вы вчера отказали Шабо, Делоне и Фабру? Чем оправдать это различие в пользу отдельных людей? Разве можно обращать внимание на похвалы самим себе и своим друзьям? Слишком продолжительный опыт показал нам, какая этому цена. Мы спрашиваем не о том, не совершил ли человек того или другого патриотического поступка, мы спрашиваем о всей его политической деятельности. Лежандр делает вид, что ему неизвестны имена арестованных. Но всему Конвенту они известны — его друг Лакруа между ними. Почему же Лежандр

делает вид, что он этого не знает? Не потому ли, что только бесстыдство могло бы выступить на защиту Лакруа? Он назвал только Дантона, ибо он полагает, что с этим именем связана привилегия. Но мы не хотим никаких привилегий, мы не хотим никаких идолов.

Одобрение.

Какие преимущества имеет Дантон перед Лафайетом, перед Дюмурье, перед Бриссо, Фабром, Шабо, Гебером? Что можно сказать о них такого, что не было бы приложимо и к нему? И разве вы их тем не менее пощадили? Чем же заслужил он преимущество перед своими согражданами? Не тем ли, что некоторые обманутые лица и другие, которые вовсе не были обмануты, объединились вокруг него, чтобы с его помощью добыть себе счастье и власть? Чем более он обманул патриотов, оказавших ему доверие, тем сильнее должен он почувствовать суровость друзей свободы.

Вам хотят внушить страх перед злоупотреблениями той властью, которую вы сами же создали. Кричат о деспотизме комитетов, как будто бы то доверие, которым облек вас народ и которое вы передали комитетам, не является надежной гарантией их патриотизма. Говорят, что все трепещут; но я говорю вам, что тот, кто в настоящее время трепещет, виновен; ибо никогда невинность не трепещет пред общественной бдительностью.

Общее одобрение.

Пытались также и меня запугать; мне давали понять, что опасность, раз она коснется Дантона,

может придвинуться и ко мне. Мне писали, друзья Дантона осаждали меня, полагая, что воспоминания о старых связях и слепое доверие к лицемерной добродетели могут умерить мою ревность и мою страсть к свободе. Но я объявляю: ничто не в состоянии меня удержать, хотя бы опасность, угрожающая Дантону, стала угрожать и мне. Все мы нуждаемся в некотором мужестве и в некотором величии духа. Только преступники и пошляки пугаются, видя, что рядом с ними падают им подобные, ибо, когда их не заслоняет уже больше толпа соучастников, на них падает свет истины. Но если есть подобного рода люди в этом собрании, то в нем есть и герои. Число негодяев невелико; мы должны поразить лишь немногие головы, и отечество будет спасено.

Одобрение.

Я требую, чтобы предложение Лежандра было отклонено.

Все депутаты поднимаются с мест в знак общего согласия.

Сен-Жюст. Повидимому, в этом собрании имеются слишком чувствительные уши, которые с трудом переносят слово: «кровь». Некоторые общие соображения убедят их, что мы не более жестоки, чем природа и время. Природа спокойно и неуклонно следует своим законам; она уничтожает человека, раз он вступает в конфликт с нею. Изменения в составе воздуха, вспышка теллурического огня, нарушенное равновесие водных масс, эпидемия, вулканическое извержение, наводнение — погребают тысячи людей. И каков же

результат? — Ничтожное, в общем едва заметное изменение физической природы, которое прошло бы почти бесследно, если бы путь его не был устлан трупами.

Я спрашиваю: почему же духовная природа не должна осуществлять свои революции так же безоговорочно, как и физическая? Почему идея не должна так же, как закон физики, уничтожать все то, что ей сопротивляется? Почему вообще событие, изменяющее весь строй моральной природы, то есть весь строй человечества, не должно осуществляться при помощи крови? Мировой дух использует в духовной области наши руки совершенно так же, как в материальной области он использует вулканы и наводнения. Не все ли равно, умирают ли люди от эпидемии или от революции?

Медленно идет вперед человечество; продолжительность каждого его шага исчисляется столетиями; каждый его шаг оставляет за собою могилы поколений. Достижение самых простых изобретений, самых элементарных познаний стоило жизни миллионам, которые погибли по пути. Не является ли вполне естественным, что в такое время, когда ход истории ускоряется, должно гибнуть больше людей?

Отсюда мы умозаключаем просто и прямо: так как все созданы при одинаковых условиях, то все равны, если не считать тех различий, которые установила сама природа. Поэтому каждый должен пользоваться всеми преимуществами, и никто не должен иметь привилегий, ни отдельное лицо, ни более или менее значительный класс людей. — Каждое слово этого положения, когда

мы проводим его на практике, убивает людей. 14 июля, 10 августа, 31 мая — таковы его знаки препинания. Потребовалось четыре года, чтобы воплотить его в жизнь, а при обычных условиях на это нужно было бы столетие, и при этом погибли бы целые поколения. Можно ли удивляться, что поток революции при каждом своем движении, при каждом новом повороте выбрасывает трупы? Мы еще не сделали из нашего принципа некоторых выводов; неужели же мы должны отступить от этого из-за сотни трупов? — Моисей, пройдя через Красное море, водил свой народ по пустыне, пока не вымерло старое, испорченное поколение, и только тогда он основал новое государство. Законодатели! У нас нет ни Красного моря, ни пустыни, но у нас есть война и гильотина.

Революция подобна дочерям Пелия: она рассекает человечество на части, чтобы омолодить его. Человечество из кровавого котла революции, как земля из нового потопа, поднимается во всей своей девственной мощи, словно оно только что сотворено.

Продолжительные, долго не смолкающие аплодисменты. Некоторые депутаты в энтузиазме вскакивают со своих мест.

Всех тайных врагов тирании, которые в Европе и на всей земле прячут меч Брута в складках своего платья, мы призываем разделить с нами это величественное мгновение.

Публика и депутаты поют «Марсельезу».

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

ЛЮКСЕМБУРГ. ЗАЛА, НАПОЛНЕННАЯ ЗАКЛЮЧЕННЫМИ

Шометт, Пейн, Мерсье, Эро де Сешель
и другие заключенные.

Шометт (*держит Пейна за рукав*). Послушайте, Пейн, я не знаю, на меня что-то нашло; у меня сегодня болит голова. Помогите мне немножко вашими рассуждениями. Мне не по себе.

Пейн. Ладно, ладно, философ Анаксагор, я поучу тебя катехизису. Бога нет, ибо: либо бог создал мир, либо нет. Если он его не создал, то мир имеет свое основание в самом себе, и, следовательно, нет бога, так как бог является богом лишь потому, что он содержит в себе основание всего сущего. Но бог не мог создать мир; в самом деле творение или так же вечно, как бог, или же оно имело начало. В последнем случае, бог должен был создать его в некоторый определенный момент, бог должен был, следовательно, прервав свой покой, длившийся вечность, вдруг стать деятельным. Он должен был, таким образом, внезапно испытать перемену, в силу чего к нему становится применимым понятие времени; между тем то и другое противоречит сущности бога. Итак, бог не мог создать мир. Но так как мы совершенно отчетливо знаем, что мир или, по меньшей мере, наше «я» существует, то,

согласно предыдущему, оно должно иметь свое основание в себе или в чем-то таком, что не есть бог; следовательно, не может быть бога, что и требовалось доказать — *quod erat demonstrandum*.

Шо метт. Ах, в самом деле. Я опять вижу просвет — благодарю вас, благодарю.

Мерсье. Позвольте, Пейн! Ну, а если творение вечно?

Пейн. Тогда оно уже более не творение. Тогда оно то же самое, что бог, или его атрибут, как говорит Спиноза; тогда бог во всем, в вас, дорогой мой, в философе Анаксагоре и во мне. Это было бы не так плохо, но вы должны согласиться со мной, что было бы очень неместно для его небесного величества, если бы господу богу приходилось испытывать вместе с нами земную боль, болеть триппером, быть заживо погребенным или по крайней мере иметь весьма неприятные представления об этом.

Мерсье. Однако должна же быть причина.

Пейн. Кто отвергает это? Но кто сказал вам, что этой причиной является то, что мы мыслим как бога, то есть как совершенство? Разве вы считаете мир совершенным?

Мерсье. Нет.

Пейн. Каким же образом хотите вы от несовершенного действия умозаключить к совершенной причине? Вольтер сделал это только потому, что он не осмеливался испортить свои отношения с господом богом, так же как и с королями. Но кто ничего не имеет, кроме рассудка, и в то же время не умеет или не смеет применять его вполне последовательно, тот жалкое ничтожество.

Мерсье. Но я задаю вопрос: может ли совершенная причина иметь совершенные действия? То есть может ли совершенство создать нечто совершенное? Ведь это же невысказано, ибо сотворенное никогда не может иметь свое основание в самом себе, а между тем это, как вы сказали, есть признак совершенства.

Шометт. Замолчите, замолчите.

Пейн. Успокойся, философ! — Вы правы; но если бог, начини он творить, непременно должен создать что-нибудь несовершенное, то не лучше ли ему вовсе отказаться от этого? Когда мы хотим во что бы то ни стало мыслить бога творящим, не представляем ли мы его себе слишком на человеческий манер? Если мы можем сказать о себе: «Мы существуем» только при условии, что мы непрерывно движемся и шевелимся, то следует ли приписывать эту жалкую необходимость также и богу? Должны ли мы, когда дух наш погружается в гармонический покой вечного и блаженного существа, тотчас же допустить, что оно шевелит пальцами и лепит из хлебного мякиша человечков? Ради чего? — От избытка любви, шепчем мы себе потихоньку. Не выдумываем ли мы все это только для того, чтобы можно было считать себя сыновьями божьими? Я предпочел бы иметь менее значительного отца; по крайней мере мне не пришлось бы упрекать его в том, что он не дал мне воспитания, соответствующего моему положению, заставив меня жить в свиных хлевах или на галерах.

Отбросьте несовершенное — только тогда вы сможете продемонстрировать бога; Спиноза это попробовал. Можно отрицать зло, но нельзя отри-



цать боль; только рассудок может доказывать бога; чувство возмущается против этого. Заметь себе, Анаксагор; вопрос, почему я страдаю, это скала атеизма. От ничтожнейшего содрогания боли, хотя бы в одном только атоме, получается в творении трещина сверху донизу.

Мерсье. А мораль?

Пейн. Сначала вы бога выводите из морали, а затем мораль из бога! И зачем нужна вам ваша мораль? Я не знаю, существует ли что-либо само по себе злое или само по себе доброе, но это нисколько не заставляет меня практически изменять свое поведение. Я поступаю сообразно моей природе; что ей соответствует, то для меня добро, и я это делаю; что ей противоречит, то для меня зло, и я этого не делаю и защищаю себя от него, если оно встречается у меня на пути. Вы можете оставаться, как говорится, добродетельными и восставать против так называемого порока, не питая тем не менее к вашим противникам никакого презрения, которое является весьма недостойным чувством.

Шометт. Правда, истинная правда!

Эро. О философ Анаксагор! Но ведь можно было бы сказать и так: чтобы бог был всем, он должен быть и своей противоположностью, то-есть одновременно совершенным и несовершенным, добрым и злым, блаженным и страдающим; результат, правда, был бы равен нулю — противоположности взаимно уничтожились бы, и мы получили бы ничто. Ну, что же, радуйся, что ты счастливо добрался до конца: ты можешь теперь совершенно спокойно молиться на мадам

Моморо, как на высшее создание природы; четки для этого она оставила тебе в паху.

Шометт. Искренне вас благодарю, господа! (Отходит.)

Пейн. Он все еще не знает, чему поверить; в конце концов он потребует, чтобы над ним совершили миропомазание, обрезание и положили его ногами к Мекке, чтобы не упустить таким образом ни одной возможной дороги.

Вводят Дантона, Лакруа, Камилл и Филиппо.

Эро (подбегает к Дантону и обнимает его). Доброго утра! Доброй ночи, должен был бы я сказать. Я не могу спросить, хорошо ли ты спал — как будешь ты спать?

Дантон. Не плохо. Надо смеясь ложиться в постель.

Мерсье (Пейну). Это дог с голубиными крыльями. Он злой гений революции; он осмелился поднять руку на свою мать, но она оказалась сильнее его.

Пейн. Его жизнь и его смерть одинаково большие несчастья.

Лакруа (Дантону). Я не думал, что они придут так скоро.

Дантон. А я знал. Меня предупредили.

Лакруа. И ты ничего не сказал?

Дантон. К чему? Смерть от удара — самая лучшая; неужели ты хотел бы предварительно болеть? К тому же, я не думал, что они на это осмелятся. (К Эро) Лучше лежать в земле, чем, бегая по ней, натирать себе мозоли. Мне приятнее иметь землю под головой, чем под ногами.

Эро. По крайней мере мы не коснемся мозолями на наших пальцах щечек прекрасной дамы — смерти.

Камилл (Дантону). Не делай никаких усилий. Как бы ты ни высунул язык, ты не слижешь им смертного пота со своего лба. О Люсьиль, какое отчаяние!

Арестованные теснятся вокруг вновь прибывших.

Дантон (Пейну). Что вы сделали для блага вашей страны, я попытался сделать для моей. Я был менее счастлив. Меня посылают на эшафот; ну, что же, я не споткнусь.

Мерсье (Дантону). Кровь двадцати двух топит тебя.

Первый арестованный (к Эро). Власть народа и власть разума — одно и то же.

Второй арестованный (Камиллу). Ну, генерал-прокурор фонаря! От твоего усовершенствования уличного освещения во Франции не стало светлее.

Третий арестованный. Оставь его, это те уста, которые произносили слово: «Пощада». (Он обнимает Камилла, некоторые арестованные следуют его примеру.)

Филиппо. Мы священники, которые молились с умирающими; мы заразились и погибаем от той же чумы.

Отдельные голоса. Удар, поражающий вас, убьет и всех нас.

Камилл. Господа, я очень сожалею, что наши усилия оказались такими бесплодными; я отправляюсь на эшафот, потому что жребий некоторых несчастных вызвал слезы на моих глазах.

КОМНАТА

Фукье-Тенвиль и Эрманн.

Фукье. Все готово?

Эрманн. Будет трудновато; если бы среди них не было Дантона, все прошло бы гладко.

Фукье. Он должен открыть бал.

Эрманн. Он напугает присяжных — это пугало революции.

Фукье. Присяжные должны иметь крепкую волю.

Эрманн. Одно средство для этого я знаю, но оно противоречит форме закона.

Фукье. Что за беда!

Эрманн. Мы не будем бросать жребия, мы выберем самых надежных.

Фукье. Пусть будет так. Надо, чтобы огонь горел пожарче. Их девятнадцать, они ловко подобраны. Четыре поддельвателя, затем несколько банкиров и чужеземцев. Пикантное блюдо. Народ любит такие. Итак, надежные люди? Кто, например?

Эрманн. Леруа. Он глух и потому ничего не слышит из того, что говорят в свою защиту обвиняемые; Дантон может драть перед ним горло сколько угодно.

Фукье. Прекрасно, дальше!

Эрманн. Вилатт и Люмьер — один сидит все время в пивной, другой постоянно спит; оба открывают рот только для того, чтобы произнести слово: «Виновен». Жирар: у него принцип, что никто, привлеченный к суду Трибунала, не должен избегнуть казни. Реноден. . .

Фукье. Как! И он? Ведь он как-то принял сторону нескольких попов.

Эрманн. Успокойся. Несколько дней тому назад он пришел ко мне; он требовал, чтобы всем осужденным перед казнью пускали кровь; это сделало бы их более вялыми; его раздражает вызывающее поведение большинства из них.

Фукье. А, очень хорошо! Итак, я полагаюсь на тебя!

Эрманн. Будь покоен, я все устрою!

КОНСЬЕРЖЕРИ. КОРИДОР

Лакруа, Дантон, Мерсье и другие арестованные прогуливаются взад и вперед.

Лакруа (*одному из арестованных*). Такая масса несчастных, и они в таком ужасном состоянии?

Арестованный. Но разве раньше, видя телеги, отвозящие людей на гильотину, вы не знали, что Париж — это бойня?

Мерсье. Не правда ли, Лакруа, равенство держит свой меч над всеми головами. Лава революции течет, гильотина республиканизует! Тут аплодирует галлерея, и римляне потирают руки; но они не слышат, что каждое из этих слов есть предсмертный хрип жертвы. Проследите-ка ваши фразы до того пункта, где они воплощаются. Оглянитесь вокруг — все это вы говорили; все это — мимический перевод ваших слов. Эти несчастные, их палачи и гильотины — ваши ожившие слова. Вы строите свои системы, как Баязет свои пирамиды, из человеческих голов.

Дантон. Ты прав. Теперь все делают из человеческого мяса. Это проклятие нашего времени. Мое тело также будет теперь пущено в ход.

Как раз год тому назад создал я Революционный трибунал. Я прошу у бога и людей за это прощения; я хотел предупредить новые сентябрьские убийства, я надеялся спасти невинных. Но это медленное убийство со всеми его формальностями еще омерзительнее и так же неотвратимо. Господа! Я надеялся помочь вам всем уйти отсюда.

Мерсье. О, отсюда мы, конечно, выйдем.

Дантон. Теперь я с вами, и одному небу известно, чем это может кончиться.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Эрманн (Дантону). Ваше имя, гражданин.

Дантон. Мое имя назовет вас революция. Жилищем моим скоро будет ничто, но имя мое войдет в пантеон истории.

Эрманн. Дантон! Конвент обвиняет вас в том, что вы участвовали в заговоре вместе с Мирабо, Дюмурье, Орлеанами, жирондистами, чужеземцами и партией Людовика XVII.

Дантон. Мой голос, так часто раздававшийся в защиту народа, без труда рассеет эту клевету. Пусть выступят мои жалкие обвинители — я покрою их позором. Пусть явятся сюда комитеты, я буду держать ответ только перед ними. Я нуждаюсь в них и как в обвинителях и как в свидетелях. Пусть они здесь покажутся.

Впрочем, какое мне дело до вашего приговора? Я уже вам сказал: скоро убежищем моим будет ничто; жизнь для меня обуза — пусть ее вырвут у меня, я сам стремлюсь к тому, чтобы стряхнуть ее.

Э р м а н н. Дантон, дерзость свойственна преступлению, спокойствие — невинности.

Д а н т о н. Личная дерзость без сомнения заслуживает порицания. Но та национальная дерзость, которую я так часто проявлял, с которой я так часто боролся за свободу, есть достойнейшая из всех добродетелей. Такова моя дерзость. И пусть она послужит здесь на пользу республике против моих ничтожных обвинителей. Могу ли я быть сдержанным, когда я вижу себя столь низко оклеветанным? — От такого революционера, как я, вы не должны ждать холодной защиты. Люди, подобные мне, неопценимы в революциях — над их челом веет гений свободы.

Знаки одобрения среди слушателей.

Меня обвиняют в том, что я участвовал в заговоре вместе с Мирабо, вместе с Дюмурье, вместе с Орлеанами, в том, что я пресмыкался у ног жалких деспотов; меня призывают держать ответ перед неумолимым, непреклонным правосудием. — Ты, жалкий Сен-Жюст, ответишь перед потомством за это поношение!

Э р м а н н. Предлагаю вам отвечать спокойно; вспомните о Марате, он относился с почтением к своим судьям.

Д а н т о н. Вы наложили руки на всю мою жизнь — она должна подняться во весь рост

и выступить против вас; я похороню вас под тяжестью каждого из моих деяний. Я не горжусь ими. Судьба направляет нашу руку — но только мощные природы избирает она своим орудием.

На Марсовом поле я объявил войну королевской власти, я разбил ее 10 августа, я убил ее 21 января и бросил королям голову короля, как перчатку, вызывающую на бой.

Шумные одобрения. Он берет в руки обвинительный акт.

Когда я бросаю взгляд на этот позорный документ — все существо мое содрогается. Кто же те, которые понудили Дантона выступить в этот достопамятный день 10 августа? Кто эти привилегированные существа, у которых он заимствовал свою энергию? Пусть выступают здесь мои обвинители. Я говорю с полной ответственностью за свои слова, когда этого требую. Я сорву маски с этих отъявленных проходимцев, я низвергну их в ничтожество, из которого они никогда уже более не выкарабкаются.

Э р м а н н (*звонит*). Разве вы не слышите звонка?

Д а н т о н. Голос человека, который защищает свою честь и жизнь, должен звучать громче твоего звонка.

В сентябре я накормил юных птенцов революции растерзанными телами аристократов. Из золота аристократов и богачей мой голос ковал оружие народа. Мой голос был ураганом, который похоронил защитников деспотизма под натиском штыков.

Громкое одобрение.

Эрманн. Дантон, ваш голос срывается — вы чрезмерно возбуждены. Вы в следующий раз закончите свою защиту. Теперь вы нуждаетесь в отдыхе. — Заседание закрыто.

Дантон. Теперь вы знаете вашего Дантона; еще несколько часов, и он уснет в объятиях славы.

ЛЮКСЕМБУРГ. ТЮРЬМА

Диллон, Лафлот, Тюремный сторож.

Диллон. Подальше, парень, твой огненный нос спит мне глаза. Ха, ха, ха!

Лафлот. Молчи уж, это твой полумесяц испускает такое сияние. Ха, ха, ха, ха!

Сторож. Ха, ха, ха! Как вы думаете, сударь, при этом сиянии могли бы вы прочесть вот это? *(Показывает ему записку.)*

Диллон. Давай сюда!

Сторож. Сударь, мой полумесяц вызвал у меня отлив.

Лафлот. Глядя на твои штаны, можно подумать, что у тебя прилив.

Сторож. Нет. *(Диллону)* Он совсем потускнел в свете вашего солнца, господин; вы должны мне что-нибудь дать, чтобы он снова запылал, если хотите читать при его свете.

Диллон. Вот тебе, парень, проваливай! *(Дает ему денег. Сторож отдает записку и уходит. Диллон читает.)* Дантон запугал Трибунал. Присяжные колебались. Слушатели роптали. Наплыв народа был чрезвычайный. Толпа теснилась вокруг дворца юстиции и стояла вплоть до мостов. Да, горсть монет и наконец твердая

рука — гм! гм! (*Он ходит взад и вперед и время от времени наливает себе из бутылки.*) Эх, кабы мне удалось очутиться на улице! Я не дал бы так легко зарезать себя. Эх, кабы очутиться на улице!

Лафлот. Или на телеге, ведь это одно и то же.

Диллон. Ты думаешь? Расстояние тут всего несколько шагов, но оно достаточно, чтобы измерить его трупами децемвиров. — Пора, наконец, порядочным людям поднять голову.

Лафлот (*про себя*). Тем лучше. Тем легче будет ее отсечь. Смелее, старик; еще несколько стаканчиков, и я снимусь с мели.

Диллон. Мерзавцы! Дуралей! Они в конце концов сами себя гильотинируют. (*Бежит взад и вперед.*)

Лафлот (*в сторону*). Можно снова полюбить жизнь по-настоящему, как своего ребенка, если сам даешь ее себе. Ведь не часто выпадает случай совершить такой кровосмесительный акт и стать самому себе отцом. Отец и сын в то же время. Не дурной Эдип!

Диллон. Народ не накормишь трупами. Пусть жены Дантона и Камилла бросают в народ ассигнаты, — это лучше, чем головы.

Лафлот (*в сторону*). Надо побережь свои глаза; они понадобятся мне, чтобы оплакать доброго генерала.

Диллон. Наложить руку на Дантона! Кто же после этого в безопасности? Страх объединит их.

Лафлот (*в сторону*). Ведь он все равно пропал. Что же за беда, если я наступлю на его труп, чтобы выкарабкаться из могилы?

Диллон. Только бы очутиться на улице! Я найду достаточно людей: старых солдат, жирондистов, бывших дворян; мы разгромим тюрьмы, нам надо сговориться с заключенными.

Лафлот (*в сторону*). Конечно, это немножко пахнет подлостью, ну, так что же? Мне хочется попробовать и этого; до сих пор я был слишком односторонен. У меня будут угрызения совести, это все-таки развлечение; нюхать свою собственную вонь вовсе уж не так отвратительно. — Перспектива гильотины мне наскучила; так долго дожидаться этой штуки! Мысленно я уже двадцать раз испробовал ее. В ней уже не осталось для меня ничего пикантного; все стало таким пошлым и обыденным.

Диллон. Надо переслать записку жене Дантона.

Лафлот (*в сторону*). И потом — я не боюсь смерти, но я боюсь боли. А ведь это может быть и больно — как знать? Говорят, правда, что это лишь один миг; но боль имеет более тонкую меру времени, она разлагает на части даже терцию. Нет! Боль — это единственный грех, страдание — это единственный порок; я хочу остаться добродетельным.

Диллон. Послушай, Лафлот, куда ушел этот парень? У меня есть деньги, дело пойдет на лад. Мы должны ковать железо, пока горячо; мой план готов.

Лафлот. Сейчас, сейчас! Я знаком с приятелем. Я потолкую с ним. Ты можешь на меня рассчитывать, генерал, мы выберемся из этой дыры. (*Про себя*) Чтобы попасть в дру-

гую: я в самую широкую — в мир, он в самую узкую — в могилу. (Уходит.)

КОМИТЕТ ОБЩЕСТВЕННОГО СПАСЕНИЯ

Сен-Жюст, Баррер, Колло д'Эрбуа,
Бильо-Варен.

Баррер. Что пишет Фукье?

Сен-Жюст. Второй допрос окончен. Арестованные требуют присутствия некоторых членов Конвента и Комитета общественного спасения; они апеллируют к народу, жалуясь, что им отказывают в вызове свидетелей. Возбуждение царит неопишное. Дантон пародировал Юпитера и потрясал гривой.

Колло. Тем легче будет Самсону ухватить его за нее.

Баррер. Нам не следует показываться. Торговки рыбою и тряпичники могут найти нас недостаточно импозантными.

Бильо. Народ инстинктивно любит, чтобы его третировали хотя бы взглядом; ему нравятся дерзкие физиономии. Они хуже дворянских гербов, в них утонченный аристократизм презрения к людям. Каждый, кому неприятно, чтобы на него смотрели сверху вниз, должен помогать нам сшибать такие головы.

Баррер. Он как Зигфрид Роговая Кожа: кровь убитых в сентябре сделала его неуязвимым. Что говорит Робеспьер?

Сен-Жюст. Он делает вид, что мог бы кое-что сказать. — Присяжные должны объявить,

что дело достаточно выяснено, и прекратить судебные прения.

Баррер. Невозможно. Этого никак нельзя.

Сен-Жюст. Их нужно уничтожить во что бы то ни стало, хотя бы пришлось задушить их собственными руками. Дерзайте! Дантон не даром учил нас этому слову. Революция не споткнется об их трупы; но если Дантон останется в живых, то он вцепится в ее одежды, и, кажется, он способен изнасиловать свободу.

Сен-Жюста вызывают из комнаты. Входит

Тюремщик.

Тюремщик. В тюрьме Сен-Пеляжи есть заключенные, лежащие при смерти — они требуют врача.

Бильо. Не нужно. Меньше работы для палача.

Тюремщик. Среди них есть беременные женщины.

Бильо. Тем лучше — для их детей не понадобится гробов.

Баррер. Чахотка, уносящая аристократа, берегает Революционному трибуналу заседание. Всякое лекарство было бы здесь контрреволюционно.

Колло (берет бумагу). Ходатайство; подписано женщиной.

Баррер. Вероятно, одна из тех, которые вынуждены делать выбор между доской гильотины и постелью якобинца. Одна из тех, которые, потеряв свою честь, умирают, как Лукреция, но только немножко позднее, чем это сделала римлянка: от родов, от рака или от старческой

слабости. — А ведь не плохо выгнать эдакого Тарквиния из добродетельной республики молодой женщины.

К о л л о. Для этого она слишком стара. Мадам требует смерти и выражается так: «Тюрьма давит меня, как крышка гроба», хотя сидит она всего четыре недели. Ответ не представляет затруднений. (Он пишет и читает.) «Гражданка, ты еще недостаточно долго желаешь смерти».

Тюремщик уходит.

Б а р р е р. Хорошо сказано! Но, Колло, нехорошо то, что гильотина начинает смеяться; люди могут потерять страх перед нею; не следует обращаться с ней так фамильярно.

С е н - Ж ю с т возвращается.

С е н - Ж ю с т. Я только что получил донос. Заговор в тюрьмах: молодой человек, по имени Лафлот, все раскрыл. Он сидел в одной комнате с Диллоном. Диллон был пьян и разболтал.

Б а р р е р. Он перерезал себе бутылкой горло; это нередко уже случалось.

С е н - Ж ю с т. Жены Дантона и Камилла должны были раздавать деньги народу. Предполагалось устроить побег Диллона, хотели освободить арестованных, разогнать Конвент.

Б а р р е р. Ну, это сказки.

С е н - Ж ю с т. Эти сказки мы расскажем им на сон грядущий. Показания у меня в руках; сюда присоединяется дерзкое поведение обвиняемых, ропот народа, замешательство присяжных — я сделаю доклад.

Баррер. Да, иди, Сен-Жюст, иди, пряди свои периоды, где каждая запятая — удар сабли, каждая точка — отрубленная голова.

Сен-Жюст. Конвент должен декретировать чтобы Трибунал продолжал процесс без перерыва и лишал слова каждого обвиняемого, который не окажет надлежащего уважения суду или позволит себе какое-либо выступление, нарушающее порядок.

Баррер. У тебя хорошее революционное чутье. Это звучит совсем умеренно и все же — очень действительное средство. Они не могут молчать — Дантон должен орать.

Сен-Жюст. Я рассчитываю на вашу поддержку. В Конвенте есть люди, которые больны тою же болезнью, как и Дантон, и опасаются того же самого лечения. Они опять набрались смелости, они будут кричать о нарушении форм...

Баррер (*прерывая его*). А я им скажу: в Риме консул, открывший заговор Катилины и покаравший преступников смертью на месте, был обвинен в нарушении формальностей — но кто были его обвинители?

Колло (*с пафосом*). Иди, Сен-Жюст! Лава революции течет, свобода задушит в своих объятиях тех слабосильных, которые пытаются оплодотворить ее мощное лоно; величие народа явит себя им, как Юпитер Семеле, при раскатах грома и блеске молнии и превратит их в пепел. Иди, Сен-Жюст! Мы поможем тебе обрушить громовый удар на головы трусов!

Сен-Жюст уходит.

Баррер. Ты слышал, что он сказал о «лечении»? Они в конце концов сделают из гильотины специфическое лекарство от заразы любо-страстия. Они борются не с умеренными, они борются с развратом.

Бильо. До сих пор дороги наши совпадали.

Баррер. Робеспьер хочет превратить революцию в аудиторию для проповеди морали и пользоваться гильотиной как кафедрой.

Бильо. Или как амвоном.

Колло. Но ему придется лежать на нем, а не стоять.

Баррер. За этим дело не станет. Для того, чтобы так называемые негодяи были перевешаны так называемыми порядочными людьми, мир должен перевернуться вверх ногами.

Колло (*Барреру*). Когда ты вернешься в Клиши?

Баррер. Когда меня перестанет посещать врач.

Колло. Не правда ли, над этим местом стоит комета, которая своими опаляющими лучами совершенно иссушила твой спинной мозг?

Бильо. Скоро изящные пальчики очаровательной Демали вытащат его спинной мозг из футляра, и он будет болтаться у него на спине как косичка.

Баррер (*пожимая плечами*). Тсс! Добродетельный ничего не должен об этом знать.

Бильо. Он импотентный масон.

Бильо и Колло уходят.

Баррер (*один*). *Чудовище!* «Ты еще недостаточно долго желала смерти!» Язык должен

был бы отсохнуть у человека, который решился вымолвить такие слова.

Ну, а я? В сентябре, когда толпа врывалась в тюрьмы, один заключенный схватил нож, присоединился к убийцам и вонзил его в грудь священнику; это спасло его! Что можно сказать против этого? Присоединяюсь ли я к толпе убийц или заседаю в Комитете общественного спасения, действую ли я ножом гильотины или карманным ножом, не все ли равно? Это тот же самый случай, но только при несколько более сложных обстоятельствах; сущность дела совершенно одинакова. Но если ему позволительно было убить одного, то почему не двух или трех, или еще больше? Где же тогда предел? Это как в софизме о зернах ячменя: образуют ли кучу два зерна, три, четыре? Сколько же, наконец? Иди сюда, моя совесть, иди сюда, моя курочка; иди, цып, цып, цып — тут много корма!

Однако, разве я был в положении арестованного? Я был подозрительным, а это сводится к тому же самому; смерть была мне обеспечена. *(Уходит.)*

ТЮРЬМА КОНСЬЕРЖЕРИ

Лакруа, Дантон, Филиппо, Камилл.

Лакруа. Ты здорово гремел, Дантон; если бы ты немножко раньше принялся так защищать свою жизнь, дело бы теперь обстояло иначе. Не правда ли, не очень-то приятно, когда смерть подходит так бесстыдно близко, обдаёт тебя вонючим дыханием из своей глотки и становится все назойливее и назойливее?

К а м и л л. Если бы еще она нас изнасиловала и вырвала свою жертву в жаркой схватке и в борьбе! Но умирать так, со всеми формальностями, как будто женишься на старухе: подписан брачный контракт, приложили руку свидетели, провозглашено «аминь», и вот, наконец, приподнимается одеяло, и она медленно вползает на постель со своими холодными членами!

Д а н т о н. Если бы это была борьба! Если бы противники вцеплялись друг в друга руками и зубами! Но у меня такое чувство, точно я попал в мельницу, где мои члены медленно и систематически размалываются холодной физической силой. Быть убитым так механически!

К а м и л л. И потом лежать одному, холодному, неподвижному, во влажных испарениях гниения — кто знает, быть может, смерть лишь медленно и в мучениях исторгает жизнь из тела? Кто знает, быть может, нам предстоит гнить, сохраняя сознание?

Ф и л и п п о. Успокойтесь, мои друзья! Мы точно осенние цветы, которые дают семена только по прошествии зимы. От цветов мы отличаемся только тем, что после пересадки слегка воняем. Но разве это так худо?

Д а н т о н. Утешительная перспектива! Из одной навозной кучи в другую. Не правда ли, божественная теория классов? Из первого класса во второй, из второго в третий и так далее? Мне надоели школьные скамьи, у меня от них мозоли на седалище, как у обезьяны.

Ф и л и п п о. Чего же ты хочешь?

Дантон. Покой.

Филиппо. Покой есть бог.

Дантон. Покой ничто. Попробуйте погрузиться во что-нибудь более покойное, чем ничто; и если высший покой есть бог, то не значит ли это, что ничто — бог? Но я атеист. Проклятая истина: нечто не может превратиться в ничто! А я нечто — в этом все горе! Творение слишком широко, оно раздалось во все стороны, оно ничего не оставило пустого, везде давка и толкотня. Ничто убило себя, творение есть его рана, мы капли его крови, мир — могила, в которой оно гниет. Это звучит безумно, но все же в этом есть какая-то правда.

Камилл. Мир — это вечный жид; ничто — это смерть, но она невозможна. О, почему не могу умереть, не могу умереть! Как поется в песне.

Дантон. Мы все — погребенные заживо, и, как у королей, у нас три или четыре гроба, вставленных один в другой: небо, дом, платье, рубаха. Мы пятьдесят лет скребем крышку гроба — ах, если бы можно было поверить в уничтожение! Это было бы счастьем. — Смерть не внушает мне надежды; это лишь более простое, жизнь — более сложное, более организованное гниение, в этом вся разница! — Однако я привык как раз к этому виду гниения; черт его знает, удастся ли мне сродниться с иным.

О Жюли! Если бы я ушел один. Если бы она оставила меня одного! Ну, пусть я совсем распадусь, растворюсь целиком. Пусть я превращусь в горсть истерзанного праха, каждый

отдельный мой атом может найти покой только у нее. — Я не могу умереть, нет, я не могу умереть. Мы должны кричать; пусть они силой вырывают каждую каплю жизни из наших членов.

КОМНАТА

Фукье, Амар, Вулан.

Фукье. Я уже не знаю теперь, что мне ответить; они требуют назначения комиссии.

Амар. Негодяи у нас в руках, — смотри, вот то, что тебе надо. *(Передает Фукье бумагу.)*

Вулан. Это их поуспокоит.

Фукье. В самом деле, это нам очень на руку.

Амар. Постарайся же как можно скорее свалить с нашей шеи это дело.

РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ

Дантон. Республика в опасности, а он не имеет инструкции! Мы апеллируем к народу; мой голос еще достаточно силен, чтобы произнести надгробное слово децемвирам. — Я повторяю, мы требуем назначения комиссии; мы хотим сделать важное сообщение, я отступаю в цитадель разума, буду громить оттуда моих врагов пушкой истины и превращу их в прах. *(Знаки одобрения.)*

Входят Фукье, Амар и Вулан.

Фукье. Спокойствие, именем республики! Уважение к законам! Конвент постановил: принимая во внимание, что в тюрьмах обнаружена подготовка к мятежу, принимая во внимание, что жены Дантона и Камилла намеревались раздавать народу деньги и что замышлялось выступление генерала Диллона, который должен был стать во главе бунтовщиков, чтобы освободить обвиняемых, принимая, наконец, во внимание, что сами обвиняемые пытались вызвать беспорядки и оскорбить Трибунал, Трибунал уполномочивается продолжать расследование дела без перерыва и лишать слова всякого обвиняемого, который не окажет надлежащего уважения закону.

Дантон. Я спрашиваю присутствующих — нанесли ли мы оскорбление Трибуналу, народу или Национальному конвенту?

Много голосов. Нет, нет!

Камилл. Презренные, они хотят умертвить мою Люсиль!

Дантон. Настанет день, когда истина будет признана — я вижу, как огромное несчастье нависает над Францией. Это — диктатура; она сбросила покрывало, она смело подняла голову, она шагает через наши трупы. (*Показывая на Амара и Вулана*) Смотрите на этих трусливых убийц! Это вороны Комитета общественного спасения! Я обвиняю Робеспьера, Сен-Жюста и их палачей в государственной измене. Они хотят утопить республику в крови. Телеги гильотины укатывают дорогу, по которой войска чужеземцев проникнут в сердце нашего отечества. Доколе же шествие свободы будет оставлять следы в виде

могил? Вы хотите хлеба, а вам бросают головы, вы жаждете, а вас заставляют слизывать кровь со ступенек гильотины!

Сильное возбуждение среди слушателей, крики одобрения, много голосов: «Да здравствует Дантон! Долой децемвиров!» — Арестованных уводят силой.

ПЛОЩАДЬ ПЕРЕД ДВОРЦОМ ЮСТИЦИИ

Толпа народа.

Несколько голосов. Долой децемвиров! Да здравствует Дантон!

Первый гражданин. Да, это правда, головы вместо хлеба, кровь вместо вина!

Несколько женщин. Гильотина — скверная мельница, и Самсон скверный булочник; мы хотим хлеба, хлеба!

Второй гражданин. И Лафайет был с вами в Версале, и, однако, он все-таки оказался предателем.

Первый гражданин. Дантон был с нами 10 августа, Дантон был с нами в сентябре — а где были тогда те люди, которые его обвинили?

Второй гражданин. И Лафайет был с вами в Версале, и, однако, он все-таки оказался предателем.

Первый гражданин. Кто говорит, что Дантон предатель?

Второй гражданин. Робеспьер.

Первый гражданин. Робеспьер сам предатель.

Второй гражданин. Кто говорит это?

Первый гражданин. Дантон.

Второй гражданин. У Дантона хорошие платья, у Дантона красивый дом, у Дантона красивая жена, он купается в бургундском, он ест дичь с серебряных тарелок и спит с вашими женами и дочерьми, когда напьется пьян. — Дантон был так же беден, как и вы — откуда же у него все это? *Veto* купило ему это, чтобы он спас корону. Герцог Орлеанский дал ему это, чтобы он украл ему корону, чужеземцы дали ему это, чтобы он всех нас предал. — А что есть у Робеспьера? О добродетельный Робеспьер! Вы все это знаете.

Все. Да здравствует Робеспьер! Долой Дантона! Долой предателя!

ДЕЙСТВИЕ ЧЕТВЕРТОЕ

КОМНАТА

Жюли, мальчик.

Жюли. Все кончено! Они дрожали перед ним. Они убивают его из страха. Ступай! Я видела его в последний раз; скажи ему, что так я больше не могу его видеть. (*Передает ему локон.*) На, отнеси ему это и скажи, что он уйдет не один — он уже поймет меня. А потом скорее назад! В твоих глазах хочу я увидеть отражение его взгляда.

УЛИЦА

Дюма, гражданин

Гражданин. Как можно было после такого допроса приговорить к смерти столько невинных?

Дюма. Это было действительно необычно; но революционеры имеют чутье, которого не хватает прочим людям — это чутье их не обманывает.

Гражданин. Это чутье тигра. У тебя есть жена?

Дюма. Скоро мне придется сказать: у меня была жена.

Гражданин. Так это правда?

Дюма. Революционный трибунал провозгласит наш развод; гильотина отлучит нас от супружеского ложа и супружеской трапезы.

Гражданин. Ты чудовище!

Дюма. Глупец! Ты восхищаешься Брутом?

Гражданин. От всей души.

Дюма. Так неужели же для того, чтобы принести в жертву отечеству самое дорогое, надо непременно быть римским консулом и носить тогу, дабы в подходящий момент закрыть ею голову? Я буду вытирать себе глаза руками моего красного фрака; вот и вся разнища.

Гражданин. Это ужасно!

Дюма. Проваливай, ты меня не понимаешь!

КОНСЬЕРЖЕРИ

Лакруа и Эро на одной постели, **Дантон** и **Камилл** на другой

Лакруа. Как отрастают тут волосы и ногти. просто безобразие!

Эро. Будьте немножко поосторожнее, когда чихаете — вы забрызгали мне все лицо!

Лакруа. А вы, добрейший, поосторожнее с моими ногами — у меня мозоли.

Эро. Вы страдаете также от паразитов?

Лакруа. Ах, хотел бы я избавиться от всяких червей.

Эро. Ну, приятного сна! Надо нам как-нибудь приспособиться друг к другу, места у нас маловато. — Не скребите меня во сне ногтями. Так! — Не хватайтесь так за саван. Там холодно, под ним!

Дантон. Да, Камилл, завтра мы — сношенные сапоги, которые кинут нищенке-земле.

Камилл. Бычья кожа, из которой, по Платону, ангелы выкраивали себе сандалии, чтобы ходить в них по земле. Да, к этому идет... Моя Люсиль!

Дантон. Успокойся, мой мальчик!

Камилл. Как я могу? Подумай, Дантон, как я могу? Неужели они решатся наложить на нее руки. Свет красоты, изливающийся из ее прекрасного тела, неугасим. Сама земля не осмелится засыпать ее; она станет над нею сводом, могильные испарения заблестят росой на ее ресницах, и, как цветы, вырастут вокруг нее везде кристаллы; светлые ручейки будут покоить ее сон своим журчанием.

Дантон. Спи, мой мальчик, спи!

Камилл. Послушай, Дантон. Говоря между нами, это отвратительно, что надо умирать. К чему? Я хочу украсть у жизни последние взгляды ее прелестных очей. Я не сомкну глаз.

Дантон. Они и без того будут у тебя открыты. Самсон никому не закрывает глаз. Сон милосерднее. Спи, мой мальчик, спи!

Камилл. Люсиль, твои поцелуи рождают фантазии на моих губах; каждый поцелуй — сновидение; мои глаза смыкаются и крепко держат его.

Дантон. Неужели не оставят меня в покое эти часы? С каждым их тиканьем стены все теснее сжимаются вокруг меня, они стали тесны, как гроб. Как-то в детстве я читал такой рассказ, — и волосы встали у меня дыбом.

Да, в детстве! Стоило кормить и поить меня, чтобы я стал таким большим. Лишняя работа могильщикам!

Мне кажется, что я уже начинаю разлагаться. Милое мое тело. Я зажму нос, буду воображать, что ты женщина, от которой воняет потом после танцев, и буду говорить тебе любезности. Так уже не мало времени провели мы с тобой вместе.

Завтра ты — разбитая скрипка; песенка твоя спета. Завтра ты — пустая бутылка, твое вино выпито, но я не чувствую опьянения, трезвым ложусь я в постель. Счастливы те люди, которые еще в состоянии напиться. Завтра ты — изношенные штаны; тебя швырнули в сундук, и моль будет пожирать тебя, — можешь вонять сколько угодно.

Нет, это не помогает! Совершенно верно, это отвратительно, что надо умирать. Смерть обезьянит рождение; умирая, мы так же беспомощны и голы, как новорожденные дети. Мы получаем, правда, саван вместо пеленок — ну, что же, в могиле мы можем так же визжать, как и в колыбели.

Камилл! Он спит. (*Наклоняется к нему.*) Сновидение играет на его ресницах. Я не хочу стирать с его глаз золотую росу сна. (*Он встает и подходит к окну.*) Я уйду не один: благодарю тебя, Жюли! Но все-таки я хотел бы умереть иначе, совсем без усилий, как скатывается с неба звезда, как сам собою замирает звук, до смерти зацеловывает себя своими собственными губами, как луч света хоронит себя в ясном потоке.

Ночь рассыпала звезды, как сверкающие слезы; в большом горе должны были быть те глаза, которые их выронили.

К а м и л л. О! (Он приподнимается и схватывается за одеяло.)

Д а н т о н. Что с тобою, Камилл?

К а м и л л. О, о!

Д а н т о н (встряхивает его). Ты хочешь стащить с себя одеяло?

К а м и л л. Ах, ты, ты — удержи меня! Скажи: ты!

Д а н т о н. Ты дрожишь всеми членами, пот выступил у тебя на лбу.

К а м и л л. Это ты, это я — так! Это моя рука! Да, теперь я прихожу в себя. О Дантон, это было ужасно!

Д а н т о н. Что?

К а м и л л. Я лежал тут, наполовину спал, наполовину бодрствовал. Вдруг исчез потолок, и луна стала спускаться сюда — ближе, ближе, совсем близко, так что рука моя касалась ее. Небесный свод со всеми своими светилами осел на меня. Я ударялся в него, я наталкивался на звезды, я стучался головой, как утопающий подо льдом. Это было ужасно, Дантон!

Д а н т о н. Лампа бросает круглый ответ на потолок — его ты и видел.

К а м и л л. Да, я теперь вижу, надо очень немного, чтобы потерять рассудок. Безумие вцепилось мне в волоса. (Он встает.) Больше я не буду спать, я не хочу сойти с ума. (Он берет книгу.)

Д а н т о н. Что это ты взял?

К а м и л л. «Ночные размышления».

Дантон. Разве тебе пришла охота дважды умереть? Я возьму «Девственницу». Я хочу покинуть жизнь не как молельню, а как постель сестры милосердия.

Жизнь — публичная женщина, она развратничает со всеми.

НОЧЬЮ ПЕРЕД КОНСЕРЖЕРИ

Привратник, два извозчика с телегами,
женщины.

Привратник. Кто звал вас сюда?

Первый извозчик. Никто меня никогда так не называл. «Сюда» — странное имя.

Привратник. Дурак! Кто дал тебе приказание приехать?

Первый извозчик. Никто еще мне ничего не давал — мне дают всего десять су с головы.

Второй извозчик. Негодяй хочет отбить у меня хлеб.

Первый извозчик. А что ты называешь своим хлебом? (Указывая на окна заключенных.) Это корм для червей.

Второй извозчик. Мои дети тоже червячки и хотят иметь здесь свою долю. Да, плохо мы промышляем. А все-таки мы самые лучшие извозчики.

Первый извозчик. Как это так?

Второй извозчик. А кто, по-твоему, самый лучший извозчик?

Первый извозчик. Ну, тот, кто может отвезти дальше всех и скорее всех.

Второй извозчик. Осел! Кто же может отвезти дальше, чем на тот свет, и притом быстрее, чем в четверть часа? А ведь отсюда до Площади Революции ровно четверть часа езды.

Привратник. Поворачивайтесь вы, бездельники! Ближе к воротам, — посторонитесь, девчонки.

Первый извозчик. Зачем сторониться! Кто же будет объезжать девчонку? Всякий норовит угодить ей прямо в середину.

Второй извозчик. Да, брат, туда-то ты проберешься с телегой и с лошадьёю, дорога хорошо накатана; но когда захочешь назад, придется выдержать карантин. (Они подъезжают.)

Второй извозчик (женщинам). Чего вы тут глазете?

Женщина. Мы поджидаем наших бывших заказчиков.

Второй извозчик. Уж не думаете ли вы, что моя телега — бардак? Это очень благопристойная телега. Она возила ко столу короля и всех высокопоставленных особ Парижа.

Люсиль (входит. Садится на камень под окнами заключенных). Камилл, Камилл! (Камилл появляется у окна.) Послушай, Камилл, ты сместишь меня и этой длинной каменной одеждой и железной маской на лице; неужели ты не можешь наклониться? Где твои руки? Я приманю тебя, дорогая птичка. (Поет)

Две звездочки в небе сияют,
Сияют ярче луны, —
Одна под окошком милого,
Другая под дверью его.

Иди, иди, мой друг. Потихоньку, вверх по лестнице, все они спят. Я долго ждала тебя при свете месяца, но ты не можешь пролезть в дверь, это твоя невыносимая одежда. Это слишком злая шутка, перестань, прошу тебя! Ты не трогаешься с места — почему ты ничего не говоришь? Ты меня пугаешь.

Послушай, люди говорят, что ты должен умереть, и делают при этом такие серьезные лица. Умереть! Меня смешат их лица. Умереть! Что это за слово? Скажи мне, Камилл? Умереть! Я хочу подумать. Да, да, это так. Я побегу за ним; иди, иди, милый друг, помоги мне поймать, иди, иди! (*Убегает.*)

К а м и л л (*кричит*). Люсиль, Люсиль!

КОНСЕРЖЕРИ

Дантон у окна, выходящего в соседнюю комнату,
Камилл, Филиппо, Лакруа, Эро.

Дантон. Теперь ты спокоен, Фабр?

Голос (*изнутри*). Я при смерти.

Дантон. Знаешь, что мы будем теперь делать?

Голос. Ну?

Дантон. То, что ты делал всю свою жизнь — *des vers!* *

Камилл (*про себя*). Безумие глядело из ее глаз. Не мало уже людей сошло с ума, такова жизнь. Что можем мы с этим поделаться? Мы умываем руки. Да так оно и лучше.

* Игра слов: *vers* по-французски означает и „стихи“ и „черви“.

Дантон. Я оставляю все в страшном сумбуре. Никто не понимает, как надо управлять. Дело, быть может, еще пошло бы, если бы я мог завещать Робеспьеру моих девок и Кутону мои икры.

Лакруа. Мы сделали бы свободу публичной женщиной.

Дантон. Ну, что же? Свобода и публичная женщина — самые космополитические вещи в мире. Теперь она будет благопристойно развратничать в супружеской постели адвоката из Арраса. Но я думаю, что она сыграет по отношению к нему роль Клитемнестры; я не дал бы ему и шестимесячного срока, я поташу его за собой.

Камилла (*про себя*). Небо, пошли ей навязчивую идею, которая бы дала ей отраду. Обычные навязчивые идеи, называемые здравым рассудком, невыносимо скучны. Самым счастливым был бы тот человек, который мог бы вообразить, что он бог-отец, бог-сын и бог-дух святой.

Лакруа. Ослы будут кричать «Да здравствует республика!», когда мы будем проходить мимо них.

Дантон. Что за беда? Пусть потоп революции выкинет наши трупы, куда ему угодно; нашими костями, когда их отроют, все еще можно будет разбивать черепа королей.

Эро. Да, если отыщется Самсон, который сумел бы действовать нашей челюстью.

Дантон. Они Каиновы братья.

Лакруа. За два дня до ареста Камилла Робеспьер был с ним дружелюбнее, чем когда

бы то ни было; может ли быть более убедительное доказательство, что это Нерон? Не правда ли, Камилл?

К а м и л л. Что мне за дело! (*Про себя*) Какое очарование придала она безумию. Почему я должен теперь уйти? Мы смеялись бы вместе, я лелеял бы ее и целовал.

Д а н т о н. Когда история раскроет свои недра, испарения наших трупов все еще будут удушать деспотизм.

Э р о. Достаточно мы смердили при жизни. Все это фразы для потомства, не правда ли, Дантон? Нам от них, в сущности, ни тепло, ни холодно.

К а м и л л. Он делает такое лицо, как будто должен сейчас окаменеть, чтобы потомство могло впоследствии выкопать его античную статую.

Стоит ли труда сжимать губы сердечком, румянить щеки и говорить с приятною интонацией; надо бы нам сбросить маски, и мы увидели бы тогда, как в комнате с зеркальными стенами, одного и того же первобытного, бесчисленное число раз отраженного, неистребимого болвана, не больше не меньше. Различия не так велики, — все мы мерзавцы и ангелы, дураки и гении, и притом все это вместе; для этих четырех вещей достаточно места в одном и том же теле, они не так объемисты, как воображают. Спать, переваривать пищу, рожать детей — этим занимаются все; все прочее лишь вариации в различных тональностях на ту же тему. Люди поднимаются на цыпочки, корчат гримасы, разводят церемонии друг с другом. Все мы отравнились за тем же самым столом, у всех у нас

одинаковая резь в животе; что же вы закрываете себе лица салфетками? Кричите и визжите, как вам хочется. И не делайте таких добродетельных, таких остроумных, героических и таких гениальных гримас, — ведь мы же знаем друг друга, к чему лишний труд?

Э р о. Да, Камилл! Давай сядем рядышком и будем кричать; нет ничего глупее, как сжимать губы, когда надрываешься от боли. Греки и боги кричали, римляне и стойки корчили героические рожи.

Д а н т о н. И те и другие были эпикурейцами, те и другие достигали очень недурного самочувствия. Это вовсе не так плохо задрапироваться в тогу и смотреть, отбрасывает ли она достаточно длинную тень. Чего нам терзаться? Прикроем ли мы себе стыдное место лаврами, розами или виноградными листьями, или же совсем не будем прикрывать его и предоставим лизать собакам, не все ли равно?

Ф и л и п п о. Друзья мои, не очень высоко надо подняться над землей, для того, чтобы перестало рябить в глазах от всей ее мелочной сутолоки, и тогда в вашем поле зрения останутся только величественные, божественные линии. Есть ухо, для которого оглушающие нас крики и вопли о помощи — поток чистой гармонии.

Д а н т о н. Но мы — бедные музыканты, и наши тела инструменты. Неужели же отвратительные звуки, извлекаемые из нас, существуют только для того, чтобы, поднимаясь все выше и выше и постепенно затихая, замереть сладостным вздохом в ушах небожителей?

Э р о. Неужели мы — те поросята, которых перед княжеским обедом засекают розгами на смерть, чтобы мясо их стало вкуснее?

Д а н т о н. Или мы — дети, которых жарят в раскаленных объятиях мирского Молоха и щекочут лучами света для того, чтобы боги радовались смеху.

К а м и л л. А эфир с его золотыми звездами! Не есть ли это блюдо с золотыми рыбками на столе блаженных богов? Блаженные боги вечно смеются, рыбки вечно умирают и вечно радуют блаженных богов игрою красок при предсмертных содроганиях?

Д а н т о н. Мир — это хаос. Ничто — вот гот вселенский бог, который должен из него родиться.

Входит привратник.

П р и в р а т н и к. Господа, можете отправляться; экипажи поданы.

Ф и л и п п о. Доброй ночи, друзья мои. Спокойно натянем на себя огромное одеяло, под которым охлаждаются все сердца, закрываются все глаза. *(Обнимают друг друга.)*

Э р о *(берет за руку Камилла)*. Радуйся, Камилл, эта ночь будет прекрасна. Облака висят на тихом вечернем небе, как отгоревший Олимп, и на нем бледнеют и гаснут фигуры богов. *(Уходят.)*

КОМНАТА

Ж ю л и. Народ бежал по улицам. Теперь все тихо. Ни одной минуты не заставляю я тебя

ждать. (*Берет в руки пузырьки.*) Сюда, дорогой пастырь; твоё «аминь» напутствует нас перед вечным сном. (*Подходит к окну.*) Как прекрасно прощание; мне осталось только закрыть за собой дверь. (*Пьёт из пузырька.*)

Я хотела бы всегда так стоять. — Солнце зашло; черты земли были так четки в его свете, а теперь лицо её тихо и серьёзно, как у умирающей. Как красиво играет вечерний свет у неё на лбу и щеках. — Все бледнее и бледнее становится она и, как безжизненное тело, уносится потоком эфира. Неужели же нет такой руки, которая схватила бы её за золотые кудри, вытащила из потока и похоронила?

Я уйду тихо, я не поцелую её, чтобы мой вздох, мой стон не пробудил её от дремоты. Спи, спи! (*Умирает.*)

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Телеги подъехали и остановились перед гильотиной. Толпа мужчин и женщин поёт и танцует «Карманьолу»
Осужденные затягивают «Марсельезу».

Женщина с детьми. Посторонитесь, посторонитесь! Мои дети режут, они голодны. Надо дать им посмотреть, чтобы они затихли. Посторонитесь!

Одна женщина. Эй, Дантон! Теперь ты можешь распутничать с червями!

Другая женщина. Эро! Из твоих красивых волос я сделаю себе парик.

Эро. У меня нехватит растительности, чтобы одеть такой голый венерин холм.

К а м и л л. Проклятые ведьмы! Погодите, вы еще будете кричать: горы, падите на нас.

О д н а ж е н щ и н а. А на вас уже упала гора, или, лучше сказать, вы свалились с горы.

Д а н т о н (Камиллу). Успокойся, мой мальчик, ты охрип от крика.

К а м и л л (дает извозчику деньги). На, старый Харон, твоя телега хороший поднос! — Господа, я хочу, чтобы меня сервировали первым. Это будет классический пир; мы будем лежать на наших местах и дадим немножко нашей крови, чтобы совершить возлияния богам. Прощай, Дантон! (Он всходит на кровавый помост, остальные осужденные следуют за ним подиночке. Дантон всходит последним.)

Л а к р у а (нарсду). Нас вы убиваете в тот день, когда вы потеряли рассудок; ее — вы убьете тогда, когда рассудок к вам вернется.

Несколько голосов. Это мы уже слышали; как скучно!

Л а к р у а. Тираны сломают себе шею на наших могилах.

Э р о (Дантону). Он считает свой труп удобрением свободы.

Ф и л и п п о (на эшафоте). Я прощаю вас; я желал бы, чтобы ваш смертный час не был еще более горьким, чем мой.

Э р о. Можно ли было думать! Ему остается схватить себя за грудь, чтобы показать людям, стоящим там внизу, что у него чистое белье.

Ф а б р. Прощай, Дантон! Я умираю вдвойне.

Д а н т о н. Прощай, друг мой! Гильотина самый лучший врач.

Эро (хочет обнять Дантона). Ах, Дантон, я не могу больше выдать из себя даже шутки! Пора!

Палач отталкивает его.

Дантон (палачу). Ты хочешь быть более жестоким, чем сама смерть? Ведь ты не можешь помешать тому, чтобы наши головы поцеловались на дне корзины.

УЛИЦА

Люсиль. И все же в этом есть как будто что-то серьезное. Надо подумать. Я начинаю как будто что-то понимать.

Умереть — умереть! — Ведь все должно жить. Все, этот маленький комар, птичка — почему же не он? Поток жизни должен был бы остановиться, если из него пролита хоть одна капля. Земля должна была бы получить рану от такого удара.

Все движется, часы идут, колокола звучат, люди бегут, вода течет, все стремится дальше и дальше, пока наконец... Нет! Этого не должно случиться, нет, я сяду на землю и закричу так, чтобы все в испуге остановилось; все замрет, ничто уже больше не будет двигаться. (Она садится на землю, закрывает глаза и испускает крик. После некоторого промежутка поднимается.) Это не помогает, все как прежде: дома, улица, ветер дует, облака бегут. Приходится нам терпеть.

Несколько женщин идут по улице.

Первая женщина. Красивый мужчина
Эро!

Вторая женщина. На празднике конституции он стоял у триумфальной арки; я тогда еще подумала, — вот этот недурно выглядел бы на гильотине, подумала я. Это было точно предчувствие.

Третья женщина. Да, надо видеть людей при всех обстоятельствах; это очень хорошо, что смерть сделали такой публичной.

Они проходят.

Люсиль. Мой Камилл, где же мне теперь искать тебя?

ПЛОЩАДЬ РЕВОЛЮЦИИ

Два палача берутся у гильотины

Первый палач (стоит на гильотине и поет).

Я иду, иду домой,
Светит месяц надо мной. . .

Второй палач. Эй, Голла! Ты еще не готов?

Первый палач. Сейчас, сейчас. (Поет)

У окна отец ругается:
Где парнишка мой шатается?

Так! теперь только накинуть куртку. (Они уходят и поют)

Я иду, иду домой,
Светит месяц надо мной. . .

Люсиль (входит и садится на ступень гильотины). Я сажусь к тебе на колена, тихий ангел смерти. (Поет)

Есть жнец, зовется смертью он,
Серп господом ему вручен.

Ты — дорогая колыбель, убаюкавшая моего Камилла, ты задушила его под твоими розами. Ты — похоронный колокол, сопровождавший его в могилу своим сладостным звоном. (Поет)

Сверкает серп тот день и ночь,
Уносит сотни жизней прочь.

Входит патруль.

Гражданин. Эй, кто там?

Люсиль (сидит задумавшись и потом, как бы внезапно принявши решение, вскрикивает).
Да здравствует король!

Гражданин. Именем республики!

Стража окружает ее и уводит.



Л Е Н Ц

20 января Ленц двинулся через горы. На вершинах и высоких горных площадках — снег; в долинах, сбегаящих вниз, серый камень, зеленые лужайки, скалы и ели. Было сыро и холодно; вода струилась со скал и бежала через дорогу; ветви елей тяжело свисали вниз во влажном воздухе. По небу тянулись серые облака, тесно сгрудившись; дымился туман и тяжело продвигался своею влажною массою через кустарник, такой тягучий, такой грузный.

Он безучастно шел вперед, не обращая внимания на дорогу, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз. Усталости он не чувствовал, но порой ему было неприятно, что он не может идти вниз головой.

Сначала он чувствовал стеснение в груди, когда срызался камень, сотрясался серый лес под ним и туман то поглощал все формы, то наполовину приоткрывал мощные очертания; его что-то давило, он чего-то искал, словно хотел припомнить какой-то забытый сон, но ничего не находил. И все казалось ему таким маленьким, близким и мокрым; ему хотелось сунуть землю за печку. Его изумляло, что нужно столько времени, чтобы спуститься по склону и достигнуть крайней точки; ему казалось, что все расстояния измеряются несколькими шагами. Но порою буря швыряла облака в долины, и лес начал дымиться, и просыпались голоса среди скал,

то рокоча, как замирающий вдали гром, то приближаясь и нарастая в мощный рев, в дикие клики ликования, словно прославляющие землю, и облака прядали, как дико ржущие кони, а солнечный луч, проникая сквозь них, скользил своим сверкающим мечом и врезывался через вершины гор в долины ярким ослепляющим светом; или порыв бури сгонял туман в сторону, и обнажалось ярко-голубое озеро, ветер вдруг стихал и лишь из глубины ущелий, качая вершинами елок, звенел колыбельною песней, и в глубокой синеве прокрадывался легкий розовый отсвет, и маленькие облачка проносились на серебряных крыльях, и все горные вершины, резкие и неподвижные, блестели и сверкали высоко над равниной, — тогда он чувствовал боль в груди. Он стоял, тяжело переводя дух, наклонившись вперед, широко раскрыв глаза и рот; ему казалось, что он должен втянуть в себя бурю, все охватить собою, он вытягивался и простирался над землею, он проникал во все окружающее, он испытывал острое наслаждение, которое причиняло ему боль; или же он стоял неподвижно, клал голову на мох и наполовину прикрывал глаза, и тогда все далеко отступало от него, земля подавалась под его ногами, она становилась маленькой, как блуждающая звездочка, и погружалась в шумящий поток, кативший под ним свои ясные воды. Но это было только мгновение; он снова поднимался, трезвый, уверенный, спокойный, словно мимо него пронеслась игра теней — он больше ничего не ощущал.

Под вечер он достиг вершины горы, снежного поля, за которым снова начинается по запад-

ному склону спуск в равнину. Наверху он присел. К вечеру стало спокойнее; облака прочно и неподвижно лежали на небе; насколько хватал взгляд, — нигде ничего, кроме вершин, с которых сбегают вниз широкие склоны, и все так тихо, серо, сумеречно. Он почувствовал себя страшно одиноким; он был один, совсем один. Ему хотелось говорить с самим собой, но он не мог, он едва смел дышать; каждый шаг его отдавался как гром, и он должен был сесть. Невыразимо жуткое чувство охватило его перед этим «ничто»; он был в пустоте! Он сорвался с места и бегом спустился по склону.

Стало темно, земля и небо слились вместе. Ему казалось, что кто-то идет за ним по пятам, что его настигает что-то ужасное, чего человек не в состоянии перенести, что безумие мчится за ним на конях.

Наконец он услышал голоса; он увидел огоньки, ему стало легче. Ему сказали, что до Вальдбаха остается еще полчаса ходьбы.

Он шел по деревне. Огоньки светились в окнах, он заглядывал в них, проходя мимо; дети за столом, старые женщины, девушки, все спокойные, тихие лица. Казалось, что они излучали свет; ему стало совсем легко, и скоро он стоял в Вальдбахе перед домом пастора.

Все сидели за столом, когда он вошел; белокурые завитки волос свешивались на его бледное лицо, что-то подергивалось у него около глаз и вокруг рта, платье было разорвано.

Оберлин приветствовал его, он принял его за ремесленника: «Добро пожаловать, хотя мы и не знакомы». — «Я друг Кауфмана и принес вам

от него поклон». — «Ваше имя, если это вас не затруднит?» — «Ленц». — «Те, те, те, не появлялось ли оно в печати? Помнится, я прочел несколько драм, подписанных этим именем?» — «Да, но только не судите по ним обо мне».

Завязался разговор; Ленц искал слов, говорил быстро, но это была для него пытка; однако мало-по-малу он успокоился — в комнате было так уютно, из полумрака выступали спокойные лица: ясное личико ребенка, все озаренное светом, любопытно и доверчиво глядело на него; сзади в тени тихо сидела мать, как кроткий ангел. Он начал рассказывать о своей родине; он рисовал всевозможные картины, все придвинулись к нему и участливо слушали; он сразу почувствовал себя как дома. Его бледное детское лицо теперь улыбалось, свободно лился живой рассказ! Он был спокоен; старые, забытые лица, казалось, снова выдвигались из тьмы, просыпались старые песни, он был далеко, очень далеко.

Наконец наступило время уйти. Его проводили через улицу; дом пастора был слишком тесен, и ему отвели комнату в здании школы. Он поднялся наверх. Там было холодно, в этой большой пустой комнате с высокой кроватью в глубине. Он поставил свечу на стол и ходил взад и вперед. Мысленно он снова переживал истекший день, вспоминая, как он попал сюда. Комната в доме пастора, с ее свечами и милыми лицами, вставала перед ним как тень, как сновидение; пустота опять охватила его, как тогда, на горе; но он ничем уже не мог ее более наполнить, свеча погасла, мрак поглотил все. Не-

выразимая тревога овладела им. Он вскочил, пробежал через комнату, спустился вниз по лестнице, вышел из дома; напрасно: нигде ничего не было, кроме мрака, ничего — он сам себе казался сном. Проносились отдельные мысли, он ухватывался за них; ему хотелось непрерывно повторять «Отче наш». Он больше уже не мог владеть собою; темный инстинкт заставлял его в бегстве искать спасения. Он спотыкался о камни, царапал себя ногтями; боль на минуту возвращала ему сознание действительности. Он свалился в водоем, но вода была не глубока, и он барахтался там.

Тогда его услышали, сбежались люди, его окликали по имени. Прибежал Оберлин. Ленц пришел в себя; сознание положения вполне вернулось к нему, у него опять отлегло от сердца. Теперь ему было стыдно, и его огорчало, что он так напугал этих добрых людей; он сказал им, что привык купаться в холодной воде, и снова поднялся к себе наверх; изнеможение принесло ему наконец покой.

На следующий день все шло хорошо. Вместе с Оберлином отправился он верхом по долине. Широкие горные лужайки на большой высоте стягивались в узкую извилистую долину и в разных направлениях подымались высоко к горам; массивные скалы расширялись книзу; было мало леса, но везде серая суровая поросль; на западе открывался вид на равнину и горную цепь, которая тянулась к северу и югу; ее вершины, могучие, суровые, молчаливые, вздымались как сумрачный сон. Порою огромные массы света золотым потоком лились по долинам, а потом

облака, сидящие на высоких вершинах, снова начинали медленно сползать вниз по лесу в долину или же реяли в солнечных лучах, как серебряные привидения, то спускаясь, то поднимаясь; никакого шума, никакого движения, ни одной птички, — ничего, кроме завываний ветра, которые то слышались совсем близко, то замирали вдали. Показывались также поселки, полуразвалившиеся хижины, доски, покрытые соломой, черные, унылые. Люди, молчаливые и серьезные, словно не смеющие нарушить покой своей долины, тихо кланялись, когда они проезжали мимо.

В хижинах было оживленно; люди теснились вокруг Оберлина, он давал указания, советы, утешал; везде доверчивые взгляды, молитва. Рассказывали свои сны, предчувствия. Затем быстро переходили к практическим делам; надо было проложить новые дороги, вырыть каналы, посегить школы.

Оберлин был неутомим. Ленц неизменно сопровождал его, то участвуя в его беседах, помогая ему в работе, то погруженный в созерцание природы. Все это действовало на него благотворительно и успокаивающе. Он часто смотрел в глаза Оберлину, и тот могучий покой, который навевает на нас отдыхающая природа в глубине леса в лунные ясные летние ночи, казалось, с еще большею силою струился из этих спокойных глаз, от этого почтенного серьезного лица. Он чувствовал робость, но все же делал замечания, говорил. Оберлину приятна была беседа с ним, его радовало приветливое, детское лицо Ленца.

Но лишь до тех пор, пока в долине было светло, чувствовал он себя сносно; к вечеру им стала овладевать странная тревога, ему хотелось бы бежать за солнцем. По мере того, как предметы кругом темнели, все становилось для него таким призрачным, таким чуждым: на него напал страх, как на ребенка, которого заставляют спать в темноте; ему казалось, что он ослеп. Страх нарастал, кошмар безумия надвигался на него: безнадежная мысль, что все существующее — только его сон, охватила его, и нельзя было от нее избавиться; тщетно цеплялся он за окружающие предметы. Образы быстро пронеслись мимо, он старался прильнуть к ним; но это были тени, жизнь угасала в нем, его члены совсем омертвели. Он говорил, он пел, он цитировал отрывки из Шекспира, хватался за все, что обычно заставляло кровь его быстрее обращаться в жилах, он испробовал все, но напрасно: холод! холод! Он должен был выскочить наружу, на свежий воздух. Когда глаза его пригладелись к темноте, слабый рассеянный в ночном воздухе свет несколько ободрил его; он бросился к источнику, и резкое действие холодной воды принесло ему облегчение; он питал к тому же тайную надежду заболеть — теперь он устроил купанье с меньшим шумом.

Однако, чем больше вживался он в окружающую жизнь, тем становился спокойнее. Он помогал Оберлину, рисовал, читал библию; старые забытые надежды пробудились в нем; в новом завете нашел он опору — и однажды утром он вышел из дому. Оберлин рассказывал ему, как могучая рука удержала его на мосту, как

глаза его ослепил горный свет, как он услышал голос, говоривший с ним в ночи, и как бог подошел к нему настолько близко, что он с детской доверчивостью бросал жребий, чтобы узнать, что надо делать: эта полнота веры, эти вечные небеса в жизни человека, это бытие в боге! Только теперь открылся для него смысл священного писания. В этих божественных мистериях как близка природа человеку! Не в грозной царственной силе своей, но зато так задушевно!

Утром он вышел из дому. Ночью выпал снег; днем ярко светило солнце, но вдали все было слегка окутано туманом. Скоро он свернул с дороги и поднялся на пологую вершину; здесь, у опушки елового леса, не было видно ни одного отпечатка человеческой ноги; солнце играло в кристаллах инея, снег лежал пушистыми хлопьями, там и здесь виднелись на снегу легкие следы дичи, пробиравшейся в горы. Никакого движения в воздухе; только слабое трепетание ветерка; только шорох птицы, легкою пылью сбрасывающей со своего хвоста снежинки. Все так тихо, и деревья далеко простирают в глубокую синеву неба качающиеся, покрытые белым оперением ветви. Мало-помалу у него стало отрадно на душе. Однообразные огромные плоскости и линии, которые иногда словно говорили с ним мощными голосами, теперь были окутаны туманом; чем-то родным, святочным пахнуло на него: ему казалось порой, что вот-вот выйдет из-за дерева его мать, такая большая, и скажет, что все это она подарила ему. Когда он стал спускаться, солнечные лучи

образовали радугу вокруг его тени, и как будто кто-то прикоснулся к его лбу и заговаривал с ним. Он спустился. Оберлин был в своей комнате; Ленц весело подошел к нему и сказал, что хотел бы произнести проповедь. «Разве вы теолог?» — «Да!» — «Хорошо, в следующее воскресенье».

Ленц, довольный, пошел в свою комнату. Он думал о тексте для проповеди и погружался в размышления; ночи он стал проводить спокойно. Когда пришло воскресенье, наступила оттепель. Бежали облака с голубыми просветами. Церковь стояла рядом у горы, на некотором возвышении; вокруг нее — кладбище. Ленц стоял наверху, когда зазвонил колокол и по узким тропинкам между скал, то поднимаясь, то спускаясь, стали стекаться в церковь прихожане, женщины и девушки, в своих строгих черных платьях, держа в руках молитвенники с белыми, аккуратно сложенными носовыми платочками на них и ветками розмарина. Иногда солнце бросало яркий луч на долину, теплый воздух тихо струился, вся местность дымилась ароматными испареньями, далеко разносился звон — казалось, что все растворялось в одной гармоничной волне.

На маленьком кладбище снег стаял, мох темнел под черными крестами; куст запоздалых роз приютился у ограды кладбища, другие запоздалые цветы выглядывали из-под мха; то проглядывало солнце, то снова темнело. Церковная служба началась, человеческие голоса сливались в чистом, ясном звучании; получалось такое впечатление, точно смотришь в прозрачные воды горного источника. Пение замолкло, — Ленц начал говорить. Он был смущен: звуки пения

совершенно разогнали его столбняк, вся его боль теперь проснулась и вошла в сердце. Вдруг сладостное чувство бесконечного блага сошло на него. Он просто говорил с этими людьми; они все страдали вместе с ним, и ему отрадно было думать, что слова его помогут забыться сном усталым от слез глазам, принесут покой измученным сердцам, что ему удастся обратиться к богу эти истерзанные материальной нуждой существа с их тупыми страданиями. Он почувствовал себя крепче, когда закончил проповедь — голоса снова запели:

Родники святых страданий,
Боже, вскрой в душе моей.
Нет во мне иных желаний:
Я хочу страданьем жить,
Я хочу своим страданьем
Богу-господу служить.

Волнение, музыка, боль потрясли его. Весь мир представлялся ему истерзанным и израненным; это причиняло ему глубокое, невыразимое страдание. Теперь все переменилось: божественные уста ласково склонялись к нему, навстречу его собственным устам; он пошел в свою одинокую комнату. Он был один, совсем один! Вдруг точно источник прорвался наружу, слезы ручьями полились из его глаз, он корчился и содрогался всеми членами, ему казалось, что он распадается, и не было конца этой сладостной боли. Наконец, в нем забрезжило: чувство глубокого сострадания к самому себе закралось в него, он плакал о себе; голова его склонилась на грудь, он заснул. Полная луна стояла на

небе; волосы рассыпались у него по вискам и по лицу, слезы висели на ресницах и высыхали на щеках — так лежал он там один, а кругом все было спокойно, тихо и холодно, и луна светила всю ночь и стояла над горами.

На следующее утро он сошел вниз и совершенно спокойно рассказал Оберлину, что ночью ему явилась его мать: она в белом платье выступила из темной стены, окружающей кладбище, на груди у нее были приколоты белая и красная розы; потом она погрузилась в землю в углу, и розы медленно выросли над нею. Она наверно умерла; он в этом совершенно уверен. Оберлин рассказал ему, в свою очередь, что, когда умирал его отец, он был один в поле и вдруг услышал голос, который возвестил ему, что отец его мертв; когда он вернулся домой, так оно и оказалось. Это увлекло их дальше. Оберлин рассказывал о горцах: о девушках, которые чувствуют воду и металл под землей, о мужчинах, которые на горных вершинах подвергались нападению духов и боролись с ними; он рассказал ему также, что однажды в горах, долго глядя в пустой и глубокий рудничный колодезь, он погрузился в своего рода сомнамбулическое состояние. Ленц сказал, что это дух воды овладел им, так что он стал до известной степени причастен своеобразному бытию этого стихийного духа. Он продолжал: самые простые и самые чистые натуры всего ближе к стихийному; чем утонченнее чувственное восприятие и жизнь человека, тем больше притупляется в нем это стихийное чутье; последнее нельзя считать высоким состоянием, оно недостаточно самостоя-

тельно для этого, но люди должны испытывать бесконечно блаженное чувство, когда им удастся соприкоснуться с этой своеобразной жизнью во всех ее формах, проникать в душу минералов, металлов, воды и растений и, как бы в сновидении, воспринимать в себя каждое существо природы, как воспринимают цветы воздух, когда нарастает или ущербляется месяц.

Он продолжал высказываться: во всем имеет невыразимая гармония, созвучность, блаженство, и в высших формах это обнаруживается во вневне, звучит и воспринимается более расчлененно, но зато порождает тем более глубокую возбуждаемость; в низших формах все более сдвинуто и ограничено, но зато там и больше внутреннего покоя. Он пытался еще развивать эти мысли. Но Оберлин прервал его, это слишком далеко отводило его от свойственных ему простых взглядов на вещи. В другой раз Оберлин показал ему цветные таблички и объяснил, в каком отношении каждый цвет стоит к человеку; он указал, что каждый из двенадцати апостолов представлен особым цветом. Ленц ухватился за эту идею и, развивая ее дальше, дошел до тревожных грез и начал, как Штиллинг, толковать апокалипсис и часто читал библию.

В это время в Штейнталь явился Кауфман со своей невестой. Сначала Ленцу была неприятна эта встреча; он с таким трудом приготовил себе здесь укромное местечко, так ценил эту крупицу покоя — и вдруг является человек, который возбуждает в нем столько воспоминаний, с которым надо говорить, беседовать, который знает обстоятельства его жизни. Оберлин ничего о нем не

знал; он принял его и заботился о нем, он видел в нем руку провидения, считал, что бог послал ему этого несчастного, и сердечно полюбил его. Впрочем, его пребывание там никого не удивляло; он сжился с этими людьми, словно давно уже был среди них, и никто не спрашивал, откуда он пришел и куда намерен уйти.

За обедом Ленц снова пришел в хорошее настроение: говорили о литературе, это была его область. Тогда начинался идеалистический период; Кауфман был сторонником этого направления, Ленц энергично возражал ему. Он говорил: поэты, о которых говорят, что они передают действительность, не имеют о ней ни малейшего представления; но все же они более сносны, чем те, которые хотят преобразить действительность. Он говорил: бог, конечно, создал мир таким, каким он должен быть, и не нашей пачкотне делать что-либо более совершенное; единственное наше стремление должно состоять в том, чтобы хоть немного отобразить действительность. Я требую прежде всего жизни, правдивости; если это есть — хорошо; тогда не возникает уже и вопроса, красиво это или безобразно. Чувство, что созданное жизненно, стоит выше обеих этих характеристик и есть единственный критерий в вопросах искусства. Впрочем, это мы встречаем лишь очень редко: у Шекспира находим мы это, в народных песнях оно звучит везде, у Гете кое-где; все остальное можно выбросить в печку. Люди не в состоянии нарисовать собачьей конуры, и вот они берутся создавать идеалистические образы; но все, что я видел в этом роде, не более, как деревянные куклы. Этот идеализм

есть позорнейшее пренебрежение человеческой природой. Пусть попробуют погрузиться в жизнь самых ничтожных людей и передать ее содрогания, ее намеки, ее едва уловимую мимическую игру; он сам сделал такую попытку в «Гувернере» и в «Солдатах». Это самые прозаические люди на земле; но чувства у всех людей одинаковы, и лишь та оболочка, через которую им приходится пробиваться, может быть более или менее плотной. Нужно лишь иметь надлежащие глаза и уши. Вчера, когда я подымался здесь рядом по долине, я увидел, что на камне сидят две девушки: одна распустила волосы, другая помогала ей убирать их. Свешивались вниз золотые пряди, лицо было серьезно и бледно, совсем еще юное; она была в черном. Другая так заботливо склонялась к ней! Самые прекрасные, самые глубокие картины старогерманской школы едва могут дать понятие о том впечатлении, которое это производило. Иногда хочется быть головой Медузы, чтобы заставить такую группу окаменеть и созвать людей посмотреть на нее. Они встали, и прекрасная группа распалась; но когда они сходили вниз среди скал, получилась другая картина. Прекраснейшие картины, богатейшие звуки сами собой слагаются и распадутся.

Лишь одно остается: бесконечная красота, переходящая из одной формы в другую, вечно новая, вечно меняющаяся. Правда, не всегда можно ее схватить и удержать, поставить в музей или положить на ноты, а затем показать людям, чтобы стар и млад болтали о ней всякий вздор и восхищались ею. Надо любить человечество,

чтобы до конца проникнуть в его подлинную сущность; никого из людей не должны мы считать слишком ничтожными или слишком безобразными, — иначе мы не сможем их постигнуть; самое незначительное лицо производит более глубокое впечатление, чем голое ощущение красоты, и можно заставить образы выступить наружу из самих себя, не внося в них ничего внешнего, ничего такого, в чем нет жизни, где не сокращаются мышцы и не бьется пульс.

Кауфман возразил ему, что в действительности он не нашел бы образов для Аполлона Бельведерского или Рафаэлевой Мадонны. «Так что ж такое? — ответил он; — я должен сойтаться, эти произведения не задевают меня за живое. Если я поработаю над собой, я могу кое-что почувствовать, но я должен сделать для этого усилие. Те поэты и художники нравятся мне больше всего, которые дают мне природу всего ближе к действительности, так что я чувствую их настроение; все прочее мне мешает. Я больше люблю голландских мастеров, чем итальянских, и они для меня единственно понятные. Я знаю только две картины и притом как раз нидерландских мастеров, впечатление от которых я мог бы сравнить с впечатлением от нового завета. На одной — я не знаю, чья она — изображены Христос и ученики его на пути в Эммаус. Когда вы читаете, как вышли ученики, в нескольких словах перед вами встает вся природа. Тусклый сумрачный вечер, однообразная красная полоса на горизонте, на дороге полутьма; тогда подходит к ним незнакомец, заговаривает с ними, ломает хлеб, и они узнают его в этом

простом человеческом воплощении; его божественно-страдающие черты ясно говорят им, кто он, и они пугаются, ибо стало уже темно, а перед ними происходит нечто непостижимое, но это не тот испуг, какой внушают привидения; тут любимый покойник подходит к ним в сумерках по-старому, как живой; картина выдержана в однообразном коричневом тоне, соответствующем темному, тихому вечеру. Потом другая картина: женщина сидит в своей комнате, держа в руках молитвенник. Все по-праздничному разубрано, посыпано песком; так уютно, чисто и тепло. Женщина не могла пойти в церковь и устроила богослужение дома; окно открыто, она сидит, обратившись к нему, и кажется, что через это окно вливается в комнату колокольный звон и пение хора из недалекой деревенской церкви, а женщина слушает и следит по тексту».

В этом роде говорил он дальше; его слушали, со многими соглашались. Он раскраснелся от своих речей и то смеяся, то, говоря серьезно, встряхивал своими белокурыми кудрями. Он совсем забыл о себе.

После обеда Кауфман отвел его в сторону. Он получил письмо от отца Ленца; последний писал, что сын должен вернуться назад и оказать отцу поддержку. Кауфман говорил, что он даром растрачивает здесь свою жизнь, бесполезно теряет время, что ему надо, наконец, поставить перед собой какую-нибудь цель, и тому подобное. Ленц накинулся на него: «Уйти отсюда? Уйти? Домой? Чтобы там сойти с ума? Ты же знаешь, я могу существовать только здесь, в этих местах. Если бы я не мог иногда подняться на гору, по-

смотреть оттуда вниз, а затем опять спуститься, пройти через сад, заглянуть в окно, — я сошел бы с ума! Я сошел бы с ума! Оставьте же меня в покое! Дайте мне немного покоя здесь, где мне удалось почувствовать себя чуть-чуть лучше! Итти отсюда, все время куда-то итти? Я не понимаю этого; этим словом испорчен весь мир. Всякий за чем-то гонится, но, раз он достиг покоя, чего еще нужно? Стремиться всегда вперед, бороться, вечно упускать то, что дает текущий миг, и неизменно терпеть нужду в надежде когда-то насладиться! Терпеть жажду, в то время как ключи чистой воды бьют на самой дороге! Я чувствую себя теперь сносно и хочу здесь остаться. Почему, почему? Да именно потому, что мне здесь хорошо! Чего хочет от меня отец? Может ли он дать мне больше? Это невозможно! Оставьте меня в покое!» Он разгорячился; Кауфман ушел, Ленц был расстроен.

На следующий день Кауфман хотел уехать. Он уговаривал Оберлина отправиться с ним в Швейцарию. Желание лично познакомиться с Лафатером, с которым Оберлин давно уже находился в переписке, соблазняло его, и он согласился. Пришлось промедлить еще день, чтобы дать ему время собраться. У Ленца было тяжело на сердце. Он за все хватался, чтобы избавиться от своих бесконечных терзаний; в отдельные моменты ему удавалось несколько привести себя в порядок; он обращался с собой как с больным ребенком. Лишь с величайшими усилиями прогонял он некоторые мысли и навязчивые чувства; затем они снова овладевали им с непреодолимой силой, он весь дрожал, волосы поднимались

у него дыбом, пока, наконец, он не изнемогал от чрезвычайного напряжения. Он искал спасения у Оберлина, образ которого постоянно стоял у него перед глазами; его слова, его лицо доставляли ему бесконечную отраду. Поэтому он с тревогой ожидал его отъезда.

Теперь Ленцу было жутко остаться одному в доме. Погода была мягкая; он решил проводить Оберлина по горам. По ту сторону гор, там, где ущелья выходят на равнину, они расстались. Он пошел назад один. Он пересекал горы в различных направлениях. Широкие поляны, спускаясь вниз, стягивались в ущелья, кое-где виднелся лес, выступали мощные очертания гор, и дальше внизу курилась обширная равнина; дул сильный ветер, нигде ни следа человека, только там и здесь, прислонившись к откосу, стояли покинутые хижины, в которых пастухи проводят лето. Он был спокоен, почти дремал; все слилось для него в одну линию, в одну то поднимающуюся, то опускающуюся волну между небом и землей; ему казалось, что он лежит у бесконечного, тихо волнующегося моря. Иногда он присаживался; потом опять шел, но медленно, погруженный в грезы. Он не искал дороги.

Был поздний вечер, когда он достиг обитаемой хижины на склоне, спускающемся к Штейнталу. Двери были заперты; он подошел к окну, в котором светился огонек. Лампа освещала почти один только пункт: ее свет падал на бледное лицо девушки, которая лежала, полуоткрыв глаза, слегка шевеля губами. Дальше, в тени, сидела старуха и скрипучим голосом пела по молитвеннику. Ему пришлось долго стучаться, пре-

жде чем открылась дверь; старуха была почти глуха. Она принесла Ленцу поест и указала ему постель, все время продолжая петь свои гимны. Девушка не шевелилась. Несколько времени спустя вошел мужчина; он был высок и худ, с редкими седыми волосами, с беспокойным, расстроенным лицом. Он подошел к девушке, она вздрогнула и стала беспокойна. Он взял со стены высушенную траву и вложил ей в руку листья, после чего она опять стала спокойнее и пробормотала несколько вятных слов прерывающимся голосом. Он рассказал, что слышал в горах голос и затем видел зарницу над ущельями; потом его что-то схватило, и он боролся с этим, как Иаков. Он опустился на колено и молился тихо и горячо, в то время как больная пела медленно и едва слышно. Потом он лег спать.

Ленц дремал и слышал сквозь сон, как тикают часы. К тихому пению девушки и скрипучему голосу старухи присоединились завывания ветра, то совсем близкие, то удаляющиеся; луна, то яркая, то закутанная облаками, бросала в комнату изменчивый, призрачный свет. Вдруг голос девушки стал звучать громче, она заговорила ясно и отчетливо: она говорила, что напротив на утесе стоит церковь. Ленц взглянул на нее — она сидела выпрямившись за столом, с широко открытыми глазами, и луна бросала свой тихий свет на ее лицо, от которого, казалось, исходил зловещий блеск; вместе с тем продолжала скрипеть старуха, и под эту изменчивую игру света и тени, звуков и голосов Ленц, наконец, крепко заснул.

Он проснулся рано; в комнате стояли сумерки, и все спали, девушка также успокоилась. Она

лежала, подложив сложенные руки под левую щеку; лицо ее не казалось уже более прозрачным, оно выражало теперь неопишное страдание. Он подошел к окну и открыл его, — холодный утренний воздух обдал его. Дом лежал в конце узкой глубокой долины, открывающейся на восток; красные лучи пробивались сквозь серое утреннее небо в сумрачную долину, закутанную в белый туман, они сверкали на серых скалах и били в окна хижины. Старик проснулся. Глаза его были устремлены на освещенный образ на стене, он смотрел на него твердо и упорно; он начал, шевеля губами, молиться, сначала тихо, потом все громче и громче. Меж тем, в хижину приходили люди, которые молча опускались на колена. Девушка лежала в судорогах, старуха скрипела свои гимпы и переговаривалась с соседями. Ленцу рассказали, что этот человек уже давно пришел сюда и никто не знает откуда; он пользуется славой святого, он чувствует воду под землей и может заклинать духов, народ паломничает к нему. Ленц узнал вместе с тем, что он далеко отошел от Штейнталя; он отправился в путь вместе с несколькими дровосеками, которые шли в эту местность. Он был рад, что нашел себе спутников; ему было не по себе с этим мощным человеком, голос которого казался ему порой страшным. Вместе с тем, он не хотел остаться в одиночестве, он боялся самого себя.

Он вернулся домой. Пережитая ночь произвела на него огромное впечатление. Мир разверзлся перед ним; в нем все бурлило и клокотало, беспощадная сила влекла его в пропасть. Он рылся

в своей душе. Мало ел; половину ночи проводил в молитве и лихорадочных грезах. Могучий порыв сначала увлекал его, а потом наступало полное изнеможение; он обливался жгучими слезами. Вдруг он снова становился сильным и поднимался, спокойный и равнодушный; холодный, как лед, он смеялся над своими слезами. Чем сильнее он себя взвинчивал, тем глубже он потом падал. Все снова сливалось вместе. Воспоминания о своем прежнем состоянии пронизывали его и бросали скользкие отсветы в дикий хаос его души.

Днем он обыкновенно сидел внизу в комнате. Госпожа Оберлин то входила, то выходила; он рисовал, писал красками, читал, хватался за всякое развлечение, поспешно переходя от одного к другому. Но он старался быть около госпожи Оберлин, когда она сидела здесь с черным молитвенником перед собою, рядом с цветком, выросшим в комнате, держа на коленях младшего ребенка; часто возился он также и с ребенком. Раз он сидел таким образом, и вдруг тревога охватила его, он вскочил, стал ходить взад и вперед. Дверь была полуоткрыта — доносилось пение служанки; сначала трудно было разобрать, что она поет, потом ясно послышались слова:

Опостылел мне свет, свет широкий,
Милый мой не со мной, он далеко.

Эти звуки потрясли его, — он едва держался на ногах. Госпожа Оберлин взглянула на него. Он схватился за сердце, он не мог больше молчать, он должен был говорить об этом. «Дорогая госпожа Оберлин, не можете ли вы сказать,

что теперь с девушкой, судьба которой таким тяжким грузом лежит у меня на сердце?» — «Но, господин Ленц, я же ровно ничего об этом не знаю».

Он замолчал и опять начал поспешно ходить взад и вперед по комнате; потом он снова заговорил: «Видите ли, я должен уйти; боже мой, вы единственные люди, с которыми я чувствую себя сносно, и все-таки — все-таки — я должен уйти к ней, — но я не могу, я не смею». Он страшно взволновался и вышел из дома.

Под вечер, когда в комнате уже стемнело, Ленц вернулся; он сел рядом с госпожкою Оберлин. «Видите ли, — начал он опять, — когда она так ходила по комнате и напевала про себя, каждый шаг ее был музыкой, и столько было в ней счастья, что оно переливалось и в меня; я был всегда спокоен, когда она смотрела на меня или прислонялась ко мне головой, и, боже мой, боже мой, — я уже давно утратил свой покой. . . Она совсем как дитя; казалось, мир был для нее слишком обширен; она сжималась, она выискивала себе в доме самое маленькое местечко и сидела там, словно в этом узеньком пространстве было сосредоточено все ее блаженство, и тогда я чувствовал так же; как дитя, мог бы я тогда играть. А теперь мне все тесно, так тесно! Видите ли, мне кажется иногда, что я зацепляю рукой за небо; о, я задыхаюсь! И часто я чувствую при этом словно физическую боль с левой стороны, в руке, которой я ее когда-то касался. Я не могу ее теперь представить себе: — ее образ убегает от меня, и это меня мучит; лишь иногда, когда он становится для меня вполне ясным, я снова чув-

ствую себя по-настоящему хорошо». Он и после не раз заговаривал с госпожею Оберлин об этом, но обыкновенно отрывочными фразами; она не знала, что отвечать, но все же это утешало его.

Между тем продолжались его религиозные терзания. Чем более пустым, холодным, мертвым чувствовал он себя внутренне, тем сильнее стремился он раздуть в себе пламя; в нем пробуждались воспоминания о тех временах, когда мощные чувства теснились в нем, когда он почти задыхался от полноты переживаний. А теперь все так мертво! Он отчаивался в самом себе; тогда он бросался на колена, ломал руки, старался затронуть в себе все струны, — но все было мертво, мертво! Он молил бога послать ему знамение; он мучился, постился, простирался на полу и грезил.

3 февраля он услышал, что в Фудэ умер ребенок; это захватило его как навязчивая идея, — он заперся в своей комнате и постился сутки. 4-го он внезапно вошел в комнату госпожи Оберлин; он посыпал себе голову пеплом и требовал, чтобы ему дали старый мешок. Она испугалась; ему дали, чего он хотел. Он обернул себя мешком, как кающийся, и направился в Фудэ. Жители в долине уже привыкли к нему; о нем рассказывали всякие странные вещи. Он пришел в дом, где лежал ребенок. Люди равнодушно занимались своими делами; ему указали комнату: ребенок в рубашке лежал на соломе на деревянном столе.

Ленц содрогнулся от страха, когда прикоснулся к холодным членам и увидел полуоткрытые стеклянные глаза. Ребенок казался ему

таким покинутым, а он сам — таким одиноким и всем чужим. Он упал на труп. Смерть испугала его, и он чувствовал острую боль: эти черты, это тихое лицо должны истлеть! — он бросился на колена; он молился со всем ужасом отчаяния, чтобы бог послал ему знамение и оживил ребенка, ибо он так слаб и так несчастен; потом он весь погрузился в себя и собрал всю свою волю в одну точку. Долго оставался он таким образом неподвижным. Затем поднялся, взял за руки ребенка и сказал громко и твердо: «Встань и ходи!» Но стены безучастно отразили звуки его голоса, словно издеваясь над ним, а труп остался холодным. Тогда он упал почти в полном безумии; затем вскочил, его гнало наружу, в горы.

Облака быстро бежали мимо месяца; то все погружалось в темноту, то в лунном сиянии показывались подернутые туманом очертания окрестностей. Он мчался то вверх, то вниз. В его груди ад торжествовал победу. Ветер звучал, как песнь титанов. Ему казалось, что он может чудовищным кулаком поразить небеса и вытащить оттуда бога из-за облаков; что он может зубами размолоть весь мир и выплюнуть его в лицо творцу; он проклинал, он богохульствовал. Так добрался он до вершины горы; неверный свет лился вниз, туда, где лежали белые массы камней; небо было как глупый голубой глаз, и месяц торчал на нем очень смешно и нелепо. Ленц не мог удержаться от громкого хохота, и вместе с этим хохотом в него проник атеизм и овладел им уверенно, спокойно и крепко. Он не мог понять, почему он раньше так волно-

вался; его знобило; он почувствовал желание лечь спать и пошел, холодный и непоколебимый, среди жуткого мрака — все было в нем пусто и мертво; он ускорил шаги, добрался до дому и лег в постель.

На другой день на него напал величайший ужас, когда он вспомнил свое вчерашнее состояние. Он стоял над пропастью и испытывал безумное влечение все снова и снова заглядывать в нее, все снова и снова переживать эту муку. Потом тревога его возросла, грех против духа святого неотступно стоял перед ним.

Через несколько дней вернулся Оберлин из Швейцарии, гораздо раньше, чем его ждали. Ленц был поражен этим. Но ему было очень приятно, когда Оберлин рассказывал ему о его друзьях в Эльзасе. Оберлин переходил при этом в комнате с места на место, распаковывал багаж, раскладывал вещи. Он рассказал о Пфэффеле, хвалил счастливую жизнь сельского пастыря. Между прочим, он убеждал Ленца подчиниться желанию отца, вернуться домой и жить соответственно своему призванию. Он говорил ему: «Чти отца и мать» и тому подобные вещи. Этот разговор сильно взволновал Ленца; он глубоко вздыхал, слезы навертывались ему на глаза, он говорил надломленным голосом: «Да, но я этого не перенесу; вы хотите меня прогнать, только в вас путь к богу! Впрочем, со мною все покончено! Я отпал и проклят вовеки, я вечный жид». Оберлин сказал ему, что ради спасения грешников и умер Иисус; если он от всего сердца обратится к нему, то станет причастен его милосердию.

Ленц поднял голову, заломил руки и сказал: «Ах! ах! божественное утешение...» Вдруг он приветливо спросил, как поживает девушка. Оберлин ответил, что не знает, о ком он говорит, но с удовольствием готов помочь словом и делом, — пусть только он укажет место, обстоятельства и лицо. Но тот произносил в ответ лишь отрывистые слова: «Ах, она умерла? Жива ли она еще? Ангел! Она любила меня — я любил ее, она этого стоила — о, ангел! Проклятая ревность, я пожертвовал ею — она любила еще другого — я любил ее, она этого стоила — о, дорогая мама, и та также любила меня — я ваш убийца!» Оберлин заметил, что, быть может, все эти лица живы и вполне благополучны; но, как бы то ни было, он может и должен прибегнуть к богу; если он обратится к нему, то бог, снизойдя к его молитве и слезам, пошлет им столько блага, что та польза, которую он им этим принесет, быть может, перевесит тот вред, который он причинил. После этого он стал спокойнее и опять взялся за кисть.

Под вечер он снова пришел. На левом плече у него был кусок шкуры, а в руке связка прутьев, которые вместе с письмом были присланы Ленцу с Оберлином. Он протянул Оберлину прутья и настойчиво просил, чтобы тот бил его. Оберлин взял у него прутья, поцеловал его в губы и сказал: «Вот те удары, которые я имею для вас; успокойтесь, примириться с богом можете только вы сами, никакие истязания не могли бы искупить хотя бы одного из ваших грехов; об этом позаботился Иисус, к которому вы и должны обратиться». Он ушел.

За ужином он, как всегда, был несколько задумчив. Он говорил, правда, о всевозможных вещах, но с тревожной поспешностью. В полночь Оберлин был разбужен шумом. Ленц бегал по двору и глухим, хриплым голосом выкрикивал имя «Фредерика», произнося его страшно быстро, в полном расстройстве и отчаянии; потом он бросился в водоем перед колодезем, плескался там, вышел оттуда и поднялся в свою комнату, потом снова спустился в водоем и так несколько раз, — наконец он затих. Служанки, ночевавшие в детской под ним, рассказывали, что они очень часто, особенно как раз в эту ночь, слышали какое-то завывание, похожее на звуки дудки. Быть может, это он стонал глухим, страшным, полным отчаяния голосом.

На следующее утро Ленц долго не выходил. Наконец Оберлин поднялся к нему наверх, в его комнату: он спокойно и неподвижно лежал на постели. Оберлин должен был несколько раз окликнуть его, прежде чем он отозвался; наконец он сказал: «Да, господин пастор, скука, видите ли, скука! О, как скучно! Я не знаю уже больше, что мне и сказать; я нарисовал на стене всевозможные фигуры». Оберлин сказал ему, что ему следует обратиться к богу. Тогда он засмеялся и ответил: «Да, если бы я, подобно вам, имел счастье найти такое приятное развлечение, я мог бы заполнить свое время. Все от праздности. Ведь большинство молится от скуки, другие влюбляются от скуки, третьи от скуки добродетельны, четвертые порочны. А вот я ничего, ну, совсем ничего. Я не могу даже наложить на себя руки: это слишком скучно!

О, сжался, боже, о, не мучь!
Уйми полдневный жгучий луч, —
Мне на него глядеть не в мочь.
Когда ж настанет снова ночь?

Оберлин недовольно посмотрел на него и хотел итти. Ленц шмыгнул за ним и, глядя на него безумными глазами, произнес: «Вот видите, теперь что-то нашло на меня; но если бы я только мог различить, вижу ли я это во сне или наяву; видите ли, это страшно важно, мы должны это исследовать». Он юркнул опять в постель.

После обеда Оберлин собрался в гости по соседству; жена его уже отправилась. Он хотел уже уйти, как в его дверь постучались, и вошел Ленц, сгорбившись, с низко опущенной головой. Его лицо, а кое-где и платье были посыпаны пеплом, правой ладонью он придерживал левую руку. Он попросил Оберлина потянуть ему руку; он вывихнул ее, выбросившись из окна, но так как никто этого не видел, он хотел бы сохранить это в тайне. Оберлин очень испугался, но ничего не сказал; он исполнил желание Ленца. Вместе с тем он написал школьному учителю в Бельфосс (Себастьяну Шейдекеру), что он просит его спуститься вниз, и дал ему надлежащие указания. Потом он уехал.

Учитель явился. Ленц уже не раз его видел и привязался к нему. Тот сделал вид, что хотел о чем-то поговорить с Оберлином, и поднялся, чтобы уйти. Ленц попросил его побыть с ним, и таким образом они остались вдвоем. Ленц предложил прогуляться в Фудэ. Он посетил мо-

гилу ребенка, которого хотел оживить, несколько раз опускался на колена, целовал землю могилы, повидимому, молился, однако был очень взволнован, сорвал на память несколько цветов с венка, положенного на могилу, пошел опять назад в Вальдбах, снова вернулся; Себастьян следовал за ним. Вскоре он пошел медленно и жаловался на большую слабость во всех членах, потом бросился вперед с отчаянной быстротой; окружающая местность тяготила его, она казалась ему такой тесной, что он все время боялся на что-нибудь наткнуться. Невыразимо тяжелое чувство охватило его; его спутник стал ему, наконец, в тягость. Он подозрительно смотрел на него, стараясь разгадать его намерения, искал средства от него отделаться. Себастьян сделал вид, что уступает его желанию, но потихоньку уведомил своего брата, и Ленц имел теперь двух надзирателей вместо одного. Он долго таскал их по горам; наконец, пошел назад в Вальдбах, но когда они были уже у самой деревни, с быстротою молнии повернулся и большими прыжками, как олень, бросился по дороге в Фудэ. Те устремились за ним. Когда они разыскивали его в Фудэ, пришли два разносчика и рассказали, что в одной из хижин связали человека, который выдавал себя за убийцу, хотя по виду он совсем не похож на убийцу. Они побежали к этому дому и нашли его там. Один молодой человек со страха связал его, уступая его бурным требованиям. Они его развязали и благополучно доставили назад в Вальдбах, куда к тому времени вернулись Оберлин с женой. Он был страшно расстроен. Но когда он заметил, что с ним обраща-

ются дружески и с любовью, он снова ободрился; лицо его потеряло свое странное выражение, он приветливо и тепло благодарил обоих своих спутников, и вечер прошел спокойно. Оберлин настоятельно просил его больше не купаться, оставаться ночью спокойно в постели и, если ему не удастся заснуть, обращаться к богу. Он обещал и в ближайшую ночь выполнил свое обещание; служанки слышали, что почти всю ночь напролет он молился.

На следующее утро он с довольным лицом вошел в комнату Оберлина. Поговорив о разных вещах, он сказал с особенной приветливостью: «Дорогой господин пастор, девушка, о которой я вам говорил, умерла, да, умерла — ангел!» — «Откуда вы это знаете?» — «Иероглифы, иероглифы!» И затем, взглянув на небо, снова произнес: «Да, умерла — иероглифы!» Ничего больше нельзя было из него вытянуть. Он присел и написал несколько писем, передал их затем Оберлину с просьбой прибавить к ним несколько строк.

Между тем состояние его становилось все более и более безнадежным. Все спокойствие, которое давала ему близость Оберлина и тишина долины, теперь исчезло; мир, в котором он хотел найти себе место, зиял чудовищным провалом; у него не было ни ненависти, ни любви, ни надежды — страшная пустота и вместе с тем мучительно-беспокойная потребность ее заполнить. Он был ко всему безразличен. Все, что он делал, он делал без сознательного намерения, и, однако, его побуждал к этому какой-то внутренний инстинкт. Когда он был один, он чувствовал себя

таким ужасно одиноким, что постоянно громко говорил сам с собой, вскрикивал, а потом пугался, и ему казалось, что это чей-то чужой голос говорит с ним. В разговоре он часто запинаясь, невыразимый страх нападал на него, он забывал конец начатого предложения; тогда ему казалось, что он должен без конца повторять последнее сказанное слово; лишь с огромным усилием подавлял он в себе это стремление. Добрые люди, среди которых он жил, очень огорчались, когда в спокойные минуты он, сидя у них и непринужденно беседуя, вдруг запинаясь, неопикуемый ужас искажал черты его лица, и он судорожно хватал за руки того, кто сидел к нему всех ближе, — и лишь медленно потом приходил в себя. Когда он был один или читал, было еще хуже; вся его душевная деятельность замыкалась иногда в одной мысли. Если он думал о каком-нибудь постороннем лице или живо представлял его себе, то ему уже начинало казаться, что он сам это лицо; он чувствовал себя совершенно расстроенным, и вместе с тем ему неудержимо хотелось видеть во всем — в природе, в людях, во всем, кроме Оберлина, — произвольные построения своего ума; все казалось сном, было безжизненным. Он забавлялся тем, что заставлял дома стоять на крышах, одевал или раздевал людей, измышлял безумнейшие дурачества. Иногда он чувствовал непреодолимое желание осуществить то, что ему приходило в голову, и тогда он корчил ужаснейшие гримасы. Однажды он сидел около Оберлина, а напротив на стуле лежала кошка. Вдруг глаза его неподвижно усталились на кошку, он не сводил их с животного, потом

он медленно соскользнул со стула вниз, кошка также: она была точно околдована его взглядом, страшно встревожена, ее шерсть поднялась дыбом; Ленц издавал такие же звуки, как и кошка, лицо его ужасно исказилось; в отчаянии они бросились друг на друга — тогда поднялась госпожа Оберлин и разняла их. После этого он опять чувствовал себя страшно пристыженным. Ночью припадки чрезвычайно усилились. Лишь с огромными усилиями ему удавалось уснуть после многих и тщетных попыток наполнить ужасную пустоту. Тогда он впадал в невыносимое состояние на границе между сном и бодрствованием: на него надвигалось что-то чудовищное, ужасное, он весь был во власти безумия; он вскакивал с раздирающим душу криком, весь в поту и лишь мало-по-малу мог потом успокоиться. Чтобы опять притти в себя, ему надо было делать очень простые вещи. Собственно не он сам делал их, а мощный инстинкт самосохранения; ему казалось, что он раздвоится и что одна его часть хочет спасти другую и призывает себя к этому; он громко разговаривал, в страшной тревоге декламировал стихотворения, пока снова не приходил в себя.

Днем также случались с ним эти припадки, и тогда они были еще ужаснее, ибо теперь свет уже не прогонял их. Ему казалось, что существует только он один, что мир имеется только в его воображении, что нет ничего, кроме него; он — навеки осужденный, сатана, один со своими мучительными представлениями. С бешеной быстротой пробежал он свою жизнь и потом говорил: «Логично, логично»; если же другой про-

износил что-нибудь — «нелогично, нелогично»; это была бездна помешательства, от которого нет спасения, — помешательство навеки.

Жажда духовного самосохранения двигала им: он бросался в объятия Оберлина, цеплялся за него, словно хотел в него внедриться; в его глазах он был единственным живым существом, через которое жизнь снова открывалась ему. Слова Оберлина мале-по-малу приводили его в себя; он бросался на колена перед Оберлином, держал его руки в своих руках, опускал покрытое холодным потом лицо к нему на колена, сотрясаясь и дрожа всем телом. Оберлину он внушал бесконечное сострадание. Вся семья преклоняла колена и молилась за несчастного, а служанки в страхе убегали; они считали его за одержимого бесами. Когда он несколько успокаивался, он горевал как ребенок: всхлипывал, чувствовал глубокую-глубокую жалость к самому себе; это были его самые счастливые мгновения. Оберлин говорил ему о боге, Ленц спокойно отодвигался, осматривался с выражением бесконечного страдания и, наконец, говорил: «Но я, если бы я был всемогущ, видите ли, если бы я был всемогущ, я не стал бы мириться со страданиями, я избавил бы от них; ничего не нужно, кроме покоя, покоя, — немножко покоя, чтобы забыться сном». Оберлин говорил, что это богохульство. Ленц безнадежно качал головой.

Попытки лишить себя жизни, которые он постоянно делал, не были вполне серьезны. Это было не столько желание смерти — смерть не внушала ему надежды и не обещала покоя, — это были скорее попытки, в минуты невыносимого

страха и граничащего с небытием оцепенения, привести себя в чувство при помощи физической боли. Мгновения, когда его сознанием овладевала какая-нибудь безумная идея, были еще сравнительно самыми счастливыми. Это все-таки было какое-то успокоение, это все-таки было не так ужасно, как безысходная тоска и жажда избавления, как вечная мука беспокойства! Часто он колотился головой об стену или каким-нибудь другим способом причинял себе сильную физическую боль.

Восьмого утром он остался в постели, Оберлин поднялся наверх; он лежал почти голый и был страшно возбужден. Оберлин хотел его прикрыть, но он жаловался на то, что все очень тяжело, так тяжело! Он едва ли в состоянии даже ходить; теперь, наконец, он ощущает чудовищную тяжесть воздуха. Оберлин старался его ободрить, но он не изменил своего положения, большую часть дня он пробыл в постели и не принимал пищи.

Под вечер Оберлина вызвали к больному в Бельфосс. Стояла мягкая погода, и светила луна. На возвратном пути он встретил Ленца. Тот казался вполне разумным и говорил с Оберлином спокойно, приветливо. Оберлин просил его не уходить слишком далеко; он обещал. Уходя, он внезапно повернулся назад, снова подошел к Оберлину совсем близко и быстро сказал: «Видите ли, господин пастор, я наверное бы поправился, если бы только не был вынужден слушать это». — «Но что же именно, мой дорогой?» — «Разве вы ничего не слышите? Разве вы не слышите этого ужасного голоса, которым

кричит весь горизонт и который обыкновенно называют тишиной? С тех пор, как я живу в этой тихой долине, я постоянно его слышу, и он не дает мне спать; да, господин пастор, если бы только я мог заснуть!» Он пошел дальше, покачивая головой.

Оберлин вернулся в Вальдбах и хотел уже послать кого-нибудь вслед за ним, как услышал, что он поднимается вверх по ступенькам в свою комнату. Мгновение спустя на дворе грохнуло что-то так громко, что Оберлину казалось невозможным, чтобы такой звук мог произойти от падения человеческого тела. Вбежала нянька, она была бледна как смерть и вся дрожала...

С холодным равнодушием сидел он в повозке, когда они выехали из долины на запад. Ему было все равно, куда его везут. Иногда, когда в опасных местах повозка грозила перевернуться, он продолжал сидеть совершенно спокойно; ему все было совершенно безразлично. В таком состоянии проделал он обратную дорогу через горы. К вечеру они были в Рейнской долине. По-немногу они удалялись от гор, которые рисовались на красном вечернем небе как темно-голубая кристалльная волна; на гребне ее играли теплые отсветы красных вечерних лучей; над равниной у подножия гор словно была протянута светящаяся голубоватая паутина. Наступила ночь, когда они приблизились к Страсбургу; высоко стояла полная луна, все отдаленные предметы потемнели, только соседняя гора выделялась своими резкими очертаниями; земля была как золотой кубок, и над нею пенились золотые струи лунного света. Ленц спокойно смотрел

в пространство, он ничего не желал, его никуда не влекло; только безотчетная тупая тревога нарастала в нем по мере того, как предметы терялись в темноте. Им пришлось остановиться на ночь. Он опять сделал несколько попыток наложить на себя руки, но за ним тщательно следили.

На следующее утро при пасмурной, дождливой погоде прибыл он в Страсбург. Он казался вполне разумным, разговаривал с окружающими. Он делал все, что делают другие; но в нем была ужасающая пустота, он больше не чувствовал страха, ничего не желал, существование стало для него неизбежной обузой.

Так он жил...



ЛЕОНС И ЛЕНА

Комедия

ПРЕДИСЛОВИЕ

Alfieri: „E la Fama?“

Gozzi: „E la Fame?“

Альфieri: „А слава?“

Гoззи: „А голод?“

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

Петер, король царства Попо

Принц Леонс, его сын

Лена, принцесса из царства Пипи, помолвлена
с Леонсом

Валерио

Гувернантка

Гофмейстер

Председатель государственного совета

Придворный проповедник

Ландрат

Школьный учитель

Розетта

Слуги, государственные советники, крестьяне и т. д.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

„О славный шут, о превосходный шут,
Нет ничего прекрасней пестрой куртки“.

„Как вам будет угодно“.

СЦЕНА 1

Сад

Леонс полулежит на скамье. Гофмейстер.

Леонс. Милостивый государь, чего вы от меня хотите? Подготовить меня к моему призванию? Но я и так занят по горло и совсем измучен работой. Вот видите ли — прежде всего мне нужно раз за разом плюнуть триста шестьдесят пять раз вот сюда, на этот камень. Вы никогда не пробовали этого? Попробуйте. Это очень оригинальное развлечение. Затем — видите вы эту горсточку песку? *(Он берет песок, подбрасывает его вверх и ловит тыльной стороной руки.)* Вот я бросаю его вверх — угодно вам держать пари? Сколько зернышек теперь у меня на руке — чет или нечет? Как! Вы не хотите держать пари? Что же, вы язычник? Не верите в бога? Обыкновенно я держу пари сам с собою и могу заниматься этим целый день. Если бы вы могли прислать мне людей, которые были бы не прочь время от времени побиться со мною об заклад,

вы меня очень обязали бы. Далее, я размышляю о том, нельзя ли устроить так, чтобы я мог смотреть на свою собственную голову. О, если бы кто-нибудь мог смотреть на свою собственную голову! Это один из моих идеалов. Я был бы тогда счастлив. Затем... Затем еще бесчисленное множество вещей подобного же рода. Что же, я — бездельник? Я сейчас ничем не занимаюсь? Да, это печально...

Гофмейстер. Очень печально, ваше высочество.

Леонс. Печально, что облака вот уже три недели тянутся с запада на восток. От этого я впадаю в глубокую меланхолию.

Гофмейстер. Вполне обоснованная меланхолия.

Леонс. Почтенный, почему вы мне не противоречите? Но у вас есть не терпящие отлагательства дела — не правда ли? Я очень сожалею, что так долго задерживаю вас.

Гофмейстер удаляется с глубоким поклоном.

Милостивый государь, поздравляю вас: когда вы кланяетесь, ваши ноги, выгибаясь, образуют такие прекрасные скобки. (Леонс один, вытягивается на скамейке.) Пчелы сидят так неподвижно на цветках, и солнечный свет так лениво лежит на земле. Везде ужаснейшая праздность. Праздность — начало всех пороков. Чего только люди не делают от скуки! От скуки они учатся, от скуки молятся, влюбляются, женятся и размножаются от скуки, наконец, умирают от скуки. И — что самое комичное — все это с самыми важными лицами, не зная, почему и на кой шут это нужно. Все эти герои, эти гении, эти бол-

ваны, эти святые, эти грешники, эти отцы семейств — в сущности утонченные празднолюбцы. И почему как раз мне дано это знать? Почему не могу я важничать, одеть эту бедную куклу во фрак, дать ей в руки зонтик, чтобы она приобрела вид высокопорядочный, высокополезный и высокоморальный? Вот хотя бы тот человек, который только что от меня ушел. Я завидую ему. Я готов бы выпороть его от зависти. О, если бы можно было стать другим человеком! Только на минуту.

Валерио входит, он слегка пьян.

Как бежит этот человек! Если бы я знал что-нибудь под солнцем, что могло бы заставить меня так бежать!

Валерио (*останавливается прямо перед принцем, приложив палец к носу, и пристально смотрит на него*). Н-да!

Леонс. Правильно!

Валерио. Вы меня поняли?

Леонс. Совершенно.

Валерио. Ну, поговорим теперь о чем-нибудь другом. (*Ложится в траву.*) А я тем временем лягу в траву; нос мой расцветет среди стебельков травы и будет переживать романтические ощущения, когда пчелы и бабочки станут качаться на нем, как на розе.

Леонс. Но, добрейший, не сопите так ужасно, иначе пчелы и бабочки должны будут умереть с голоду, так как вы вытянете из цветов всю их добычу.

Валерио. Ах, господин, как замечательно я чувствую природу. Травка поднимается так красиво. Как хотелось бы стать быком, чтобы

поедать ее, а потом опять стать человеком, чтобы есть того быка, который наелся такой травки.

Леонс. Несчастный, вы как будто склонны строить идеалы.

Валерио. Да, это ужасно. Нельзя прыгнуть ни с одной колокольни, не сломав себе шеи, нельзя съесть и четырех фунтов вишен с косточками, не засорив себе желудка. Видите ли, господин, я мог бы сидеть себе в уголку и петь с утра до вечера: «Гей, вот сидит муха на стене! Муха на стене! Муха на стене!» и так до конца моей жизни.

Леонс. Заткните глотку. От такой песни можно стать сумасшедшим.

Валерио. Ну, что же! Это было бы совсем не плохо. Сумасшедший! Безумец! Кто хочет обменять свое безумие на мой разум? Ха, я Александр Великий! Какой золотой короной сверкают лучи солнца в моих волосах! Как блестит мой мундир! Господин генералиссимус Кузнечик, прикажите войскам наступать! Господин министр финансов Паук, — мне нужны деньги! Любезная фрейлина Стрекоза, как поживает моя дорогая супруга Тычинка? Ах, добрейший господин лейб-медик Шпанская Муха, меня очень беспокоит здоровье наследного принца. И вдобавок к этим роскошным фантазиям вы получаете еще хороший суп, хорошее мясо, хороший хлеб, хорошую постель и даровые услуги цырюльника, — я разумею, в сумасшедшем доме. Между тем с моим здравым рассудком я в лучшем случае мог бы наняться возделывать какое-нибудь вишневое дерево, чтобы — чтобы?

Леонс. Чтобы вишни покраснели от стыда, глядя на порежи в твоих штанах. Но, почтенней-

ший, каково твое ремесло? Твоя профессия? Твое сословие? Твое призвание?

Валерио (с достоинством). Господин, я имею важное занятие быть праздным. Я обладаю исключительной способностью к ничегонеделанию. Я проявляю колоссальную выдержку в лености. Ни одна мозоль не позорит моих рук, земля не выпила еще ни одной капли пота с моего лба. Я еще сохранил свою девственность в работе; и если бы это не было так утомительно, я взял бы на себя труд изложить вам эти мои заслуги еще гораздо более пространно.

Леонс (с комическим энтузиазмом). Приди ко мне на грудь! Ты одно из тех божественных существ, которые с чистым челом, не трудясь, проходят среди пота и пыли по столбовой дорожке жизни и вступают на Олимп, подобные блаженным богам с их блестящими ступнями и цветущими телами. Приди, приди!

Валерио (уходя поет). «Гей, вот сидит муха на стене! Муха на стене! Муха на стене!»

Оба рука об руку уходят

СЦЕНА 2

Комната

Король Петер, два камердинера его одевают.

Петер (в то время как его одевают). Человек должен мыслить, а я должен мыслить за своих подданных; ибо они не мыслят, они не мыслят. Субстанция есть в себе бытие, и это — я. (Почти еще голый, начинает бегать по комнате.) Поняли? В себе — это значит в себе. Понятно? Затем идут мои атрибуты, модификации, воздей-

ствия и акциденции: где моя рубаша, мои штаны? Фи! фи! Свободная воля совсем ничем не прикрыта. И где мораль: где манжеты? Все категории в позорнейшем смешении: застегнуты две лишние пуговицы, табакерка засунута в правый карман. Вся моя система разрушена. А что означает этот узел на носовом платке? Эй, ты, парень, что означает этот узел? О чем я хотел себе напомнить.

Первый камердинер. Когда ваше величество соблаговолили завязать этот узел, то вам угодно было...

Петер. Ну?

Первый камердинер. Угодно было о чем-то себе напомнить.

Петер. Запутанный ответ! Ну, а ты что думаешь?

Второй камердинер. Вашему величеству угодно было о чем-то себе напомнить, когда вы соблаговолили завязать этот узел.

Петер (*бежит взад и вперед*). Но о чем, о чем? Эти люди конфузят меня. Я в величайшем смущении и не знаю, как помочь делу.

Входит слуга.

Слуга. Ваше, величество, государственный совет собрался.

Петер (*радостно*). Да, вот оно, вот оно! Я хотел напомнить себе о моем народе. Идите, господа! Идите симметрично. Что, сейчас не очень жарко? Захватите носовые платки и вытирайте себе лица. Я всегда прихожу в большое смущение, когда мне приходится говорить публично.

Все уходят.

Король Петер. Государственный совет.

Петер. Мои дорогие и верные подданные! Я хотел вас сим известить и осведомить, известить и осведомить — гм! Ибо сын мой или женится, или нет. (*Приставляет палец к носу.*) Или — или. Вы понимаете меня? Третье исключено. Человек должен мыслить. (*Он стоит некоторое время, размышляя.*) Когда я говорю так громко, то я уже в конце концов не знаю, кто это сказал — я или другой. И это тревожит меня. (*После длительного размышления.*) Я есмь я. Что полагаете вы об этом, господин председатель?

Председатель (*медленно и с весом*). Ваше величество! Весьма возможно, что это так, но весьма возможно, что это и не так.

Весь государственный совет хором. Да, возможно, что это так, а возможно, что это и не так.

Петер (*тронутый*). О, мои мудрецы! Итак, о чем же, собственно, была речь? О чем, бишь, хотел я говорить? Председатель! Как жаль, что в таком торжественном случае у вас оказалась такая короткая память. Заседание закрыто. (*Он торжественно удаляется, весь государственный совет следует за ним.*)

СЦЕНА 3

Богато украшенный зал. Горят свечи

Леонс и несколько слуг.

Леонс. Все ставни закрыты? Зажгите свечи. Долой день! Я хочу, чтобы была ночь. Глубо-

кая амброзиальная ночь. Поставьте лампы под хрустальные колпаки между олеандрами, чтобы они выглядывали оттуда, как девичьи глаза из-под ресниц. Подвиньте ближе розы, чтобы вино текло в бокалы, как капли росы. Музыка! Где скрипки? Где Розетта? Прочь! Все вон!

Слуги уходят. Леонс ложится на кушетку. Розетта, изящно одетая, входит. Издали слышна музыка.

Розетта (*приближается, ласкаясь*). Леонс!

Леонс. Розетта!

Розетта. Леонс!

Леонс. Розетта!

Розетта. Твои губы устали. От поцелуев?

Леонс. От зевоты.

Розетта. О!

Леонс. Ах, Розетта, у меня ужасная работа.

Розетта. Ну?

Леонс. Ничего не делать.

Розетта. И только любить?

Леонс. Действительно, работа!

Розетта (*обиженно*). Леонс!

Леонс. Или занятие.

Розетта. Или безделье.

Леонс. Ты права, как всегда. Ты умная девушка. Я очень ценю твое остроумие.

Розетта. Так ты любишь меня от скуки?

Леонс. Нет, я скучаю, потому что тебя люблю. Но я люблю мою скуку, так же, как и тебя. Вы одно и то же. О, *dolce far niente* Я грежу о твоих глазах, как о таинственно чудесных глубоких ключах; ласка твоих губ усыпляет

меня, как шум волн! (Он обнимает ее.) Ко мне, дорогая скука, твои поцелуи — упоительная зевота, и каждый твой шаг — очаровательный зевок.

Розетта. Ты любишь меня, Леонс?

Леонс. А почему бы нет?

Розетта. И навсегда?

Леонс. Это длинное слово: навсегда. Если я буду любить тебя пять тысяч лет и семь месяцев — довольно с тебя? Это значительно меньше, чем навсегда, но все же достаточно длинный срок, и у нас будет откуда взять время для любви.

Розетта. Или время возьмет у нас любовь.

Леонс. Или любовь — время. Танцуй, Розетта, танцуй! Пусть время движется в такт с твоими очаровательными ножками.

Розетта. Мои ножки предпочли бы уйти от времени. (Танцует и поет.)

В сапожках красных должны вы плясать,
Мои ножки усталые.
Ах, лучше б вам в земле лежать,
Где цветики алые.

От бурных ласк вы должны пламенеть,
Мои щечки нежные.
Ах, лучше б вы в тиши цвели,
Цветы белоснежные.

В огнях свечей вы должны сиять,
Мои глазки бедные.
Ах, лучше б вы смежились сном,
Мои веки бледные.

Леонс (*грезит, про себя*). О, умирающая любовь прекраснее зарождающейся. Я римлянин; за десертом роскошного пиршества золотые рыбки играют своими предсмертными красками. Как замирает румянец на ее щеках! Как угасают ее глаза! Как медленно поднимается и падает волна, пробегающая по ее телу! Прощай, прощай, моя любовь. Я хочу любить твой труп.

Розетта снова приближается к нему.

Слезы, Розетта? Это тонкое эпикурейство — уметь плакать. Стань на солнце, чтобы твои драгоценные капли обратились в кристаллы. Это будут прекрасные алмазы. Ты можешь сделать себе из них ожерелье.

Розетта. Действительно, алмазы. Они режут мне глаза. Ах, Леонс! (*Хочет его обнять.*)

Леонс. Берегись! Моя голова — это склеп, в котором я похоронил нашу любовь. Загляни в окна моих глаз: ты видишь, как прекрасна бедная покойница? Ты видишь две белых розы на ее щеках и две красных на ее груди? Не толкни меня, чтобы она не сломала себе ручку — это было бы жаль. Я должен осторожно держать свою голову на плечах, как держит женщина, убирающая покойников, гробик ребенка.

Розетта (*шутливо*). Сумасшедший!

Леонс. Розетта! (*Розетта делает ему гримасу.*) Слава богу! (*Закрывает глаза.*)

Розетта (*испуганно*). Леонс, взгляни на меня!

Леонс. Ни за что.

Розетта. Только один взгляд!

Леонс. Ни одного. Подумай только: из-за такого пустяка, моя дорогая, любовь снова вы-

рвалась бы на свободу. Я рад, что похоронил ее. Я удерживаю воспоминание о ней.

Розетта (*удаляется печально и, медленно выходя, поет*).

Я бедная сиротка,
Мне страшно быть одной.
Ко мне, печаль-чахотка!
С тобой пойду домой.

Леонс (*один*). Странная это вещь любовь. Целый год лежишь в полусне в постели и в одно прекрасное утро просыпаешься, выпиваешь стакан воды, одеваешься, проводишь рукой по лбу и приходишь в себя — и приходишь в себя. Боже мой, сколько же нужно женщин для того, чтобы пропеть всю гамму любви с начала до конца? Одной едва хватает для одной ноты. Почему же испарения нашей земли образуют призму, проходя через которую горячий белый луч любви преломляется в радугу? (*Пьет.*) В какой бутылке находится то вино, которое могло бы меня сегодня опьянить? Неужели я даже этого не могу больше достигнуть? Я сижу здесь под колоколом воздушного насоса. Воздух такой резкий и разреженный, что меня подирает мороз, словно я вздумал кататься на коньках в нанковых штанах. Милостивые государи, милостивые государи! Знаете ли вы, кто такие были Калигула и Нерон? Я знаю это. А ну-ка, Леонс, произнеси монолог, я послушаю! Моя жизнь (*зевает*) передо мною, как большой белый лист бумаги, который я должен целиком исписать, но я не напишу на нем ни одной буквы. Моя голова, как опустевшая танцевальная зала — несколько увядших роз и разорванных лент валяются на полу,

в углу — скрипки с лопнувшими струнами, последние танцоры сняли маски и смотрят друг на друга смертельно усталыми глазами. Каждый день я двадцать четыре раза переворачиваю себя наизнанку, как перчатку. О, я знаю себя, я знаю, о чем я буду думать и грезить через четверть часа, через неделю, через год. Боже мой, какой же грех я совершил, что ты заставляешь меня, как школьника, так часто повторять мои уроки.

Браво, Леонс, браво! (*Аплодирует.*) Мне приятно обращаться к себе таким образом. пей! Леонс, Леонс!

Валерио (*из-под стола*). Ваше высочество, повидимому, действительно идете прямейшим путем к тому, чтобы стать настоящим сумасшедшим.

Леонс. Да, если хорошенько подумать, то мне и самому это кажется.

Валерио. Подождите, сейчас мы побеседуем об этом более обстоятельно. Дайте мне только сначала проглотить кусок жаркого, украденного на кухне, и немножко вина, которое я стащил с вашего стола. Я сейчас буду готов.

Леонс. Как чавкает! Этот парень пробуждает во мне совершенно идиллическое настроение; я мог бы кажется снова вернуться к примитиву: есть сыр, пить пиво, курить табак. Однако, чорг возьми, не хрюкай так своим рылом и не щелкай так клыками.

Валерио. Достопочтенный Адонис! Не опасаетесь ли вы за свое бедро? Будьте спокойны, я не метельщик и не школьный учитель; я не нуждаюсь в путьях и розгах.

Леонс. Ты не остаешься в долгу.

Валерио. Я хотел бы, чтобы и мой господин поступал так же.

Леонс. То-есть чтобы я выдрал тебя? Ты так озабочен своим воспитанием?

Валерио. Боже мой, человеку гораздо легче дается рождение, чем воспитание. И как жаль, что по причине интересного положения возникает положение совсем не интересное. Какое бремя взвалилось на меня вследствие того, что моя мать разрешилась мною от бремени! И когда меня зачали, разве от этого началось для меня что-либо хорошее?

Леонс. Что до твоей судьбы, то она постигла тебя только для того, чтобы тебя настигнуть. Однако выбирай получше свои выражения, иначе ты почувствуешь пренеприятнейшее отражение моего раздражения.

Валерио. Когда моя мать огибала мыс Доброй Надежды...

Леонс. А твой отец потерпел крушение у мыса Горна...

Валерио. Да, правильно, у Рога.* Ведь он был ночной сторож. И все-таки он реже приставлял себе рог к губам, чем многие отцы благородных детей ко лбу.

Леонс. Парень, ты обладаешь божественным бесстыдством. Я чувствую желание вступить с тобою в более близкое соприкосновение. Мне страшно хочется тебя выдрать.

Валерио. Это меткое доказательство и ответ, бьющий в самую точку.

* Горн (Horn) по-немецки „рог“.

Леонс (*бьет его*). Или ты — избитый ответ, потому что ты получаешь побои за твой ответ.

Валерио (*отбегает, Леонс спотыкается и падает*). А вы — доказательство, которое еще надо вывести, ибо оно спотыкается на свои собственные ноги, которые, строго говоря, сами нуждаются в доказательстве. Это в высшей степени маловероятные икры и проблематические бедра.

Входит государственный совет. Леонс продолжает сидеть.

Председатель. Ваше высочество, извините...

Леонс. От всего сердца, от всего сердца! Я милостиво извиняю вас за то, что вынужден вас слушать. Милостивые государи, угодно ли вам занять места? Какие физиономии делают люди, когда слышат слово «место». Но садитесь наземь и не стесняйтесь. Ведь это то последнее «место», которое вы наверное когда-нибудь получите, хотя оно и никому не приносит выгоды, кроме могильщика.

Председатель (*в смущении пощелкивает пальцами*). Благоволите, ваше высочество...

Леонс. Но не щелкайте так пальцами, если не хотите, чтобы я стал убийцей.

Председатель (*щелкает все сильнее*). Не будет ли вам благоугодно, в виду...

Леонс. Боже мой, да запрячьте же руки в карманы штанов или сядьте на них, что ли! Он совсем растерялся. Соберитесь с духом.

Валерио. Нельзя прерывать детей, когда они пи.... иначе у них делается закупорка.

Леонс. Почтеннейший, придите же в себя. Подумайте о вашей семье, о государстве. Вы

рискуете получить апоплексический удар, если ваша речь бросится вам в голову.

Председатель (*вытаскивает бумагу из кармана*). Разрешите, ваше высочество...

Леонс. Как! Вы уже умеете читать? Ну, пожалуйста...

Председатель. Его королевское величество повелел оповестить ваше высочество, что ожидаемое прибытие высоконазначенной невесты вашего высочества, светлейшей принцессы Лены из Пипи, имеет состояться завтра.

Леонс. Если моя невеста меня ждет, то я охотно пойду ей навстречу и предоставлю ей ждать меня. Вчера я видел ее во сне — у ней была пара глаз таких огромных, что танцевальные тифельки моей Розетты оказались бы для них подходящими бровями. А на щеках виднелись не ямочки, а целые сточные канавы для смеха. Я верю в сны. А вы видите когда-нибудь сны, господин председатель? Бывает ли у вас иногда предчувствие?

Валерио. Само собой разумеется. Ведь за каждую ночь следует день, когда либо жаркое подгорит, либо каплун поколеет, либо у его королевского величества живот заболит.

Леонс. Между прочим, может быть, вам нужно что-нибудь еще мне сказать? Выкладывайте уже все наружу.

Председатель. Его королевскому величеству благоугодно было указать, что в день бракосочетания вашему высочеству будут вручены изъявления высочайшей воли.

Леонс. Передайте высочайшей воле, что я сделаю все, за исключением того, чего не сде-

лаю. Но во всяком случае сделанное мною будет меньше, чем если бы я сделал то же самое вдвойне. Милостивые государи! Вы извините меня, что я вас не провожаю; мне как раз хочется сейчас посидеть, но милость моя так велика, что я едва ли смог бы смерить ее своими шагами. (Он раздвигает ноги.) Господин президент, снимите мерку, чтобы вы могли после напомнить мне об этом. Валерио, проводи этих господ.

Валерио. Как же мне водить их? Надеть на господина председателя повод и вести его, словно он ступает всеми четырьмя копытами?

Леонс. Болван! Ты весь не более как скверный каламбур. У тебя нет ни отца, ни матери, — пять гласных букв создали тебя.

Валерио. А вы, принц, — книга без букв, состоящая из одних только тире. Ну-с, господа хорошие, ходу! Забавное это слово: ход. Чтобы получить доход — надо украсть. Выход — заслуживает внимания, когда он проделывается владетельной особой, а *ваход* приличествует небесному светилу. Исход всегда отыщется при помощи острого словца, когда уже не знаешь, что еще можно сказать, как, например, я в настоящий момент, и как вы — раньше, чем вы начали говорить. Свои походы вы в свое время уже совершили, а о вашем уходе вас в настоящее время покорнейше просят.

Государственный совет и Валерио удаляются.

Леонс (один). Как пошло, что я фанфаронил здесь перед этими жалкими людьми! А все же в пошлости заключается какое-то удовольствие. Гм! Жениться! Это значит выпить целый

колодезь воды. О Шенди, старый Шенди, кто подарил мне твои часы?

Валерио возвращается.

Ну, Валерио, ты слышал?

Валерио. Итак, вы должны стать королем. Что же? Это веселая штука. Вы можете целый день кататься, а люди будут протирать себе шляпы постоянными поклонами; вы можете из порядочных людей выкроить порядочных солдат, так что все будет выглядеть очень натурально. Вы можете сделать черные фраки и белые галстуки слугами государства; а когда придет смерть — светлые пуговицы затянут крепом, и веревки колоколов будут разрываться, как нитки, от усиленного звона. Разве это не забавно?

Леонс. Валерио! Валерио! Нам надо заняться чем-то совсем другим. Подай совет!

Валерио. Тогда займемся наукой. Сделаем-ся учеными. Априори? Или апостериори?

Леонс. Априори надо учиться у моего достопочтенного батюшки; что же касается апостериори, то оно начинается всегда как в старых сказках: жили-были.

Валерио. Ну, так сделаемся героями. *(Марширует взад и вперед, подражая звукам трубы и барабана.)* Тра-грам, плере-плем!

Леонс. Но героизм — это отвратительная пальба из ружей, это лазареты, переполненные горячечными больными, и притом героизм невозможен без лейтенантов и рекрутов. Нет, убирайся со своей романтикой Александров и Наполеонов.

Валерио. Тогда сделаемся гениями.

Леонс. Соловей поэзии целый день поет над нашей головой, но пока мы вырываем его перья и обмакиваем их в чернила или в краску, тончайший аромат поэзии исчезает бесследно.

Валерио. Тогда сделаемся полезными членами человеческого общества.

Леонс. Ни в коем случае. Лучше уж подать к отставку и совсем перестать быть человеком.

Валерио. Тогда нам остается только отправиться к чорту.

Леонс. Ах, ведь и чорт выдуман только для контраста, только для того, чтобы мы почувствовали, что на небе действительно есть что-то. (Вскакивает.) Ах, Валерио, Валерио, я нашел! Разве не слышишь ты веяния южного ветра? Разве не чувствуешь ты, как волнуется ярко-синий горячий эфир, как сверкает свет, отраженный от золотой солнечной почвы, от священного моря, от мраморных колонн и статуй? Великий Пан спит, и бронзовые фигуры грезят в тени над глубоко шумящими волнами о древнем кудеснике Вергилии, о тарантелле и тамбурине, о темных безумных ночах с масками, факелами и гитарами. Лаццарони! Валерио, лаццарони! Мы отправимся в Италию!

СЦЕНА 4

Сад

Принцесса Лена в подвенечном наряде,
гувернантка.

Лена. Вот наконец! Настало время. До сих пор я ни о чем не думала. Время шло незаметно,

и вдруг этот день сразу вырос передо мною. У меня веночек на голове — и колокола, колокола! *(Она откидывается назад и закрывает глаза.)* Видишь ли, я хотела бы, чтобы трава росла надо мною и чтобы пчелы жужжали надо мною; видишь, я одета, и розмарин у меня в волосах — ведь есть старая песня:

Я в гробу лежать хотела б
Как ребенок в колыбельке.

Гувернантка. Бедное дитя, как вы бледны под вашими сверкающими камнями.

Лена. Ах, боже мой, я могла бы любить — почему нет? Ведь чувствуешь себя так одиноко и так хочется ощутить руку, на которую можно было бы опираться до тех пор, пока женщина, убирающая покойников, не разъединит рук и не сложит их у каждого на груди. Но зачем же насильно пробивать гвоздем две руки, которые никогда не искали друг друга! В чем провинилась моя бедная рука? *(Снимает кольцо с пальца.)* Это кольцо ранит меня, как ядовитая змея.

Гувернантка. Но — говорят, это настоящий дон Карлос.

Лена. Но — это мужчина. . .

Гувернантка. Ну?

Лена. К которому я не чувствую любви. *(Она встает.)* Фи! Ты видишь, мне стыдно. Завтра с меня будет стерт весь блеск и аромат. Что же я такое, бедный беспомощный колодезь, который должен отражать в своих глубинах всякий наклоняющийся над ним образ? Цветы по своему желанию открывают или закрывают венчики навстречу утренним лучам или вечернему

ветру — неужели же дочь короля значит меньше, чем цветок?

Гувернантка (плачет). Дорогой ангел, ты настоящая овечка, приносимая в жертву.

Лена. Да, и жрец уже заносит свой нож. Боже мой, боже мой, неужели же это правда, что мы сами должны спасти себя своими страданиями? Неужели же это правда, что мир — распятый спаситель, солнце — его терновый венец, а звезды — гвозди в его ступнях?

Гувернантка. Дитя мое, дитя мое!.. Я не могу видеть тебя в таком состоянии. Это нельзя так оставить. Это убьет тебя. Быть может, — кто знает! У меня явилась мысль — мы посмотрим, пойдем. (Она уводит принцессу.)

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Но мощный голос прозвучал
Из недр во мне,
И позабыл вдруг все, что знал,
Я как во сне.

Адальберт Шамиссо

СЦЕНА 1

Открытое поле. В глубине гостиница
Входят Леонс и Валерио, который тащит
на себе узел.

Валерио (*задыхаясь от усталости*). Клянись честью, принц, мир — все-таки довольно обширное здание.

Леонс. Вовсе нет, вовсе нет! Я как в тесной зеркальной комнате едва решаюсь вытянуть руку, из опасения, что стекло разобьется, окружающие нас красивые образы осыплются осколками на землю и передо мною окажется пустая голая стена.

Валерио. Я пропал!

Леонс. От этого никто ничего не потеряет, кроме того, кто найдет тебя.

Валерио. Я спрячусь теперь в тень от моей собственной тени.

Леонс. Ты совсем улетучишься на солнце. Видишь это красивое облако там вверху — оно равно по меньшей мере одной четверти тебя. Оно

очень самодовольно посматривает на твою более грубую материю.

Валерио. Облако не повредило бы вашей голове, если бы капля за каплей все излилось на нее. Поразительное происшествие! Мы пробежали уже через дюжину княжеств, через полдюжины великих герцогств и через несколько королевств — все это в страшной спешке, в какиенибудь полдня. И почему? Потому что угрожала опасность сделаться королем и жениться на прекрасной принцессе. И вы еще можете жить в таком положении? Не понимаю, как вы с ним миритесь. Удивляюсь, что вы до сих пор не приняли мышьяка и не прострелили себе головы, свесившись с колокольни, чтобы дело было вернее.

Леонс. Но, Валерио, ты забываешь идеал. У меня есть идеал женщины, и я должен его искать. Она бесконечно прекрасна и бесконечно бездушна. Ее красота беспомощна, трогательна, как новорожденное дитя. Какой великолепный контраст: эти небесно-бессмысленные глазки, этот божественно-глупенький ротик, этот овечий греческий профиль, эта духовная смерть в бездушном теле.

Валерио. Чорт возьми! Мы уже опять на границе. Эта страна, точно луковица; одни только оболочки или вложенные одна в другую коробочки: в самой большой нет ничего, кроме коробок поменьше а в самой меньшей нет совсем ничего. (Он бросает свой узел на землю.) Неужели этому узлу суждено стать моим могильным холмом? Видите ли, принц, — я начинаю философствовать — вот картина жизни челове-

ской: я тащу этот узел, с израненными ногами, в стужу и в зной, потому что вечером хочу надеть чистую рубаху, а когда наконец приходит этот вечер, то мой лоб уже в морщинах, щеки ввалились, глаза потускнели, и у меня остается как-раз столько времени, чтобы натянуть свою рубаху, смертную рубаху. Не было ли бы благо-разумнее подхватить этот узел на палку, стащить его в первую попавшуюся харчевню и продать там; я мог бы тогда напиток и спать в тени, пока не наступит вечер. Мне не пришлось бы потеть и натирать себе мозоли. Но, принц, я подхожу к практическим выводам: уже из одной стыдливости нам надо теперь надеть штаны и куртку также и на внутреннего человека. *(Оба идут по направлению к гостинице.)* О, мой дорогой узел! Какие роскошные испарения! Какой винный аромат! Как пахнет жареным! И вы, милые штаны, вы уже пускаете корни в землю, зеленеете и цветете, и длинные, тяжелые виноградные кисти свешиваются ко мне в рот, а молодое вино бродит в чане. *(Уходит.)*

Принцесса Лена и гувернантка входят.

Гувернантка. Это заколдованный день, солнце не хочет заходить, а уже прошло так бесконечно много времени с тех пор, как началось наше бегство.

Лена. Вовсе нет, моя дорогая, ведь еще не успели завянуть цветы, которые я сорвала на прощанье, когда мы проходили через сад.

Гувернантка. А где же мы отдохнем? До сих пор мы не встретили ничего подходящего.

Я не вижу ни монастыря, ни пустынника, ни пастуха.

Лена. Да, все это было совсем иначе, когда мы по нашим книгам грезили в ограде нашего сада, среди миртов и олеандров.

Гувернантка. О, мир отвратителен! Не может быть и речи о том, чтобы встретить странствующего королевского сына.

Лена. О, мир прекрасен и так широк, так бесконечно широк! Я хотела бы все время идти вперед, день и ночь. Здесь так тихо, ничто не шелохнется. Красные цветы пестреют на лугах, и далекие горы лежат на земле, как отдыхающие облака.

Гувернантка. Господи Иисусе, а что будут говорить? И все же это так нежно и женственно! Это самоотречение. Это как бегство святой Оттилии. Но нам надо искать приюта: наступает вечер!

Лена. Да, растения складывают свои листочки для сна, и солнечные лучи качаются на стебельках травы, как усталые стрекозы.

СЦЕНА 2

Гостиница на возвышении, на берегу реки, обширный вид. Перед гостиницей сад

Валерио, Леонс.

Валерио. Ну, принц, не доставили ли нам ваши штаны этот великолепный напиток? И не лезут ли ваши сапоги сами в глотку?

Леонс. Видишь ты эти старые деревья, кусты терновника, цветы; каждый из них мог бы

рассказать свою историю, милую, интимную, маленькую историю. Видишь ли ты эти старые приветливые лица под виноградной лозой у дверей дома? Сидят они там рука с рукой, и горько им, что они так стары, а мир еще так юн. Ах, Валерио, я еще так молод, а мир так стар. Иногда меня охватывает тревога за себя, и я мог бы сесть в угол и проливать горячие слезы из сострадания к себе.

Валерио (*дает ему стакан*). Возьми этот колокол, этот водолазный колокол, погрузись в море вина, и оно покроет тебя жемчужинами. Смотри, как над венчиками этих поднимающихся из вина цветов пляшут и бьют в цимбалы эльфы, одетые в золотые туфельки.

Леонс (*вскакивая*). Нет, Валерио, нам надо чем-нибудь заняться! Погрузимся в глубокие мысли; будем исследовать, почему это происходит, что стул на трех ножках может стоять, а на двух — нет. Или — начнем анатомировать муравьев, считать тычинки! В конце концов я должен же все-таки найти какое-нибудь княжеское увлечение, которое бы меня захватило. Я еще отыщу для себя детскую погремушку, и она до гробовой доски не выпадет у меня из рук. Мне нужно еще растратить известную дозу энтузиазма; но когда все будет как следует состряпано, мне потребуется еще бесконечно долгое время, чтобы найти ту ложку, которой я мог бы есть эту стряпню.

Валерио. Ergo, bibamus! Итак, будем пить! Эта бутылка не излюбленная, не идея, ей не угрожают муки родов, она не может стать надоедливой, она не изменит, она останется тою же

самой от первой капли до последней. Стоит только сломать печать, и навстречу тебе метнутся все грезы, которые в ней дремлют.

Леонс. О боже! Половину моей жизни я превратил бы в молитву, если бы мне была ниспослана соломинка, на которой я мог бы скакать, как на великолепном коне, пока сам не буду лежать на соломе. Какой жуткий вечер! Здесь внизу все тихо, а там наверху — сменяются и бегут облака, и солнечный свет то показывается, то снова пропадает. Смотри, какие странные фигуры несутся там! Взгляни на эти длинные белые тени с чудовищно худыми ногами и крыльями летучей мыши. И как все спешит и меняется, тогда как здесь внизу не шелохнется ни один листок, ни одна травинка. Земля боязливо притаилась, как дитя, а через ее колыбель шагают привидения.

Валерио. Не знаю, чего вы хотите; я чувствую себя совсем уютно. Солнце выглядит как герб, прибитый над дверью гостиницы, а огненные облака — как надпись над ним: «Трактир Золотого Солнца». Земля и вода внизу расстилаются, как стол, на котором пролито вино, а мы лежим на нем, как колода карт, которыми иногда от скуки играет партию бог с дьяволом; вы король в этой колоде, я валет. Нехватает еще только дамы, прекрасной дамы с большим пряничным сердцем на груди и с огромным тюльпаном, в который она сентиментально погружает свой длинный нос.

Гувернантка и принцесса входят.

И — да, боже мой, вот и она! Правда, это в сущности не тюльпан, а понюшка табаку,

и это в сущности не нос, а хобот. (*Гувернантке*) Почему, дражайшая, вы шагаете так поспешно, что открываются ваши ноги и то, что когда-то было икрами, вплоть до ваших уважаемых подвязок?

Гувернантка (*страшно рассерженная, останавливается*). А почему, почтеннейший, вы так широко разеваете рот, что он зияет, как огромная дыра на горизонте?

Валерио. Для того, почтеннейшая, чтобы вы не расквасили себе нос о горизонт. Какой нос! Точно башня на Ливане против Дамаска.

Лена (*гувернантке*). Ну, дорогая моя, разве путь так длинен?

Леонс (*мечтательно, сам с собою*). О, каждый путь длинен. Медленно тикает в нашей груди древоточец, медленно стекают капли крови, и наша жизнь ползет, как изнурительная лихорадка. Для усталых ног каждый путь слишком длинен...

Лена (*которая слушает его, тревожно размышляя*). А для усталых глаз всякий свет слишком резок, для усталых губ каждое дуновение слишком тяжело. (*Улыбаясь*) А для усталых ушей каждое слово — лишнее. (*Входит вместе с гувернанткой в дом.*)

Леонс. О, дорогой Валерио, мне кажется, я говорил совсем меланхолично. Слава богу, я начинаю разрешаться от бремени меланхолией. Воздух уже более не так ясен и холоден, пылающее небо низко наклоняется ко мне, и падают тяжелые капли. О, этот голос: разве путь так длинен? Многие голоса говорят о земле, и кажется, что они говорят о других вещах, но этот голос

я понял. Он витает надо мною, как дух, который носился над водами еще раньше, чем был создан свет. Во мне что-то нарождается, что-то бродит в глубине, и в пространстве звучит этот голос: «Разве путь так длинен?» (Уходит.)

В а л е р и о. Нег, путь в сумасшедший дом совсем не длинен; его легко найти — я знаю туда все проселочные и шоссейные дороги и все тропинки. Я вижу его уже на широкой аллее перед сумасшедшим домом; в холодный зимний день, со шляпой подмышкой, он прячется в тени голых деревьев и обмахивается платком. Это помешанный! (Следует за ним.)

СЦЕНА 3

Комната

Л е н а, гувернантка.

Гувернантка. Не думайте об этом человеке.

Л е н а. Он был так стар со своими белокурыми кудрями, весна на щеках и зима в сердце! Это печально! Усталое тело везде найдет себе постель, но если дух устал, где отдохнет он? Мне пришла в голову ужасная мысль: я думаю, есть люди, которые несчастливы, неизлечимо несчастливы только потому, что они существуют. (Она поднимается.)

Гувернантка. Куда, дитя мое?

Л е н а. Я хочу вниз, в сад.

Гувернантка. Но...

Л е н а. Но, дорогая мамочка, ты знаешь, меня бы следовало, собственно, посадить в цветочный

горшок: мне нужна роса и ночной воздух, как цветам. Ты слышишь гармонию вечера? Как кузнечики убаюкивают день своими трелями, и ночные фиалки усыпляют его своим ароматом. Я не могу больше оставаться в комнате — стены давят меня.

СЦЕНА 4

Сад. Ночь и луна

Лена сидит на траве.

Валерио (в некотором отдалении). Хорошая штука природа, но она была бы еще прекраснее, если бы не было мошек, если бы кровати в гостинице были несколько чище и древооточцы не тикали бы так в стенах. Внутри храпят люди, а наружи квакают лягушки. Внутри кричат домашние сверчки, а наружи — полевые. Лягу я на твердую землю } — вот мое твердое решение. Милая трава! (Растягивается на траве.)

Леонс (входит). О ночь, благоуханная, как та первая ночь, которая опустилась над раем. (Замечает принцессу и потихоньку приближается к ней.)

Лена (про себя). Малиновка что-то прощелбала во сне! Ночь глубже погружается в сон, ее щеки бледнеют, ее дыхание становится тише. Месяц — как спящий ребенок, у которого золотые кудри во сне рассыпались по лицу. О, его сон — это смерть. Как мертвый ангел, покоится он на своей темной подушке, и звезды горят вокруг него, как свечи! Бедняжка! Он печален, мертв и так одинок.

Леонс. Встань в своем белом платье, иди за мертвым среди ночи и пой ему погребальную песню.

Лена. Кто это говорит?

Леонс. Сон.

Лена. Блаженны сны.

Леонс. Так спи блаженно, и пусть я буду твоим блаженным сном.

Лена. Смерть — самый блаженный сон.

Леонс. Так пусть я буду твоим ангелом смерти. Пусть мои губы, как его крылья, опустятся на твои глаза. (*Целует ее.*) Прекрасная покойница, ты так очаровательно отдыхаешь на черном покрывале ночи, что природа должна возненавидеть жизнь и влюбиться в смерть.

Лена. Нет, оставь меня! (*Она вскакивает и быстро удаляется.*)

Леонс. Слишком много! В одном этом мгновении было все мое бытие. Теперь умри! Больше невозможно. С какою свежестью, с какой сверкающей красотой подымается из хаоса навстречу мне творение! Земля — чаша червонного золота; как пенится в ней свет и переливается через края, и как ярко вспыхивают звезды. Эта капелька блаженства превращает и меня в драгоценный сосуд. Лети вниз, священный бокал. (*Он хочет броситься в реку.*)

Валерио (*вскакивает и удерживает его*). Стой, Serenissime!

Леонс. Оставь меня в покое.

Валерио. Я вас оставляю в покое, когда вы станете спокойны и обещаете мне оставить воду в покое.

Леонс. Дурак!

Валерио. Неужели, ваше высочество, вы еще не стали выше романтики лейтенантов: выбрасывать в окно стакан, из которого пили за здоровье возлюбленной?

Леонс. Я почти готов согласиться, что ты прав.

Валерио. Утешьтесь. Если эту ночь вы не будете спать под дерном, то во всяком случае вы будете спать на дерне. Было бы тоже покушением на самоубийство лечь в одну из здешних кроватей. Лежишь на соломе, как мертвый, а блохи кусают тебя, как живого.

Леонс. Пожалуй. (*Ложится на траву.*) Послушай! Ты помешал мне совершить прекраснейшее самоубийство! Во всю мою жизнь у меня уже не будет более такого великолепного мгновения для этого, да и погода так очаровательна. Впрочем, теперь я уже не в настроении. Этот парень со своей желтой жилеткой и небесно-голубыми штанами все мне испортил. Да ниспошлет мне небо здоровый пошлый сон!

Валерио. Аминь! А я спас человеческую жизнь, и моя чистая совесть будет сегодня ночью согревать мое тело вместо одеяла.

Леонс. На здоровье, Валерис!

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ

СЦЕНА 1

Леонс, Валерио.

Валерио. Жениться? С каких пор ваше высочество получили склонность связать себя навеки.

Леонс. Знаешь ли ты, Валерио, даже самый ничтожный из людей настолько велик, что жизни нехватит, чтобы любить его! И потом разве не могу я доставить удовольствие людям известного сорта, которые воображают, что ничто не может быть настолько прекрасным и священным, чтобы они не были в состоянии сделать его еще прекраснее и еще священнее. Есть что-то приятное в этой милой заносчивости. Почему бы мне и не поощрить ее?

Валерио. Очень гуманно и филобестияльно! Но знает ли она, кто вы такой?

Леонс. Она знает только, что она меня любит.

Валерио. А вы, ваше высочество, знаете, кто она такая?

Леонс. Дурак! Спроси гвоздику и жемчужину росы об их именах.

Валерио. Так значит она вообще есть нечто, если уже и это не кажется вам слишком неде-

ликтным и припахивающим описью примет. Но как же это сделать? Гм! Принц, буду ли я министром, если сегодня вы получите от вашего батюшки благословение на брак с этим несказаемым и безымянным? Даете вы слово?

Леонс. Честное слово.

Валерио. Бедняга Валерио имеет честь рекомендоваться его превосходительству господину государственному министру Валерио из Валериянталя. — «Что нужно этому парню? Я его не знаю. Прочь, негодай!»

Убегает, Леонс следует за ним.

СЦЕНА 2

Площадь перед дворцом короля Петера

Ландрат. Школьный учитель. Крестьяне в праздничных нарядах держат в руках еловые ветви.

Ландрат. Дорогой господин учитель! Как держатся ваши люди?

Школьный учитель. Они держатся в своих испытаниях настолько хорошо, что уже довольно давно стали держаться друг за друга. Они здорово накачиваются спиртом, иначе они не могли бы так долго выдержать на жаре. Эй, смелее, ребята! Держите еловые ветки прямо перед собою, чтобы можно было подумать, что вы — еловый лес, ваши носы — земляника, ваши треуголки — рога дичи, а ваши штаны из сленвей кожи — свет месяца. Да запомните: задние пусть все время перебегают вперед

и становятся впереди передних, чтобы имело такой вид, точно вас возвели в квадрат.

Ландрат. Но, господин школьный учитель, вы стоите за трезвость.

Школьный учитель. Само собою разумеется; я едва стою на ногах от трезвости.

Ландрат. Ну, смотрите, ребята. В программе стоит: «Все верноподданные, чисто одетые в праздничные костюмы, хорошо упитанные и с довольными лицами, выстраиваются вдоль большой дороги». Не осрамите нас!

Школьный учитель. Будьте терпеливы, не скребите затылков и не сморкайтесь, пока не проедет высокая чета, и показывайте надлежащие чувства, иначе к вам будут применены весьма чувствительные меры. Поймите, что для вас сделано: вас поставили так, что ветер будет тянуть на вас как раз из кухни, и вы получите возможность хоть раз в жизни ощутить запах настоящего жаркого. Помните свой урок? Ну-ка! Ви!

Крестьяне. Ви!

Школьный учитель. Ват!

Крестьяне. Ват!

Школьный учитель. Виват!

Крестьяне. Виват!

Школьный учитель. Так-то, господин ландрат. Видите, как поднимается просвещение. Подумайте, ведь это латынь! А сегодня вечером, на торжестве, мы устроим транспарант из дыр на наших штанах и куртках и набьем себе кулаками кокарды на головах.

СЦЕНА 3

Большой зал, разодетые господа и дамы, тщательно расставленные

Церемониймейстер с несколькими, слугами на авансцене.

Церемониймейстер. Беда да и только! Все идет прахом. Жаркое пережарилось. Все поздравления перестоялись. У крестьян опять начинают отрастать ногти и бороды. У солдат развились локоны. Из двенадцати невинных девиственниц нет ни одной, которая предпочла бы вертикальное положение горизонтальному. В своих белых платьицах они выглядят, как измученные ангорские кролики, а придворный поэт хрюкает среди них, как огорченная морская свинка. Господа офицеры потеряли свою осанку, а придворные дамы стоят и вытапливают из себя соль, которая кристаллизуется у них на ожерельях.

Первый слуга. Они по крайней мере устраиваются удобно; про них уж никак не скажешь, что они слишком обременяют себя. Если они сами и не откровенны, зато костюмы их вполне откровенны.

Церемониймейстер. Да, это хорошие карты Турецкой империи: видны и Дарданеллы и Мраморное море. Прочь вы, бездельники! К окнам! Вот идет его величество!

Король Петер и государственный совет
входят.

Петер. Итак, исчезла также и принцесса. Все еще не найдено никаких следов нашего воз-

любленного наследного принца? Выполнены ли мои приказы? Установлено ли наблюдение за границами?

Церемониймейстер. Да, ваше величество. Вид из этого зала позволяет нам осуществить самое строгое наблюдение. (К первому слуге) Что ты видел?

Первый слуга. Собаку, которая пробежала через наше государство в поисках своего хозяина.

Церемониймейстер (другому). А ты?

Второй слуга. Кто-то прогуливается на северной границе, но это не принц, я мог бы отсюда его узнать.

Церемониймейстер. А ты?

Третий слуга. Прошу прощения. — ничего.

Церемониймейстер. Это очень немного. А ты?

Четвертый слуга. Также ничего.

Церемониймейстер. Это столь же мало.

Петер. Но послушайте, государственный совет, разве не издано постановление, что сегодня мое королевское величество имеет радоваться и праздновать свадьбу? Не таково ли было наше неизблемое решение?

Председатель. Да, ваше величество, так это запротоколировано и зарегистрировано.

Петер. А не скомпрометирую ли я себя, если я не выполню своего постановления?

Председатель. Если бы для вашего величества вообще было возможно себя скомпрометировать, то именно этот случай мог бы быть компрометирующим.

Петер. Разве не дал я своего королевского слова? Да, я тотчас же начну выполнять свое

постановление, я буду радоваться. (Он потирает себе руки.) О, я чрезвычайно рад!

Председатель. Мы все разделяем чувства вашего величества, поскольку это возможно и прилично для подданных.

Петер. О, я не знаю, что делать от радости. Я велю шить для моих камергеров красные кафтаны, я произведу некоторых кадетов в лейтенанты, я разрешу моим подданным... но, но как же свадьба? Не гласит ли вторая половина постановления, что должна праздноваться свадьба?

Председатель. Да, ваше величество.

Петер. Но если принца нет в наличности, да и принцессы тоже?

Председатель. Да, если нет в наличности принца, а также и принцессы, то, то...

Петер. То, то?

Председатель. То они не могут сочетаться браком.

Петер. Стой! Логично ли это умозаключение? Если — то. Правильно! Но мое слово, мое королевское слово!

Председатель. Да послужит вашему величеству утешением пример других монархов. Королевское слово есть вещь — есть вещь — есть вещь, которая не значит ничего.

Петер (слугам). Вы все еще не видите ничего?

Слуги. Ничего, ваше величество. Как есть ничего.

Петер. А я постановил радоваться! Я хотел начать как-раз в тот момент, когда колокол пробьет двенадцать, и радоваться сплошь целые

двенадцать часов — я начинаю впадать в меланхолию.

Председатель. Всем подданным будет предложено разделить чувства вашего величества.

Церемониймейстер. Однако тем, у кого нет носовых платков, будет воспрещено плакать по соображениям благопристойности.

Первый слуга. Стоп! Я что-то вижу! Это какое-то возвышение, как будто бы нос — все остальное еще по ту сторону границы; и потом я вижу еще мужчину, потом еще две особы разного пола.

Церемониймейстер. Куда они идут?

Первый слуга. Они приближаются. Они идут ко дворцу. Вот они уже здесь.

Валерио, Леонс, гувернантка и принцесса
входят замаскированные.

Петер. Кто вы такие?

Валерио. А почему я знаю? *(Он медленно снимает с себя одну за другой несколько масок.)* Кто я? Вот это? Или это? Или это? Воистину, мне самому становится жутко, мне кажется, я мог бы всего себя исшелушить до конца.

Петер *(смущенно)*. Но? Но чем-нибудь вы должны же все-таки быть?

Валерио. Если вы, ваше величество, так приказываете. Но если так, милостивые государи, поверните зеркала обратной стороной, спрячьте немножко ваши яркие пуговицы и не смотрите на меня так, чтобы я отражался в ваших глазах, или я по совести уже не знаю больше, что я такое.

Петер. Этот человек сконфузил меня, я в отчаянии. Я в высшей степени смущен.

Валерио. Но, собственно говоря, я хотел сообщить высокому и почтенному обществу, что вот это — два вновь прибывшие всемирно известные автомата и что я, быть может, третий и самый замечательный из них; если я толком не знаю, кто я такой, то этому не следует удивляться, так как я ничего не знаю даже о том, что говорю, и, быть может, не знаю и того, что я этого не знаю; поэтому в высшей степени вероятно, что меня лишь заставляют так говорить и что в сущности все это говорят валики и раздуваемые меха. (*Дребезжащим голосом*). Вы видите здесь перед собою, милостивые государи и милостивые государыни, двух лиц обоего пола, самца и самочку, господина и даму. Здесь нет ничего, кроме искусства и механики, ничего, кроме пружин и футляров из папье-маше. У каждого из них имеется тончайшая пружинка на рубине, под ногтем маленького пальца правой ноги; стоит надавить ее немножко, и механизм идет целые пятьдесят лет. Эти личности так великолепно сработаны, что их совсем нельзя было бы отличить от других людей, если бы не было известно, что они сделаны из папье-маше; в сущности, их вполне можно было бы включить в члены человеческого общества. Они очень благородны, ибо говорят на верхнегерманском наречии. Они очень нравственны, ибо встают по звонку, садятся за обед по звонку и по звонку ложатся в постель; они имеют вместе с тем хорошее пищеварение, что доказывает, что у них чистая совесть. Они

имеют тонкие нравственные чувства, ибо даме неизвестно слово для выражения понятия брюки, а для господина совершенно невозможно взойти вслед за женщиной на лестницу или впереди женщины спуститься с лестницы. Они очень образованы, ибо дама поет все новые оперы, а господин носит манжеты. Обратите внимание, милостивые государи и милостивые государыни, они находятся сейчас в интересной стадии: механизм любви начинает действовать, господин уже несколько раз нес шаль дамы, дама уже несколько раз вскидывала глаза и смотрела на небо, оба они уже неоднократно шептали: вера, любовь, надежда! Оба они уже совсем спелись между собою, нехватает только маленького словечка: аминь.

Петер (*приложив палец к носу*). In effigie? Заочно? Председатель — если человека повесить заочно — ведь это то же самое, как бы он был повешен по-настоящему?

Председатель. Прошу прощения, ваше величество, это еще гораздо лучше, потому что он при этом несколько не страдает, а все-таки повешен.

Петер. Так, теперь я нашел выход. Мы отпразднуем свадьбу in effigie. (*Показывая на Лену и Леонса*). Пусть это будет принцесса, а это принц. Я осуществляю мое постановление, я буду радоваться. Велите звонить в колокола, приготовьте ваши поздравления. Живее, господин придворный проповедник.

Придворный проповедник выступает вперед, откашливается, несколько раз взглядывает на небо.

Валерио. Начинай же! Отбрось свои проклятые гримасы и начинай. К делу!

Придворный проповедник (*в величайшем смущении*). Ежели мы — или — однако...

Валерио. Понеже и поелику.

Придворный проповедник. Ибо —

Валерио. Это было до сотворения мира —

Придворный проповедник. Что —

Валерио. Богу стало скучно —

Петер. Только пожалуйста сократите, добрейший.

Придворный проповедник (*овладевая собою*). Если угодно вашему величеству — принц Леонс из царства Попо — и, если угодно вашему величеству — принцесса Лена из царства Пипи, — и если обоюдно угодно вашим высочествам сочетаться друг с другом браком, то произнесите ясно и отчетливо: да.

Лена и Леонс. Да.

Придворный проповедник. Тогда я говорю: аминь!

Валерио. Хорошо сработано: кратко и крепко; так же были созданы мужчина и женщина; и все звери в раю стоят кругом них.

Леонс снимает маску.

Все. Принц!

Петер. Принц! Мой сын! Я погиб! Я обманут! (*Подступает к принцессе.*) А кто же эта особа? Я велю все объявить недействительным.

Гувернантка (*снимая с принцессы маску, торжествующе*). Принцесса!

Леонс. Лена?

Лена. Леонс?

Леонс. Ай, Лена, мне кажется, это было бегство в рай.

Лена. Я обманута.

Леонс. Я обманут.

Лена. О случай!

Леонс. О провидение!

Валерио. Что смешно, то смешно! Ваши высочества наткнулись друг на друга совершенно случайно; но я надеюсь, что в угоду случаю вы сумеете угодить друг другу.

Гувернантка. Наконец-то мои старые глаза это увидели! Странствующий сын короля! Теперь я могу умереть спокойно.

Петер. Мои дети! Я тронут. Я в высшей степени растроган. Я счастливейший из людей. Сим я торжественно слагаю в твои руки, мой сын, бразды правления и тотчас же без помехи начну мыслить. Мой сын! Ты оставишь мне этих мудрецов (*он указывает на государственный совет*), чтобы они оказали мне поддержку в моих усилиях. Пойдемте, господа, мы должны мыслить, мыслить без помехи! (*Он удаляется в сопровождении государственного совета.*) Этот человек сконфузил меня, надо собраться с мыслями.

Леонс (*присутствующим*). Милостивые государи! Моя супруга и я бесконечно сожалеем, что вы сегодня ради нас так долго оставались при исполнении своих обязанностей. Состояние наше настолько тяжелое, что я ни за какие деньги не согласился бы дольше испытывать вашу выносливость. Ступайте теперь домой, но не забывайте ваших речей, проповедей и стихов, ибо завтра мы, не спеша и не волнуясь, начнем

еще раз всю историю с самого начала. До свиданья!

Все удаляются, кроме Леонса, Лены, Валерио и гувернантки.

Леонс. Ну, Лена? Как видишь, у нас карманы полны теперь куклами и всякого рода игрушками. Что же мы будем с ними делать? Наклеим им усы и навесим сабли? Или оденем их во фраки и заставим заниматься скрупулезной политикой и дипломатией, а сами присядем тут же с микроскопом? Или, быть может, тебе больше нравится шарманка, по которой шмыгают молочно-белые эстетические мышки? Не выстроить ли нам театра? (Лена прислоняется к нему и качает головой.) Нет, я лучше знаю, чего ты хочешь: мы разобьем все часы, запретим все календари и будем считать часы и месяцы, глядя, как растет трава, цветут цветы и зреют плоды. А потом мы поставим вокруг нашей маленькой страны зажигательные стекла, чтобы в ней не было больше зимы, чтобы у нас было вечное лето, как в Исихи или на Капри, и круглый год будем сидеть среди роз и фиалок, среди апельсинов и лавров.

Валерио. А я буду государственным министром, и будет издан декрет, что подлежит каре всякий, кто натирает себе на руках мозоли; и что всякий, кто работает через силу, привлекается к суду; что всякий, кто хвалится тем, что ест хлеб в поте лица своего, объявляется сумасшедшим и опасным для человеческого общежития; потом мы растянемся в тени и будем молить бога, чтобы он ниспослал нам макароны, дыни, фиги, музыкальные глотки, античные тела и новую религию.



ВОИЦЕК

Сцены из неоконченной
драмы

ПОЛЕ

Вдали виден город

Войцек и Андрей режут прутья в кустах.

Войцек. Да, Андрей, вон там, где полоска на траве — вечером вдруг и катится голова. Один какой-то поднял ее, думал, что это еж; три дня и три ночи пролежала она там на стружках. (Потихоньку) Андрей! Это сделали франк-масоны, я знаю, это франк-масоны. Тише!

Андрей (поет).

Там два зайца по утрам
Грызли, грызли стебли трав...

Войцек. Тише! Там кто-то есть!

Андрей.

Грызли, грызли стебли трав.
Дочиста их сгрызли.

Войцек. Кто-то позади меня, подо мною. (Топает ногою по земле.) Пустота, — слышишь ты? Все пусто там внизу. Это франк-масоны!

Андрей. Я боюсь.

Войцек. Как тихо. Страшно дух перевести!
Андрей!

Андрей. Что?

Войцек. Скажи что-нибудь! (Пристально смотрит вдаль.) Андрей! Как ярко! Огонь катится вокруг неба. И какой гул! точно трубы

трубят. Вот надвигается! Прочь отсюда! Не оглядывайся. *(Тащит его в кусты.)*

А н д р е й *(помолчав)*. Войцек, ты все еще слышишь?

В о й ц е к. Тихо. Теперь совсем тихо. Как будто все вымерло.

А н д р е й. Слышишь? Барабанный бой. Бежим!

ГОРОД

М а р и я *(с ребенком у окна)*, М а р г а р и т а. Проходит отряд солдат с тамбур-мажором впереди, играют вечернюю зорю.

М а р и я *(качая на руке ребенка)*. Ну, малыш! Та-ра-ра-рам! Слышишь? Вот они идут!

М а р г а р и т а. Что за мужчина! Точно тополь!

М а р и я. И как выступает — ну, прямо лев.

Т а м б у р - м а ж о р кланяется.

М а р г а р и т а. Ай, ай, соседка, какой приветливый взгляд! Не ожидала я этого от вас.

М а р и я *(поет)*. Солдаты — славные ребята...

М а р г а р и т а. А глаза все еще блестя.

М а р и я. А хоть бы и так. А ты снеси-ка свои глаза жиду — в чистку; может и они так заблестят, что ты их продашь за пару пуговиц.

М а р г а р и т а. Что? Ты-ты! Ах ты, девка! Я честная женщина, а твои бесстыжие глаза семь пар кожаных штанов насквозь проглядели.

М а р и я. Стерва! *(Захлопывает окошко.)* Идем, мой мальчик! И чего этим людям надо?

Бедный ты мой приبلудный ребеночек, и хоть бесчестное твое личико, а все-таки радуется оно твою маму. Ла-ла-ла! (поет.)

Девчонка шальная, что делать тебе?
Нет мужа, а в люльке малютка лежит!
А впрочем, что спрашивать? Эка беда!
Всю долгую ночь я пою:
Баюшки, баю, баю!
Никого мне не надо тогда.
Запряги, Ваня, шесть лошадей,
Дай им свежего корму скорей!
Золотого овса не берут они,
И воды ключевой не пьют они,
Хотят кони холодного вина, эх-ма!
Только одного холодного вина.

Стучат в окно.

Мария. Кто там? Это ты, Франц? Входи!

Войцек. Не могу. Мне надо на переключку.

Мария. Что с тобою, Франц?

Войцек (таинственно). Мария. Опять не ладно; очень — ведь недаром написано: и смотри, вот дым пошел от земли, как дым из печи.

Мария. Да что ты!

Войцек. Оно гналось за мною по пятам до самого города. Что же это будет?

Мария. Франц!

Войцек. Мне надо идти. (Уходит.)

Мария. Что с ним? Как расстроен, даже не взглянул на своего ребенка! Ум заходит у него за разум! Ты что так притих, малыш? Боишься? Как потемнело; сидишь, словно слепая. А ведь сюда должен бы светить фонарь. Не могу больше; мне страшно! (Уходит.)

БАЛАГАНЫ

Яркое освещение. Толпа.

З а з ы в а т е л ь перед балаганом. Господа! Почтеннейшие господа! Видите вы эту тварь, как она создана господом богом: никудышная, совсем никудышная. А теперь посмотрите, что сделало из нее искусство: ходит на задних ногах, носит штаны и сюртук, имеет саблю. Гоп, гоп. Ну-ка, раскланяйся! Так, — ты настоящий барон. Пошли воздушный поцелуй! (*Он трубит.*) Музыкальная bestия. Господа, здесь можно видеть астрономическую лошадь и маленьких птичек с Канальских островов. Фавориты всех коронованных особ. Представление начинается. Сейчас начало с самого начала. Приступаем: *Commencement du commencement.*

В о й ц е к. Хочешь?

М а р и я. Ну, что же, пожалуй. Это должно быть занято. Какие у него кисточки! А женщина в штанах!

Т а м б у р - м а ж о р. Стоп! Вот она — видишь ты? Вот эта женщина!

У н т е р - о ф и ц е р. Чорт! годится, чтоб наплодить кирасиров.

Т а м б у р - м а ж о р. И для приплода тамбурмажоров.

У н т е р - о ф и ц е р. Как она держит голову! Черные косы, как гири, тянут ее книзу, а глаза. . .

Т а м б у р - м а ж о р. Глядишь в них, словно в колодезь или в печную трубу. Ну, что же? Идем за нею!

ВНУТРЕННОСТЬ БАЛАГАНА

Дрессировщик. Покажи свой талант! Покажи свой скотский разум! Посрами человеческое общество! Милостивые государи, это животное, которое вы видите перед собою, как есть с хвостом и со всеми четырьмя копытами, есть член всех ученых обществ и профессор нашего университета, где студенты обучаются у него ездить верхом и биться. — Но это еще простой рассудок: — Теперь подумай-ка своим сугубым разумом! Что делаешь ты, когда думаешь сугубым разумом? Ну-ка отвечай: есть ли тут среди ученого общества осел? (*Лошадь кивает головой.*) Вот видите, каков у нее сугубый разум. Это физиономика.* Да, это не просто глупая скотина, а индивидуум, это личность, человек, животный человек — и все же скотина, bête! (*Лошадь ведет себя неприлично.*) Так! Посрами общество! Вы видите, это животное — еще сама природа. Не идеальная природа. Учитесь же у него! Спросите у врача, удерживаться очень вредно! Она хотела сказать: человек, будь естественным! Ты сотворен из праха, земли и навоза. Почему же ты хочешь быть больше, чем прах, земля и навоз. Смотрите, какой разум: она может вычислять, хотя и не в состоянии считать по пальцам. Что же? Это превращенный человек! Она не может только выразить словами, объясниться. А ну-ка скажи господам,

* В подлиннике непереводаемая игра слов: дрессировщик производит „физиономика“ от немецкого Vieh — скотина — Viehsionomik.

сколько теперь времени. У кого из господ или дам есть часы? Часы?

Унтер-офицер. Часы? (Величественно и медленно вытаскивает из кармана часы.) Вот вам, почтеннейший!

Мария. Это я должна видеть. (Карабкается на первое место; унтер-офицер помогает ей.)

Тамбур-мажор. Вот эта женщина!

КОМНАТКА МАРИИ

Мария (сидит, на коленях у нее ребенок, в руке кусочек зеркала; она смотрится в зеркало). Как блестят камни! Какие это! Как он сказал. — Спи, малыш! Закрой глаза крепче! (Ребенок закрывает глаза руками.) Еще крепче! Так. Тихо лежи. А то он тебя утащит! (Поет)

Спи, спи, моя деточка, глазки закрой,
 Не то цыганенок придет за тобой,
 Он крепко ухватит тебя за ручонку,
 Утащит с собой на чужую сторону.

(Снова смотрится в зеркало). Наверное это золото. У нашей сестры ведь нет ничего, кроме тесного уголка да кусочка зеркала — и все-таки губы у меня красные, не хуже, чем у самой важной мадам, у которой зеркала сверху донизу и красивые господа целуют ручки. Я только бедная женщина. (Ребенок поднимается.) Тихо, малыш, закрой глаза. Спи, мой милый! Вон ангелок бегаёт по стене. (Пускает зайчика от зеркала.) Закрой глазки, а то вскочит он в тебя, и ты ослепнешь.

Войцек входит, останавливается позади нее. Она вскакивает, закрывает руками уши.

Войцек. Что с тобою?

Мария. Ничего.

Войцек. Под твоими пальцами что-то блестит.

Мария. Сережки; я их нашла.

Войцек. А я вот никогда еще не находил. Да еще обе сразу!

Мария. Кто же я такая по-твоему?

Войцек. Ну, ладно, Мария. Как спит мальчишка! Поправь ему ручки, ему больно от стула. Ишь, капельки выступили на лбу; все-то здесь на земле труд. Даже сон — и тот заставляет потеть. Бедные мы люди! Вот, возьми опять деньжонок, Мария; жалование и еще кое-что от моего капитана.

Мария. Бог наградит тебя, Франц.

Войцек. Мне надо итти. До вечера, Мария! Прощай!

Мария (*одна, после некоторого молчания*). А все-таки я скверная баба! Я готова горло себе перерезать. — Ах, что только делается на свете! И все пойдет в чорту — мужчины и женщины!

У КАПИТАНА

Капитан сидит на стуле, Войцек бреет его.

Капитан. Не спеши, Войцек, не спеши; одно за другим! У меня просто голова идет от тебя кругом. И если ты на десять минут раньше кончишь меня брить, куда я дену это время? Войцек, подумай-ка — ведь тебе предстоит еще тридцать длинных лет жизни. Тридцать лет!

Ведь это триста шестьдесят месяцев, а сколько дней, часов, минут! Куда ты денешь такое огромное количество времени? Ты должен это серьезно обдумать, Войцек!

Войцек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Мною овладевает ужасная тревога за весь мир, когда я подумаю о вечности. Работай, Войцек, работай! Вечный — это значит вечный; вечный — это ты понимаешь; и однако, опять-таки не вечный, а только миг, да, один миг. Войцек, меня охватывает страх, когда я подумаю, что земля в сутки оборачивается вокруг себя. Какая растрата времени! И к чему это? Войцек, я не могу больше видеть мельничного колеса — оно наводит на меня меланхолию.

Войцек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Войцек, у тебя всегда такой возбужденный вид! Хороший человек не должен быть таким, — хороший человек, у которого чистая совесть. Скажи же что-нибудь, Войцек! Какая сегодня погода?

Войцек. Плохая, господин капитан, плохая: ветер!

Капитан. Да, я уже чувствую, что там наружи что-то быстрое; этакий ветер производит на меня такое же впечатление, как мышьяк (лукаво) — мне кажется, ветер дует с северо-юга?

Войцек. Так точно, господин капитан.

Капитан. Ха, ха, ха! С северо-юга! Ха, ха, ха! О, ты глуп, ты ужасно глуп. (Растроганно) Войцек, ты хороший человек — но (с достоинством), но, Войцек, у тебя нет морали. Мораль — это когда человек морален — понимаешь. Это хорошее слово. У тебя родился ре-

бенок без благословения церкви. А, как говорит наш высокоуважаемый господин гарнизонный проповедник, если без благословения церкви, то это не от бога.

Войцек. Господин капитан, неужели же бог поставит в вину бедному ребеночку, что он был сделан раньше, чем сказали аминь? Ведь господь сказал: пустите детей приходить ко мне.

Капитан. Что это ты говоришь? Что это за курьезный ответ? Ты совсем привел меня в смущение своим ответом. Я тебе это говорю, тебе...

Войцек. Мы бедные люди... Видите ли, господин капитан, на все нужны деньги, деньги! А у кого нет денег... Приходится уже рождать на свет себе подобных без морали. Ведь и в нас тоже есть плоть и кровь. Нашему брату нет счастья ни на этом, ни на том свете. Я думаю, когда мы попадем на небо, нас заставят помогать грому греметь.

Капитан. Войцек, у тебя нет добродетели. Ты не добродетельный человек. Плоть и кровь? Когда я сижу у окна во время дождя и гляжу, как белые чулочки прыгают через лужи по улицам — чорт меня побери, Войцек, — тогда на меня находит любовь. И у меня плоть и кровь. Но, Войцек, добродетель, добродетель! Не будь ее, как бы проводил я время? Но я всегда говорю себе: ты добродетельный человек (*растроганно*) хороший человек, хороший человек!

Войцек. Да, господин капитан. Добродетель, не знаю я, как с нею быть. Видите ли, мы простой народ, у нас нет добродетели. Мы делаем то, чего требует природа; но если бы

я был барином, имел шляпу и часы, носил бы манжеты и умел говорить по-благородному, тогда бы уж я стал добродетелен. Ведь это должно быть хорошая вещь, — добродетель, господин капитан. Но я только бедняк.

Капитан. Хорошо, Войцек, ты хороший человек, хороший человек. Но ты слишком много думаешь — это тебя гложет; ты выглядишь всегда таким возбужденным. — Разговор с тобою меня совсем расстроил. Ступай теперь. Только не беги так; медленно, потихонечку спускайся по улице.

ПЕРЕД КОМНАТОЙ МАРИИ

Мария, тамбур-мажор.

Тамбур-мажор. Мария!

Мария (*глядя на него, с чувством*). Ну-ка, пройдишь передо мной! — Грудь-то у тебя, как у быка. А борода, как у льва. Нет другого такого! — Я горжусь тобою перед всеми женщинами.

Тамбур-мажор. Нет, вот когда я по воскресеньям надеваю султан и белые перчатки — гром и молния! Принц говорит всегда: ну, парень, ты молодчина!

Мария (*насмешливо*). Скажите пожалуйста! (*Становится перед ним.*) Ну-ка!

Тамбур-мажор. И ты тоже баба хоть куда. Чорт подери, разведем мы с тобою маленьких тамбур-мажоров? А? (*Обнимает ее.*)

Мария (*сердито*). Оставь меня!

Тамбур-мажор. У, дикая зверюга!

Мария (*резко*). Ну-ка, тронь меня!

Т а м б у р - м а ж о р. Дьявол у тебя в глазах.
М а р и я. Пусть! Все одно.

КОМНАТА МАРИИ

М а р и я, В о й ц е к.

В о й ц е к (*пристально смотрит на Марию и качает головой*). Гм! Я ничего не вижу, я ничего не вижу. А надо бы поглядеть, надо бы пощупать кулаками.

М а р и я (*робко*). Да что с тобой, Франц? Ты очумел, Франц?

В о й ц е к. Грех, да такой большой, такой жирный! — И так воняет, что может всех ангелочков выгнать отсюда на небо. У тебя красные губы, Мария, а нет ли на них мозолей? Мария, ты красива, как грех — может ли смертный грех быть таким красивым?

М а р и я. Франц, ты бредишь, как в горячке.

В о й ц е к. Чорт! — Ведь он стоял здесь — вот здесь, здесь?

М а р и я. День велик, а мир не первый день стоит, много людей могло перебивать на этом месте.

В о й ц е к. Я видел его.

М а р и я. Много можно увидеть, коли имеешь два глаза и не слеп и солнце светит.

В о й ц е к. Тварь! (*Бросается к ней*.)

М а р и я. Не тронь меня, Франц. Лучше уж всади мне нож в сердце, только не трогай меня руками.

В о й ц е к. Нет, женщина, нет, в тебе что-то сидит. Каждый человек — пропасть; голова закружится, коли заглянуть туда.

У ДОКТОРА

Войцек, доктор.

Доктор. Что же это такое, Войцек? Клянись честью!

Войцек. А что, господин доктор?

Доктор. Я видел, Войцек: ты мочился на улице, мочился на стену, как собака, а получаешь три гроша каждый день! Войцек, это худо; мир становится плох, очень плох.

Войцек. Но, господин доктор, ежели кому природа не позволяет.

Доктор. Природа не позволяет, природа не позволяет! Природа! Разве я не доказал, что *Musculus constrictor vesicae* * подчиняется нашей воле? Природа! Войцек, человек свободен, в человеке индивидуальность возвышается до свободы. Не уметь удержать мочу! (*Качает головой, закладывает руки за спину и ходит взад и вперед.*) Ты уже съел горох, Войцек? Революция произойдет в науке, я взорву ее на воздух. Мочевины 0,10, солянокислый аммоний, перекись закиси — Войцек, может быть, ты опять хочешь помочиться? Тогда иди, попробуй!

Войцек. Я не могу, господин доктор.

Доктор (*с пафосом*). Но мочиться на стену! Я готов засвидетельствовать это письменно с приложением моей руки. Я видел это своими собственными глазами — я как-раз выставил нос в окошко и впустил в него солнечные лучи, чтобы изучать чихание (*подходит к нему*). Нет, Войцек, я не сержусь на себя; сер-

* Мускул, запирающий отверстие мочевого пузыря.

диться не здорово и не научно. Я спокоен, совершенно спокоен; мой пульс, как всегда, 60, и я разговариваю с тобою в высшей степени хладнокровно. Избави нас бог сердиться на человека, на человека! Ведь если бы он был еще обманчивым Протеем! Но, Войцек, ты все-таки не должен был мочиться на стену.

Войцек. Видите ли, господин доктор, у некоторых уж такой характер, такое телосложение. Но супротив природы ничего не поделаешь, видите ли. Природа (*он щелкает пальцами*) это такая штука, — как бы вам сказать, к примеру. . .

Доктор. Войцек, ты опять философствуешь.

Войцек (*конфиденциально*). Господин доктор, а видали вы когда сугубую природу? Бывает это в полдень, когда солнце жарит и точно весь мир в огне; тут уже не раз со мной говорил страшный голос.

Доктор. Войцек, у тебя аберрация.

Войцек (*приставляет палец к носу*). Грибы, господин доктор, вот в чем сила. Видали ли вы когда-нибудь, какими фигурами растут они на земле? Кто может их прочитать!

Доктор. Войцек, у тебя великолепная *Aberratio mentalis partialis* * второго вида, прекрасно выраженная. Войцек, у тебя будет осложнение. Второй вид — навязчивая идея, но в остальном субъект остается вполне разумным. Ты сейчас все делаешь, как всегда, брешь своего капитана?

Войцек. Так точно.

* Частичное умопомрачение.

Доктор. Ешь горох?
 Войцек. Очень аккуратно, господин доктор.
 Деньги на хозяйство получает моя жена.
 Доктор. Несешь службу?
 Войцек. Так точно.
 Доктор. Интересный случай. Субъект Войцек, у тебя будет осложнение, мужайся! Покажи-ка пульс. М-да!

УЛИЦА

Капитан, доктор (капитан, тяжело дыша, спускается по улице, останавливается; отдувается и осматривается).

Капитан. Господин доктор, мне даже лошадей жалко, когда я подумаю, что бедные животные всегда должны ходить пешком. Не бегите вы так! Не вращайте так вашей палкой в воздухе! Вы точно гонитесь за смертью. Хороший человек, у которого чистая совесть, не ходит так быстро. Хороший человек (*он берет доктора за сюртук*)... Господин доктор, разрешите мне спасти жизнь человеческую; вы так летите... Господин доктор, я так удручен. Со мной происходит что-то фантастическое; я всегда плачу, когда вижу, как мой сюртук висит на стене — точно он повешен.

Доктор. Гм! Отеки, ожирение, толстая шея, апоплексическое сложение. Да, господин капитан, вы можете получить *apoplexia cerebris*. * Но, быть может, она поразит у вас только одну сторону, и тогда лишь одна сторона будет парализована, или же в лучшем случае у вас будут

* Апоплексия мозга.

парализованы только умственные способности, и вы будете продолжать жить растительной жизнью: таковы приблизительно ваши перспективы на ближайший месяц! Могу, впрочем, вас заверить, что вы представляете интересный случай, и если, даст бог, у вас будет частично парализован язык, мы проделаем бессмертный эксперимент.

Капитан. Господин доктор, не пугайте же вы меня; ведь не раз уже случалось, что люди умирали от страха, от одного только страха. Я уже вижу людей с лимонами в руках; но они скажут, что это был хороший человек, хороший человек... чорт! гробовой гвоздь!

Доктор. Что такое, господин капитан? Вот пустоголовый!

Капитан. Что такое, господин доктор? Вот болван!

Доктор. Честь имею кланяться, достопочтенный гарнизонный одер!

Капитан. И я со своей стороны, уважаемый господин гробовой гвоздь!

КАРАУЛЬНАЯ КОМНАТА

Войцек, Андрей.

Андрей (*поет*).

Ловкая у барыни служанка,
Заберется в садик спозаранку...

Войцек. Андрей!

Андрей. Ну?

Войцек. Хорошая погода.

А н д р е й. Солнце! как есть воскресная погода! Перед городом музыка. Бабенки первые высыпали туда; от людей пар идет, здорово!

В о й ц е к (с беспокойством). Пляшет, Андрей, она пляшет.

А н д р е й. Ну и пускай себе.

В о й ц е к. Пляшет, пляшет!

А н д р е й. Да шут с ней! (Поет)

Заберется в садик спозаранку,
День и ночь сидит себе в саду одна;
Поджидает там солдатиков она.

В о й ц е к. Андрей, нет мне покоя.

А н д р е й. Дурак!

В о й ц е к. Мне нужно уйти отсюда. Все вертится у меня перед глазами. Пляши, пляши! Какие будут у нее горячие руки! Проклятие! Андрей!

А н д р е й. Чего это ты?

В о й ц е к. Я должен уйти, я должен поглядеть.

А н д р е й. А ну тебя к чорту!

В о й ц е к. Я должен уйти. Здесь так жарко.

ТРАКТИР

Окна открыты, танцуют. Скамьи перед домом. Парни.

Первый подмастерье.

Щеголяю в чужой рубахе я,
Провоняла вся водкой душа моя.

Второй подмастерье. Брат, хочешь, я по дружбе просверлю дыру в твоём естестве?

Вперед! Я хочу просверлить дыру в естестве. Я тоже малый не промах — ты знаешь. Я у тебя передаваю всех блох на теле.

Первый подмастерье. Провоняла вся водкой душа моя, да, душа моя! Даже деньги и те — прах и тлен! Эх, незабудочка. Как этот мир хорош! Брат, я хотел бы выцедить целую бочку! Я хотел бы, чтобы наши носы были бутылками и мы могли бы наливать из них друг другу прямо в глотки.

А н д р е й (в хоре)

Ехал охотник из Пфальца
Лесом зеленым с развальцей;
Охотился весело он, тра-ла-ла!
Был радостно встречен дубравой
Егерь из Пфальца наш бравый.

Войцек (становится у окна. Мария и танбур-мажор, танцующая, проходят мимо, не замечая его). Он! Она! Чорт!

М а р и я (танцующая). Шибче, шибче!

Войцек (задыхаясь). Шибче — шибче! (Быстро вскакивает и снова опускается на скамью.) Шибче, шибче! (Сжимает руки.) Вертитесь, крутитесь! Пусть господь задует солнце, чтобы все закрутились в распутстве — мужчины и женщины, люди и скотина. Валяй среди бела дня, у всех на виду, точно мухи. Женщина — женщина, вся горит, горит! Шибче, шибче! (Вскакивает.) Мерзавец, как он облапил ее! Все ее тело! Он с ней теперь, как я вначале.

Первый подмастерье (ораторствует, стоя на столе). Однако путник, который стоит, прислонившись, у потока времени или вопро-

шает божественную мудрость и говорит: зачем существует человек? Зачем человек? Но, говорю я вам, чем же жил бы земледелец, ткач, сапожник, чем мог бы жить врач, если бы бог не создал человека? И чем жил бы портной, если бы бог не привил человеку чувства стыда, и чем жил бы солдат, если бы бог не снабдил человека потребностью убивать? А потому отбросим всякие сомнения — да, да, это прекрасный мир, но все здесь на земле не прочно, даже деньги и те — глени и прах. В заключение, мои дорогие слушатели, помочимся через крест, чтобы умер жид!

ПОЛЕ

В о й ц е к. Шибче! Шибче! — Молчи, музыка! (*Растягивается на земле.*) Ха! Что? Что вы говорите? Громче! Громче! Заколи, заколи волчицу? — Заколи, заколи... волчицу! Могу ли я? Должен ли я? Что я слышу? И ветер говорит то же? Всюду, всюду я слышу: заколи насмерть, насмерть!

КОМНАТА В КАЗАРМЕ

Ночь. Андрей и Войцек в одной постели.

В о й ц е к (*грясет Андрея*). Андрей, Андрей! Я не могу спать! Как закрою глаза — вертится и вертится, и я слышу скрипки, шибче, шибче! И потом голос из стены. Ты ничего не слышишь?

А н д р е й. Да ну ее. Пусть пляшет! Уж и устал же я. Господи, спаси нас, аминь.

Войцек. Он все говорит: заколи, заколи!
И перед глазами у меня точно ножик —

Андрей. Тебе надо водки выпить и порох
в ней размешать. Это прогоняет горячку.

ТРАКТИР

Тамбур-мажор, Войцек, народ.

Тамбур-мажор. Я мужчина! (Ударяет
себя в грудь.) Мужчина, говорю я. Кому чего
надо? Кто не пьян до положения риз, тот пусть
убирается от меня. У того я нос воткну
в задницу. Я хочу — (Войцеку). Ты, парень,
пей! Я хотел бы, чтобы весь мир был из водки,
из водки — мужчина должен пить!

Войцек свистит.

Тамбур-мажор. Эй, парень, ты хочешь,
чтобы я язык тебе из глотки вытащил и обер-
нул вокруг брюха? (Они борются, Войцек тер-
пит поражение.) Ну? Отпустить твою душу на
покаяние? Отпустить?

Войцек, совершенно измученный, дрожа садится на
скамейку.

Тамбур-мажор. Парень насвистал себе
сняков.

Водка — вот моя жизнь,
Водка дает кураж!

Женщина. Этому влетело.
Андрей. Да он в крови!
Войцек. Одно к одному.

МЕЛОЧНАЯ ЛАВКА

Войцек, еврей.

Войцек. Пистолетик-то дороговат.

Еврей. Ну, покупаете или не покупаете, в чем дело?

Войцек. А сколько стоит вот этот ножик?

Еврей. Острый, как бритва. Хотите перерезать себе шею, в чем дело? Дешевле моего вам никто не уступит. Смерть будет дешево вам стоить, но все же-таки не даром. В чем дело? Вы будете иметь экономную смерть.

Войцек. Да, этим можно и не один только хлеб резать.

Еврей. Два гроша.

Войцек. На! (Уходит.)

Еврей. На! Как будто это ничто! А это все-таки деньги — собака!

КОМНАТА МАРИИ

Мария (одна, перелистывая Библию). «И не было в нем лукавства...» Господи, господи, не гляди ты на меня! (Перелистывает дальше.) «Но фарисеи привели к нему женщину, уличенную в прелюбодеянии и поставили ее посредине. Иисус же сказал: так и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши!» (Всплескивает руками.) Господи, господи, не могу я! — Дай мне, господи, чтобы могла я молиться!

Ребенок жметя к ней.

И ребенок мне, как нож острый. Карл! Чего ты развалился на солнце? (Дурачок лежит и рассказывает себе сказку, перебирая пальцы:

«Вот у этого золотая корона, это господин король — завтра достану я госпоже королеве ребенка — кровяная колбаса говорит, иди сюда, ливерная колбаса». Он берет ребенка и замолкает.) Франц не приходил. Вчера не был, сегодня не был. А жарко ведь здесь. (Открывает окно.) «И ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать их волосами головы своей и целовала ноги его и мазала — миром». (Бьет себя в грудь.) Как мертвая! Спаситель, спаситель! Хотела бы я помазать ноги твои!

КАЗАРМА

А н д р е й, В о й ц е к роется в своих вещах.

В о й ц е к. Камзольчик этот, Андрей, не стоит отдавать в починку; ты можешь носить его, Андрей. Крест этот сестрин и колечко тоже; у меня есть еще образочек и два сердца в золотой оправе — это лежало у моей матери в Библии и там написано:

Господи, как тело твое изранено и кровью
залито,
Пусть будет так сердце мое всечасно раной
открытой.

А мать моя чувствует еще только, когда ей солнце светит на руки — ну да ничего.

А н д р е й (совершенно остолбенел, говорит на все). Да, да.

В о й ц е к (вытаскивает бумагу). Фридрих Иоганн-Франц Войцек, рядовой, стрелок 2-го полка 2-го батальона 4-й роты, родился на благо-

вещение 20 июля — теперь мне тридцать лет семь месяцев и двенадцать дней.

А н д р е й. Франц, ступай-ка в лазарет. Бедняга, тебе надо пить водку с порохом, это убивает горячку.

В о й ц е к. Да, Андрей, когда плотник собирает стружки, никто не знает, чья голова будет лежать на них.

ДОРОГА К ПРУДУ

Мария и Войцек.

М а р и я. Значит, вон там город? Какая темь!

В о й ц е к. Погоди-ка немного, поди сюда, сядь!

М а р и я. Но мне надо итти.

В о й ц е к. Успеешь еще, чего тебе не терпится?

М а р и я. Да чего тебе-то надо?

В о й ц е к. Помнишь ты, сколько времени прошло с тех пор, Мария?

М а р и я. На троицу два года.

В о й ц е к. А знаешь ты, сколько времени это еще продолжится?

М а р и я. Мне надо итти ужин готовить.

В о й ц е к. Тебе холодно, Мария? А ведь ты теплая — какие горячие у тебя губы! Горячее распутное дыхание!.. А ведь когда застынешь, то больше уже не будет холодно; от утренней росы тебе уже не будет холодно.

М а р и я. Что ты говоришь?

В о й ц е к. Ничего.

Молчание.

Мария. Какой красный месяц восходит!

Войцек. Как железо в крови.

Мария. Да что ты задумал? Франц, ты так бледен. — Франц, стой! Ради бога! Помогите! Помогите!

Войцек. На получай! еще и еще! — Что же ты не можешь умереть? Так вот, вот тебе! — А, она все еще дергается. — Все еще нет? Все еще нет? Все еще? (Ударяет ее.) — Ты мертва? Мертва! мертва!

Он роняет нож. Приближаются люди, он убегает.

Войцек (возвращаясь). Ножик? Где же ножик? Я здесь оставил его. Он выдаст меня! Ближе, еще ближе. Что это за место? Что это я слышу? Что-то шевелится. Тише! — Там, около нее. Мария? А, Мария! Тихо! Все тихо. — Что ты так бледна, Мария? Откуда у тебя эта красная полоска на шее? Кто повязал тебе эту ленту на шею за твои грехи? Ты вся почернела от грехов. Я теперь тебя выбелил. Что же так дико растрепались твои черные волосы — разве ты сегодня не заплела их в косы? — Вот лежит! Холодная, мокрая, неподвижная! Прочь отсюда! — Ножик, ножик — взял я его? Так, так. Там — люди! (Убегает.)

У ПРУДА

Войцек. Так, туда его! (Бросает нож в пруд.) Как камень потонул в темной воде. — Нет, он лежит слишком близко отсюда. Когда они будут купаться... (Входит в пруд и бросает дальше.) Так. — Но теперь на песке, а ну-ка

они будут нырять за раковинами? — Ну, что же, он заржавеет. Кто может его тогда... а надо бы его сломать. — Да никак я еще в крови? Надо вымыться. Вот пятно. — Вот и еще одно...

Входят люди.

Первый. Стоп!

Второй. Слышишь? Тише! Вот!

Первый. Вот. Опять какой-то звук!

Второй. Это вода, вода зовет; давно уж тут никто не тонул. Уйдем-ка лучше! Нехорошо это слышать.

Первый. А вот опять. — Точно человек умирает.

Второй. А жутко здесь: так тускло, везде туман — и жуки жужжат, как привидения. Прочь отсюда!

ГЕССЕНСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ
ВЕСТНИК

ВОЗЗВАНИЕ К ГЕССЕНСКИМ КРЕСТЬЯНАМ *

ПОСЛАНИЕ ПЕРВОЕ

Дармштат, июль 1834 года

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Листок этот хочет сказать правду гессенскому народу. Но кто говорит правду, того вешают; и даже того, кто читает правду, могут наказать присяжные судьи. Поэтому те, в руки которых попадет этот листок, должны принять следующие предосторожности:

1. Вне дома заботливо прятать листок от глаз полиции.

2. Показывать его только самым верным друзьям.

3. Тем, кому вы не доверяете, как самому себе, вы можете его только подсунуть потихоньку.

4. Если же листок все-таки будет найден у кого-нибудь, кто его прочитал, то попавшийся должен заявить, что он как-раз собирался отнести его окружному советнику.

5. Если листок будет найден у того, кто его не читал, то он, конечно, не виновен.

* Петитом набраны те места воззвания, которые не принадлежат перу Г. Бюхнера, но были вставлены в его текст пастором Л. Вейдигом.

МИР ХИЖИНАМ! ВОЙНА ДВОРЦАМ!

В 1834 году мир выглядит так, словно в Библии сказана ложь. Он выглядит так, словно бог создал крестьян и ремесленников на пятый день, а на шестой день создал князей и знать и сказал им: „Властвуйте над всем живым, что пресмыкается на земле“, так что крестьяне и горожане причислены к ползающим червям.

Жизнь знатных — сплошной праздник: они живут в красивых домах, носят изящные платья, они упитаны и говорят своим ссобенным языком; народ лежит перед ними, как удобрение в поле. Крестьянин идет за своим плугом, а знатный идет за крестьянином и погоняет его и впряженных в плуг быков, он берет себе зерно и доставляет крестьянину мякину. Жизнь крестьянина — это непрерывный труд; чужие поедают плоды его полей на его глазах, он весь в мозолях, его пот — соль за столом знатных.

Великое герцогство Гессенское имеет 718 373 жителя, которые дают государству ежегодно 6 363 436 гульденов, в том числе:

1. Прямые налоги	2 128 131 фл.
2. Косвенные налоги	2 478 264 „
3. Домены	1 547 394 „
4. Регалии	46 938 „
5. Денежные штрафы	98 511 „
6. Различные источники	64 198 „

Всего 6 363 436 фл.

Эти деньги — кровавая десятина, высосанная из народного тела. Семьсот тысяч человек потеют, стонут и голодают из-за этого. Налоги выжимаются именем государства, выжиматели ссылаются на правительство, а правительство го-

ворит, что деньги нужны, чтобы поддерживать государственный порядок. Что же это за страшная вещь — государство? Если некоторое количество людей живет в какой-нибудь стране и установлены предписания или законы, которые каждый должен выполнять, то говорят, что люди эти образуют государство. Значит, государство это все; порядок в государстве создают законы, которые обеспечивают благо всех и должны вытекать из блага всех. Посмотрите же, что в нашем великом герцогстве сделали из государства; посмотрите, что значит: поддерживать государственный порядок! Семьсот человек уплачивают за это шесть миллионов, то-есть их превратили в рабочих лошадей и упряжных волов во имя порядка; во имя порядка они должны голодать и давать сдирать с себя шкуру.

Но кто же создал этот порядок и кто заботится о том, чтобы этот порядок поддерживать? Великогерцогское правительство. Правительство состоит из великого герцога и его высших чиновников. Другие чиновники — это люди, которых призывает правительство для того, чтобы они поддерживали в силе этот порядок. Число их легион: государственные советники и правительственные советники, окружные советники, духовные советники, школьные советники, финансовые советники, лесные советники и т. д. с целым войском секретарей, писарей и т. п. Народ — их стадо. Они — его пастухи, они его доят и стригут; они сдирают шкуру с крестьян, награбленное у бедных украшает их дома, они купаются в слезах вдов и сирот; они властвуют без стеснения и увещевают народ покорно сно-

свить свое рабство. Им отдаете вы шесть миллионов флоринов налогов; за это они берут на себя труд управлять вами, т. е. кормиться на ваш счет и похищать у вас ваши человеческие и гражданские права. Смотрите, куда идет жатва, добытая вами в поте лица!

На министерство внутренних дел и отправле-ние правосудия тратится 1 110 607 гульденов. За это вы имеете груду законов, произвольно надерганных из постановлений всех веков, написанных по большей части на чужом языке. Безумие прошлых поколений навязывается здесь вам по наследству, гнет, от которого они погибли, переносится на вас. Закон есть собственность незначительного класса знатных ученых, кото-рые сами создают для себя господствующее по-ложение. Это правосудие есть лишь средство удерживать вас в повиновении, чтобы удобнее было вас обирать; оно опирается на законы, которых вы не понимаете, на основания, о кото-рых вам ничего не известно, на приговоры, в ко-торых вы не в состоянии разобраться. Оно неподкупно, ибо оплачивает себя настолько до-рого, что не нуждается в подкупах. Но большин-ство его слуг со всеми своими потрохами про-дались правительству. Кресла, на которых они покоятся, стоят на куче денег в 461 373 гуль-дена (эта сумма затрачивается на ссуды и су-дебные издержки). На фраки, жезлы и сабли неприкосновенных слуг правосудия затрачивается 197 502 гульдена (столько стоит общая поли-ция, жандармерия и т. д.). Юстиция в Германии уже много столетий является проституткой, жи-вущей с немецкими князьями. Каждый шаг

к ней вы должны замостить серебром; нищетой и унижением окупаете вы ее приговоры. Вспомните о гербовой бумаге, о ваших низких поклонах в канцеляриях, о бесконечном ожидании там. Вспомните о взятках писцов и слуг закона. Вы жалуетесь на своего соседа, который украл у вас картофель; так жалуйтесь же на то воровство, которому вы ежедневно подвергаетесь именем государства, когда под видом налога расточают ваше имущество, для того чтобы легионы бесполезных чиновников жирели от вашего пота; жалуйтесь на то, что вы отданы на произвол нескольких бездельников и что этот произвол называется законом; жалуйтесь на то, что вы превращены в рабочий скот государства, что у вас отняты ваши человеческие права! Но где те суды, которые приняли бы от вас эти жалобы? Где те судьи, которые оказали бы вам правосудие? Ответ дадут вам цепи ваших фогельсбергских сограждан, которых потащили в Рокенбург.

Если бы даже нашелся какой-нибудь судья или другой чиновник из числа тех немногих, которым право и общее благо дороже, чем их собственное брюхо и маммон, если бы он пожелал быть советником народным, а не обидчиком народным, то он сам тотчас же подвергся бы жестокой расправе со стороны высших советников князя.

На министерство финансов затрачивается 1 501 502 флорина.

На эти деньги содержатся финансовые советники, высшие и низшие сборщики налогов. Они исчисляют урожай ваших полей и ведут счет вашим головам. Почва под вашими ногами, кусок

хлеба у вас во рту обложены налогами. Господа эти сидят во фраках, а народ стоит перед ними, сняв шапку, и низко кланяется; они ощупывают его плечи и бедра и соображают, сколько он еще в состоянии вынести; если они проявляют к вам милосердие, то только потому, что надо щадить скот, необходимый для работы.

На военные дела затрачивается 914 820 гульденов.

За это ваши сыновья получают цветной мундир и ружье или барабан; каждую осень они должны проделывать маневры и потом рассказывают вам, как господа придворные и развратные сынки знати во главе детей честных людей расхаживают под звуки барабанов и труб по широким улицам городов. За эти 900 000 гульденов ваши сыновья должны присягать тиранам и стоять на карауле у их дворцов. Своим барабанным боем они заглушают ваши стоны, своими прикладами разбивают вам черепа, если вы осмелитесь вообразить, что вы — свободные люди. Это — убийцы по закону, защищающие грабителей по закону; вспомните о Зеделе! Ваши братья, ваши дети сделались там убийцами своих братьев и отцов.

На пенсии выдается 408 000 гульденов.

На эти деньги обеспечивается спокойная жизнь чиновникам, если они определенное время верно служили государству, т. е. если они были ревностными исполнителями систематического грабежа, называемого порядком и законом.

Государственное министерство и государственный совет поглощают 174 600 гульденов.

Всего ближе к князьям везде в Германии стоят величайшие жулики — по крайней мере у нас в великом герцогстве. Если бы честный человек попал в государственный совет, он был бы выкинут оттуда. Но даже в том случае, если бы честному человеку в настоящее время удалось стать и остаться министром, то при теперешнем положении вещей в Германии он был бы лишь марионеткой в руках князя; но и сам князь есть в свою очередь кукла, которую приводит в движение его камердинер или его кучер, или его жена, или ее любовник, или его свояк, или все они вместе.

В Германии дела обстоят теперь так, как пишет пророк Михей, гл. VII стих 3 и 4: „Вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них как терн, и справедливый хуже колючей изгороди“. Вам приходится дорого оплачивать терн и колючую изгородь; ибо на содержание великогерцогского дома и двора с вас собирают 827 772 гульдена.

Учреждения и люди, о которых я до сих пор говорил, лишь орудия, лишь слуги. Они ничего не делают от своего имени. Назначения их на должность помечены буквой Л, что означает, «Людвиг, божией милостию», и они говорят с благоговением: «Именем великого герцога». Таков их боевой клич, когда они продают с молотка вашу утварь, угоняют ваш скот, бросают вас в тюрьмы. «Именем великого герцога», говорят они, — и человек, которого они так называют, именуется неприкосновенным, священным, самодержцем, королевским высочеством. Но подойдите к нему поближе и взгляните в него,

сбросив с него его княжескую мантию. Он ест, когда голоден; спит, когда устал. Смотрите: он родился на свет таким же голым и беспомощным, как вы, и отправится в могилу таким же окоченелым и застывшим. И все же нога его на вашей шее; для него семьсот тысяч человек ходят за плугом; он имеет министров, которые ответственны за то, что он делает; он имеет власть над вашей собственностью при помощи налогов, которые он назначает, над вашей жизнью при помощи законов, которые он издает. Вокруг него толпятся благородные господа и дамы, которые называются «двором», и его божественная власть передается по наследству его детям, прижитым с женщинами, которые происходят из рода, столь же возвышенного над всеми людьми.

Горе вам, идолопоклонники! Вы подобны ячичникам, молящимся крокодилу, который их пожирает. Вы надеваете на него венец, но это терновый венец, который вы сами надвигаете на свою голову; вы даете ему в руку скипетр, но это розга, которой он будет стегать вас; вы сажаете его на трон, но это плаха, на которой будете страдать вы и дети ваши.

Князь — это голова пиявки, которая ползает по вас, министры ее зубы, чиновники — ее хвост. Голодные желудки всех благородных господ, которым он раздает высшие места, это кровососные банки на теле страны. Буква Л, стоящая под его указами, — это знак зверя, которому поклоняются идолослужители нашего времени, княжеская мантия — это ковер, на котором распутничают высокопоставленные придворные господа и дамы; орденами и лентами прикрывают

они свои струпья, драгоценным платьем одевают свои прокаженные тела. Дочери народа — их служанки и наложницы, сыновья народа — их лакеи и солдаты. Подите в Дармштат и посмотрите, как весело живут там эти господа на ваши деньги; расскажите вашим голодным женам и детям, как на их хлебе господа отрастили себе толстое брюхо, расскажите им о красивых платьях, которые окрашены вашим потом, и об изящных лентах, которые вытканы вашими мозолистыми руками, расскажите о богатых домах, построенных на костях народа; потом возвращайтесь в свои бедные хижины и гните спину над вашими каменистыми полями, чтобы и ваши дети еще смогли пойти и посмотреть, когда наследный принц с наследной принцессой угощают у себя другого наследного принца; сквозь открытые зеркальные двери они увидят столы, за которыми пируют высокие господа, и свет ламп, в которых горит жир, вытопленный из крестьян.

Все это вы терпите, потому что кучка подлецов говорит вам: это правительство от бога. Но не от бога это правительство, а от отца лжи. Немецкие князья не законная власть, но своей законной власти — германскому императору, который некогда свободно избирался народом, они уже сотни лет тому назад перестали подчиняться и наконец предали его. Предательством и клятвопреступлением, а не избранием народным, была создана власть немецких князей, а потому она и дела ее прокляты богом; ее мудрость — обман, ее правосудие — грабеж. Они попирают ногами страну и губят несчастных. Вы оскорбляете бога кощунством, когда называете кого-нибудь из этих князей помазанником Божиим; это все равно,

что сказать: бог помазал дьявола и поставил его князем над немецкой землей. Германию, наше дорогое отечество, эти князья растерзали, императора, которого выбирали наши свободные предки, эти князья предали, а теперь эти предатели и палачи требуют от вас верности! Но власть тьмы подходит к концу. Еще немного, и Германия, которую теперь обирают князья, снова воскреснет в виде свободного государства с правительством, избранным народом. Священное писание говорит: отдайте кесарево кесарю. Но что же принадлежит князьям-предателям? Доля Иуды!

На земские чины тратится 16 тысяч гульденов.

В 1789 году во Франции народу надоело быть рабочей клячей своего короля. Он поднялся и созвал людей, которым доверял, и люди эти собрались и сказали, что король такой же человек, как и все другие, что он лишь первый слуга в государстве, должен быть ответственен перед народом и, если плохо исполняет свою должность, может быть подвергнут наказанию. Затем они провозгласили права человека: «Никто не наследует от рождения какого-либо права или титула преимущественно перед другими, и никому собственность не может дать какого-либо права преимущественно перед другими. Высшая власть есть воля всех или большинства. Эта воля есть закон, и она проявляет себя через земские чины или представителей народа; они выбираются всеми, и каждый может быть избран; эти избранные высказывают волю своих избирателей, и таким образом воля большинства их соответствует воле большинства народа; ко-

роль же должен лишь заботиться о выполнении изданных ими законов». Король поклялся в верности этой конституции; но он нарушил свою клятву перед народом, и народ казнил его, как и следует поступать с предателями. Тогда французы отменили наследственную монархию и свободно избрали новое начальство, на что каждый народ имеет право, согласно разуму и священному писанию. Люди, которые должны были следить за исполнением законов, были назначены собранием народных представителей и образовали новое правительство. Таким образом правительство и законодатели были избраны народом, и Франция стала свободным государством.

Но остальные короли пришли в ужас, видя могущество французского народа; они подумали, что после этого первого королевского трупa и им не сносить своих голов; они боялись, что клич свободы, раздавшийся во Франции, пробудит и их собственных угнетенных подданных. Собрал огромное войско и мощно вооружив его, они со всех сторон напали на Францию, и многие из знатных и дворян в стране восстали и перешли на сторону неприятеля. Тогда разгневанный народ поднялся во всей своей силе. Он подавил предателей и разбил наемников королей. Юная свобода выросла из крови тиранов, и ее голос потрясал троны и вызывал ликование народов. Но французы сами продали свою молодую свободу за ту славу, которую доставил им Наполеон, и возвели его на императорский трон. Тогда всемогущий погубил войско императора в морозной России, наказал Францию

казацким кнутом и снова дал французам в короли толстопузых Бурбонов, чтобы Франция покалась в своем идолослужении перед наследственной монархией и служила лишь богу, который создал людей свободными и равными. Но истекло время ее кары, и смелые люди в июле 1830 года выгнали из страны вероломного короля Карла X. Однако и тут освобожденная Франция снова установила полунаследственную королевскую власть и вознесла над собой новый бич в лице лицемера Луи-Филиппа. Но в Германии и во всей Европе была большая радость, когда Карла X низвергли с трона, и угнетенные немецкие страны поднялись на борьбу за свободу. Тогда стали совещаться между собою князья, как избежать им гнева народного, и наиболее хитрые из них сказали: «Отдадим частицу нашей власти, чтобы сохранить остальное». И они выступили перед народом и сказали: «Мы подарим вам ту свободу, за которую вы хотите бороться». Дрожа от страха, бросили они народу несколько крох и говорили о своей милости. Народ, к сожалению, им поверил и успокоился. Таким-то образом Германия была обманута так же, как и Франция.

Ибо что же это такое — эти дарованные конституции в Германии? Не более, как пустая солома, из которой зерна вымолотили для себя князья. Что такое наши ландтаги? Это неповоротливые телеги, которые раз-другой могут преградить путь разбойничьим набегам князей и министров, но из них никогда нельзя построить твердины немецкой свободы. Что такое

наши избирательные законы? Нарушение прав человека и гражданина для большинства немцев. Вспомните об избирательном законе нашего великого герцогства, согласно которому никто, каким бы справедливым и благомыслящим он ни был, не может быть избран, если не владеет большим имуществом. Но зато мог быть избран Грольман, хотевший обокрасть вас на два миллиона.

Вспомните о конституции великого герцогства. Согласно ее статьям, великий герцог неприкосновенен, священен и безответствен. Сан его передается по наследству в его семье, он имеет право объявлять войну, и исключительно ему принадлежит право распоряжаться войском. Он созывает земские чины, отсрочивает их заседания и распускает их. Чины не могут вносить законопроекты, они должны ходатайствовать об издании закона, и от благоусмотрения князя зависит согласиться на это ходатайство или отклонить его. В его руках сохраняется почти неограниченная власть, он не должен только издавать новые законы или назначать новые налоги без согласия чинов. Однако он частью обходится без этого согласия, частью же довольствуется старыми законами, которые были созданы княжескою властью, и потому он не нуждается в новых законах. Такая конституция—ничтожная и презренная карикатура. Чего можно ждать от чинов, связанных подобного рода конституцией? Даже если бы среди избранных и не было предателей народа и ничтожных трусов, даже если бы все они состояли из решительных друзей народа, — даже и в этом случае чего можно было бы ожидать от чинов, которым едва предоставлено право защищать жалкие лохмотья этой нищенской конституции?! Единственное сопроти-

вление, которое они смогли осуществить, состояло в том что они отказали герцогу в двух миллионах гульденов, которые он хотел взять в виде подарка от изнуренного поборами народа, чтобы заплатить свои долги. Но если бы земские чины великого герцогства и имели достаточные права и если бы наше великое герцогство, но только оно одно, обладало настоящей конституцией, то этому великолепию скоро наступил бы конец. Хищные коршуны из Вены и Берлина очень скоро показали бы свои когти и задушили бы свободу нашей маленькой страны. Завоевать себе свободу должен весь немецкий народ. И это время, дорогие сограждане, уже недалеко. Господь отдал прекрасную немецкую страну, которая много столетий была одним из великолепнейших царств земных, в руки чужеземных и отечественных грабителей, потому что немецкий народ отвратился сердцем от свободы и равенства своих предков и забыл страх господень, потому что вы предались идолопоклонству перед многими богами, маленькими герцогами и крошечными королями.

Господь, сломивший скипетр чужеземного властителя, Наполеона, разобьет также идолы наших отечественных тиранов руками народа. Идолы эти сверкают золотом и благородными камнями, орденами и знаками отличия, но внутри их неустанно точит червь, и ноги их из глины. Бог даст вам силу разбить их ноги, как только вы покаетесь в ваших греховных заблуждениях и признаете истину, которая гласит: есть лишь один бог, и нет рядом с ним никаких других богов, которых можно было бы назвать высочествами, высочайшими, священными и безответственными; бог создал всех людей свободными и равноправными, и никакое начальство не установлено с благословения божия, кроме того, которое опирается на доверие народа и прямо или косвенно избрано самим народом; начальство, имеющее силу, но не право повелевать

народом, от бога лишь в том смысле, в каком и дьявол от бога, и повиновение этому дьявольскому начальству допустимо лишь до тех пор, пока не удастся сломить его дьявольскую силу. Бог, даровав народу единый язык, объединил его в единое тело, и тех сильных мира сего, которые разрывают народ и уже разорвали его на тридцать кусков, бог поразит, как тиранов, убийц народа — здесь временной, там — вечной карой. Ибо в писании сказано: что бог соединил, того человека да не разлучает; всемогущий, имеющий власть превратить пустыню в рай, снова создаст рай из этой страны юдоли и плача, — рай, которым была некогда наша дорогая Германия, прежде чем князья ее растерзали на куски и ограбили.

Так как Немецкая империя была поражена гнилью и плесенью и немцы отпали от бога и свободы, то бог допустил империю превратиться в развалины, чтобы снова возродить ее, как свободное государство. Он на время дал власть ангелам сатаны, чтобы они поражали Германию ударами. Он дал власть насильникам и князьям, господствующим во тьме, этим „духам злобы поднебесным“ (Ефес., 6), чтобы они мучили горожан и крестьян, пили их кровь и чинили зло всем, кто любит право и свободу больше, чем несправедливость и рабство. Но мера злодеяний их исполнилась!

Взгляните на это заклеянное богом чудовище, на короля Людвига Баварского, богохульника, который принуждает праведных людей преклонять колена перед своим изображением и тех, кто свидетельствует истину, бросает в темницы руками своих вероломных судей; свинья, вывалявшаяся во всех грязных лужах Италии, волк, заставляющий свой клятвопреступный

ландтаг выдавать пять миллионов ежегодно на содержание слуг Ваала, его придворных, и потом спрашивающий: не установлено ли начальство благословением Божиим?

Как! Ты ниспослан богом нам?!

Господь тебя помазал сам?

О, нет, грабитель, нет, тиран,

Твой сан тебе не богом дан!

Я говорю вам: мера его и властвующих с ним исполнилась. Бог, поразивший Германию за ее грехи этими князьями, снова исцелит ее. Он вырвет „волчды и терны“ и сожжет их огнем (Исаия, XXVII, 4).

Как не может расти горб, которым бог отметил этого короля Людвига, так не могут более расти позорные дела этих князей. Их мера исполнилась. Господь поразит их, и в Германии снова процветет тогда жизнь и сила, как благословение свободы. В огромное поле трупов превратили князья немецкую землю, как описывает Иезекииль в главе XXXVII: „Господь поставил меня среди поля, и оно было полно костей, и вот они весьма сухи“, но воззвал голос божий к этим ссохшимся костям: „Я обложу вас жилами и выращу на вас плоть, и покрою вас кожей, и введу в вас дух, и оживете и узнаете, что я господь“. И на Германии оправдается истина слова божия, как говорит пророк: „Произошел шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею. И вошел в них дух, и они ожили, и стали на ноги свои — весьма, весьма великое полчище“.

Как пишет пророк, так обстояло дело до сих пор в Германии: ваши кости ссохлись, ибо тот порядок, под властью которого вы живете, — чистый грабеж.

Шесть миллионов уплачиваете вы в нашем великом герцогстве горсточке людей, на произ-

вол которых отдана ваша жизнь и ваше имущество; и то же самое в других местах нашей разорванной на клочки Германии. Вы ничто, у вас нет ничего! Вы неправы. Вы должны давать то, чего требуют от вас ваши ненасытные угнетатели, и нести те тягости, которые они на вас взваливают. Куда ни бросит взгляд тиран, — а в Германии их тридцать, — там страна и народ засыхают.

Но, как говорит пророк, скоро все изменится в Германии: день воскресения не замедлит. На поле, усыпанном трупами, начнется движение и шум, и вновь ожившие составят великое полчище.

Раскройте глаза и сосчитайте кучку ваших угнетателей: ведь они сильны только той кровью, которую они из вас высасывают, и тем, что вы безвольно отдаете в их распоряжение ваши рабочие руки. Их не больше десяти тысяч во всем герцогстве, а вас семьсот тысяч; и таково же соотношение между численностью народа и его угнетателей во всей Германии. Конечно, они угрожают вам оружием и королевской конницей, но я говорю вам: кто поднимет меч против народа, тот погибнет от меча народа. Теперь Германия кладбище, скоро она станет раем. Немецкий народ — единое тело, вы — члены этого тела. Все равно, где бы ни зашевелился этот мнимо-умерший. Когда господь пошлет вам знамение через людей, которые ведут народы от рабства к свободе, тогда восстаньте, и все тело восстанет вместе с вами.

Долгие годы гнули вы спину, обрабатывая бесплодные поля рабства. Настанет жаркое лето, когда вы обольетесь

потом на винограднике свободы, и эту свободу вы сохраните во веки веков.

Всю свою долгую жизнь вы копаете землю; выкопайте могилу вашим тиранам. Вы строите тюремные замки, разрушите их и постройте дом свободы. Тогда вы сможете свободно крестить ваших детей живою водою. И пока господь не призовет вас через своих посланцев и своими знаменами—бодрствуйте, укрепляйте свой дух, молитесь сами и учите детей ваших молиться так: „Господи, сокруши скипетр наших угнетателей, и да придет царствие твое — царство справедливости. Аминь“.

КАТОН УТИЧЕСКИЙ

Величественное и возвышенное зрелище представляет человек в борьбе с природою, когда он мощно сопротивляется неистовству бушующих стихий и, полагаясь на силу своего духа, согласно своей воле обуздывает грубые силы природы. Но еще более возвышенное зрелище представляет человек в борьбе со своей судьбою, когда он отваживается вмешаться в ход всемирной истории и для достижения своей цели приносит в жертву самое ценное, что у него есть, приносит в жертву самого себя. Кто ставит перед собою лишь одну цель и, стремясь к ней, не допускает никаких ограничений, тот никогда не откажется от сопротивления, он победит или умрет. Таковы были те люди, которые, когда весь мир трусливо склонял свою выю перед мощно катящимся колесом времени, смело хватали его за спицы и либо отбрасывались назад его могучим вращением, либо, раздавленные его тяжестью, находили себе славную смерть, то-есть ценою остатка своей жизни покупали бессмертие. Среди миллионов, которые выползают из недр земли только для того, чтобы копаться в прахе, исчезнуть как прах и быть забытыми, поднимаются такие люди и отваживаются бороться за вечность; подобно метеорам, сияют они во мраке жалкой и греховной человеческой жизни. Как кометы, пересекают они пути веков; и как астрологи тщетно пытаются определить

влияние комет, так политика не в состоянии учесть значения этих людей. В своем эксцентрическом беге они кажутся беспорядочно блуждающими; и только великие последствия таких феноменов доказывают, что их появление задолго было предустановлено провидением, законы которого столь же непостижимы, как и неизменны.

Каждая эпоха дает нам примеры таких людей, но уже издавна они подвергались самой различной оценке. Происходит это потому, что каждая эпоха применяет свою мерку к героям настоящего и прошлого, что она не судит этих людей по их собственному значению, так как ее воззрения и суждения всегда определяются той ступенью, которой она сама достигла, и потому различны. Насколько ошибочной должна быть такого рода оценка, понятно всякому: к великану не подходит мерка карлика; эпоха упадка не может судить о человеке, представление о котором ей недоступно, в нее не вмещается. Кто может предписать дорогу орлу, когда он распускает крылья и направляет свой бурный полет к звездам? Кто может сосчитать погибшие цветы, когда ураган пронесется по земле и рассеивает удушливые туманы, в которых прозябала жизнь? Кто будет судить и осуждать на основании мнений и мотивов ребенка, когда совершается нечто огромное, когда дело идет об огромном событии? Отсюда вытекает: события и их последствия нельзя судить на основании того, чем они представляются *извне*, но надо постараться вскрыть их *глубокий внутренний* смысл, и тогда будет найдена истина.

Я считал необходимым предпослать эти замечания, чтобы при рассмотрении такой трудной темы сразу показать, с какой точки зрения надо судить этого человека, древнего римлянина, — чтобы было ясно, что к Катону нельзя применять мерку нашего времени и обсуждать его деяния с точки зрения современных принципов и взглядов.

В самом деле, часто утверждают: *субъективно* Катона можно оправдать, но *объективно* он заслуживает осуждения, то-есть с нашей, с христианской, точки зрения Катон преступник, а с своей собственной — он герой. Но как можно применять здесь христианскую точку зрения, это для меня всегда оставалось загадкой. Странная идея — критиковать древнего римлянина по катехизису! Так как действия человека можно оценить лишь в том случае, если они будут сопоставлены с его характером, с его принципами и с его эпохой, то может быть одобрена лишь одна точка зрения, а именно *субъективная*, и всякая другая, в данном случае, например, христианская, должна быть совершенно отброшена. Сколь мало был Катон христианином, столь же мало допустимо прилагать к нему христианские принципы; его следует рассматривать лишь как римлянина и стоика. Согласно этому подходу я совсем не буду обращать внимания на такие упреки, как, например, «человеку не позволено отнимать у себя жизнь, так как не он дал ее себе», или «самоубийство есть покушение на права божества». Я постараюсь опровергнуть лишь те упреки, которые можно сделать Катону с точки зрения римлянина, причем

совершенно необходимо сначала набросать краткое, но верное изображение его характера и его принципов.

Катон был один из самых безупречных людей, которых только знает история. Он был строг, но не жесток; он всегда был готов прощать другим гораздо больше, чем самому себе. Его гордость и его твердость были скорее результатом его принципов, чем его темперамента. Полный несокрушимой добродетели, он более желал *быть* добродетельным, чем *казаться* таковым. Справедливый к чужеземцам, одушевленный любовью к отечеству, всегда заботясь лишь о благе своих сограждан, а не об их благосклонности, он приобретал тем большую славу, чем меньше к ней стремился. Его великой душой всецело владели великие идеи: *отечество, честь и свобода*. Его отчаянная борьба с Цезарем была следствием самого бескорыстного убеждения, его жизнь и его смерть находятся в полном согласии с учением стоиков, которые утверждали «Добродетель есть истинная, не зависящая от награды и наказания гармония человека с самим собою, которая достигается господством над своими страстями; добродетель эта предполагает, что человек достиг глубочайшего внутреннего покоя и возвысился над влиянием чувственных удовольствий и страданий; она делает мудрого не бесчувственным, а неуязвимым, она дает ему господство над жизнью, а вместе с тем и право на самоубийство».

Одушевленный такими чувствами и принципами, Катон стоял как великан среди пигмеев, как герой отошедшей в прошлое богатырской

эпохи, как огромный непостижимый колосс, высоко поднявшийся над уровнем своего времени и даже вообще над человеческим уровнем. Лишь один человек противостоял ему — это был Юлий Цезарь. Оба они обладали одинаковой силой духа, одинаковой властью и авторитетом, но совершенно различными характерами. Катон был последний римлянин, Цезарь — не более как удачливый Катилина; величие Катона — в нем самом, величие Цезаря — в его удаче; это великий преступник, облагороженный огромностью своего преступления. Для таких двух людей круг земли был тесен. Один должен был пасть, и Катон пал не как жертва превосходства Цезаря, а как жертва испорченности своего века. За полтора столетия до этого никакой Цезарь не мог бы одержать победы.

После победы Цезаря при Тапсе Катон утратил надежду, ради которой он жил; сопровождаемый лишь немногими друзьями, отправился он в Утику, где сделал последнюю попытку привлечь граждан к борьбе за дело свободы; но когда он увидел, что им присущи лишь рабские чувства, когда Рим был вырван из его сердца, когда нигде уже более не находилось убежища для богини его жизни, тогда он счел единственно достойным спасти свою свободную душу обдуманною смертью. С нежною любовью позаботился он о своих друзьях, хладнокровно и спокойно обсудил свое решение, и когда все узы, связывавшие его с жизнью, были порваны, он твердою рукою нанес себе смертельный удар и умер, достойно увенчав свою смертью гигантское здание своей жизни. Только такой конец

приличествовал столь великой добродетели в столь позорное время!

Как различны оценки этого поступка, точно так же различны и те мотивы, которые кладутся в основу оценок. Я думаю, однако, что мне нет надобности здесь опровергать тех, которые говорят о суетности, славолюбии, упрямстве и тому подобных мелочных причинах (подобным чувствам не было места в сердце Катона), нет необходимости опровергать и тех, которые повторяют заезженные общие места о малодушии. Опровержением их служит уже простое описание его характера, который, по единогласному свидетельству всех древних авторов, отличался таким величием, что даже Веллей Патеркул говорит о нем: *homo virtuti simillimus et per omnia ingenio diis. quam hominibus, proprior* [человек величайшей добродетели и духом своим более близкий богам, чем людям].

Другие, несколько ближе подошедшие к истине и встретившие наибольшее сочувствие, утверждают, что движущим мотивом к самоубийству была неукротимая гордость, которую можно было победить только смертью. В самом деле, будь это действительным мотивом, нельзя было бы не признать, что есть нечто величественное и возвышенное в намерении смертью запечатлеть справедливость того дела, за которое борешься. Необходим большой характер, чтобы быть в состоянии подняться до такого решения. Однако даже это не было действительным мотивом — последний был более высок. Великая душа Катона была полна бесконечной любви к отечеству и свободе, и этим чувством

горел он всю свою жизнь. Обе эти идеи составляли то центральное солнце, вокруг которого вращались все его мысли и действия. Упадок своего отечества Катон мог бы пережить, если бы он нашел убежище для другой богини своей жизни, для свободы. Но он не нашел его. Земной шар был закован в цепи Римом, все народы стали рабами, свободным оставался только римлянин. Но и он должен был наконец покориться своей судьбе. Когда святыня закона была разбита, когда алтарь свободы был разрушен, тогда Катон оказался единственным среди миллионов, единственным среди обитателей мира, который вонзил себе меч в грудь, чтобы избежать необходимости жить среди рабов; ибо рабами стали римляне; носили ли они золотые или железные цепи — во всяком случае они были в цепях. Римлянин знал лишь одну свободу; это был закон, которому он подчинялся по свободному убеждению, как необходимости; эту свободу уничтожил Цезарь; Катон стал бы рабом, если бы он склонился перед законом произвола. И если Рим не стоил свободы, то сама свобода стоила того, чтобы Катон ради нее жил и умер. Если принять этот мотив, то Катон оправдан; и я не понимаю, почему так стараются подыскать мотив более низменный; я не могу понять, почему хотят опозорить кончину человека, жизнь и характер которого не имели ни единого пятнышка. Мотив, который я кладу в основу его поступка, вполне согласуется со всем его характером, вполне гармонирует со всей его жизнью, следовательно он и есть истинный.

Однако это деяние можно рассматривать еще и с иной точки зрения, а именно с точки зрения *благоразумия* и *долга*. Можно спросить: поступил ли Катон *благоразумно*? Не следовало ли ему сделать попытку снова отвоевать для своего народа ту свободу, потеря которой его убила? А если это даже было не возможно, не *должен* ли он был все-таки сохранить себя для своих сограждан, для своих друзей, для своей семьи?

Первое возражение опровергается *историей*. При некотором понимании ее Катон должен был знать, и он действительно знал, что Рим уже более не может подняться, что он нуждается в тиране и что для деспотически управляемого государства нет иного выхода, кроме упадка. Если бы ему даже и удалось победить Цезаря, Рим все-таки остался бы рабом; на туловище гидры выросли бы новые головы. История подтверждает это. Деяние *Брута* было лишь бесплодным отражением минувшей эпохи. Чего же мог бы поэтому достигнуть Катон, если бы он еще дальше раздувал пламя гражданской войны, если бы он еще на несколько лет отсрочил уготованную Риму судьбу? *Он видел, что Рим, а вместе с тем и свободу, нельзя уже более спасти.*

Еще легче устранить другое возражение, состоящее в том, что Катон должен был бы сохранить себя ради своего, хотя бы и поработанного, отечества. Есть люди, настолько значительные по своему характеру, что на них лежит скорее долг оказывать общие и крупные услуги отечеству, нежели приходить на помощь отдельным лицам, терпящим в чем-нибудь нужду.

И таков был Катон. Его широкая сфера деятельности была от него отнята; согласно своим принципам он больше уже не мог действовать. Катон был слишком крупен для того, чтобы склонить свою свободную голову под рабское ярмо узурпатора, слишком крупен для того, чтобы пресмыкаться перед Цезарем и вымалывать у него милости для своих сограждан. Он представлял это людям более мелкого калибра, к тому же на примере Цицерона лучше всего видно, как мало можно достигнуть уступчивостью и покорностью. Катон стал на иной путь, он решил сослужить своему отечеству последнюю великую службу; ведь его самоубийство было самопожертвованием ради отечества. Если бы Катон остался в живых, если бы он, вопреки своим принципам, подчинился узурпатору, то вся его дальнейшая жизнь была бы одобрением Цезаря; но этого он не хотел и не хотел продолжать открытую борьбу, так как это значило бы бесполезно проливать кровь. Тогда у него оставался *лишь один* исход, а именно *самоубийство*. Оно было оправданием для Катона, оно было тягчайшим обвинением для Цезаря. Катон не мог сделать для своего отечества ничего более значительного, чем этот акт; этот пример должен был бы разбудить все живые силы заснувшего Рима. Если эта цель не была достигнута, виноват только Рим, а не Катон.

То же самое приходится сказать и по поводу возражения, что Катон должен был бы сохранить себя для семьи. Катон не был человеком, способным ограничить свою деятельность узким кругом семейной жизни, и я не вижу к тому же,

почему ему следовало бы это сделать: его друзьям смерть его принесла больше пользы, чем жизнь; его Порция нашла себе Брута; его сын получил воспитание; завершением этого воспитания явилось самоубийство отца, это был последний великий урок для сына. Что он усвоил его, доказывает битва при Филиппах.

Результат, к которому привело нас наше исследование, может быть выражен следующими словами Людена: *«Для кого является вопросом, не принесла ли добродетель Катона больше вреда Риму, чем пользы, тот не понимает ни духа Рима, ни души Катона, ни смысла человеческой жизни»*.

Если соединить вместе все приведенные выше соображения и обстоятельства, то легко убедиться, что Катон, сообразно своему характеру и своим принципам, мог и должен был действовать именно так, что лишь один этот исход отвечал достоинству его жизни и что всякий иной способ действия был бы в противоречии со всей его жизнью.

Хотя только что сказанное не только извиняет, но и оправдывает Катона, однако делают и еще одно не легко устранимое возражение; а именно говорят: *«Поступок не может быть оправдан тем, что он находится в согласии с характером определенного человека. Если сам этот характер имеет недостатки, то и поступок также. Это как-раз и приходится сказать о Катоне. Его натура получила очень одностороннее развитие. Причина, почему акт самоубийства соответствовал его характеру, заключалась не в его совершенстве, а в его недостатках. Не его му-*

жественная сила, а его неспособность примениться к необычным условиям жизни вложила ему меч в руку».

Как ни убедительно звучит это утверждение, но все же ближайшее рассмотрение показывает, что оно не в состоянии бросить тень на поступок Катона. Здесь требуют от Катона, чтобы он умел приспособиться не только к роли *республиканца*, но и к роли *слуги*. Что он этого *не хотел и не мог*, приписывают несовершенству его характера. Я никак не могу согласиться с тем, что такая приспособляемость во всяким обстоятельствам есть совершенство, ибо я полагаю, что великое назначение человека состоит в том, чтобы играть *одну* роль, иметь *одно* лицо и приспособляться лишь к тому, что он признал истинным и справедливым. Я утверждаю поэтому, в противоположность сказанному, что как-раз эта неспособность примениться к положению, противоречащему его самым священным правам, его самым священным принципам, свидетельствует о *величии* Катона, а не об его *односторонности и несовершенстве*.

С какою твердостью проводил он то, что считал истинным и справедливым, показывает как-раз его смерть. Немного можно найти людей, которые способны были бы с таким спокойствием принять решение умереть и с такою твердостью это решение выполнить. Правда, даже Гердер говорит презрительно: «*Этот римлянин, в порыве гнева разбередивший свои раны*», однако не подлежит сомнению, что как-раз то обстоятельство, что Катон не умер сразу и все же не отказался от своего решения, именно это

обстоятельство придает его деянию еще более *величественный характер*.

Так действовал, так жил, так умер Катон. Он был представителем римского величия, последним из вымершего племени героев, величайшим человеком своего времени. Его смерть есть завершение руководящей идеи его жизни, его деяние воздвигло в сердцах всех благородных людей памятник, торжествующий над смертью и глением, возвышающийся непоколебимо среди бурного потока вечности. Рим-исполин пал; столетия протекли над его могилой, всемирная история бросала над ней свои жребии, — и все еще Катон и добродетель стоят рядом и *будут* стоять рядом до тех пор, пока в груди людей горит великая исконная любовь к *отечеству и свободе!*

ПИСЬМА

1831—1837

1. РОДНЫМ

Страсбург, октябрь 1831.

Когда распространился слух, что *Ромарино* должен проехать через Страсбург, студенты тотчас открыли подписку и постановили выступить ему навстречу с черным знаменем. Наконец пришло известие, что *Ромарино* прибудет сюда вечером в сопровождении генералов *Шнейдера* и *Лангермана*. Мы тотчас же собрались в академии; но когда мы хотели выйти за ворота, офицер, получивший от правительства приказ воспрепятствовать нашему шествию со знаменем, поставил перед воротами вооруженную стражу и отказался нас пропустить. Однако мы прорвались силою и в количестве трехсот-четырёхсот человек выстроились у большого рейнского моста. К нам присоединилась национальная гвардия. Наконец показался *Ромарино* в сопровождении группы всадников. Один из студентов обратился к нему с речью, на которую тот ответил; затем говорил также национальный гвардеец. Национальные гвардейцы окружили карету и повезли ее; мы со знаменем стали во главе шествия, а впереди маршировал большой оркестр. Так вошли мы в город в сопровождении огромной толпы народа с пением марсельезы и карманьолы; везде раздавались крики: «*Vive la liberté! Vive Romarino! A bas les ministres!*»

A bas le juste milieu! [«Да здравствует свобода! Да здравствует Ромарино! Долой министров! Долой золотую середину!»]. Город был иллюминирован, в окнах дамы махали платками, и Ромарино с триумфом проводили до гостиницы, где наш знаменосец передал ему знамя с пожеланием, чтобы это траурное знамя в скором времени превратилось в Польше в знамя свободы. Затем Ромарино показался на балконе, благодарил, раздались крики: «*Vivat!*» — и комедия была кончена.

2. РОДНЫМ

Страсбург, декабрь 1831.

Отчаянно пахнет войной; но если дойдет дело до войны, то прежде всего в Германии начнется столпотворение вавилонское, и одному небу известно, каков будет конец песенки. Все может быть выиграно, и все может быть потеряно; но если русские перейдут через Одер, то я возьмусь за ружье, хотя бы мне это пришлось сделать во Франции. Да пощадит тогда бог все светлейшие и помазанные миром бараньи головы; на земле, надо надеяться, они не найдут уже более пощады.

3. РОДНЫМ

Страсбург, февраль 1832.

В политическом отношении интересно только одно, а именно, что здешние республиканские щеголи бегают в красных шапках и что госпо-

дин Перье схватил холеру, но, к сожалению, не холера его.

4. РОДНЫМ

Страсбург, декабрь 1832.

Я чуть было не забыл рассказать, что здесь объявлено осадное положение (по случаю голландской смуты). Под моими окнами постоянно с грохотом проезжают пушки, на общественных площадях упражняются войска, на валах выставлены орудия. Для политического обзора у меня нег времени, да и не стоит труда, ведь все в конце концов только комедия. Король и палаты управляют, народ аплодирует и платит.

5. РОДНЫМ

Страсбург, январь 1833.

На рождество я в четыре часа утра отправился к заутрене в собор. Мрачный свод с колоннами, цветные стекла, коленопреклоненная толпа были наполовину освещены лампадами. Пение невидимого хора словно парило над алтарем и хорами и как бы отвечало громогласным звуком мощного органа. Я не католик, и меня мало трогают призывы и коленопреклонения пестрой толпы попов, но пение действует на меня сильнее, чем безвкусные, вечно повторяющиеся фразы большинства наших духовных, которым не приходит в голову ничего более остроумного, как из года в год в день рождества восхвалять господу бога за удачную мысль выпустить Христа в мир как-раз в это время.

6. РОДНЫМ

Страсбург, 5 апреля 1833.

Сегодня получил ваше письмо с известиями из Франкфурта. Мое мнение таково: если в наше время что-нибудь может помочь, то только насилие. Мы знаем, чего можно ожидать от наших князей. Все, что они нам даровали, вырвано было у них насильно. Но даже и это дарованное было выброшено как нищенская подачка, как жалкая детская игрушка, чтобы заставить вечного простофилю, народ, забыть, о том, что чересчур тесно затянуты связывающие его путы. Это жестяное ружье и деревянная сабля, и нужно все немецкое безвкусие, чтобы играть с таким оружием в солдатики. Наше словесное представительство — сатира на здравый рассудок, мы можем еще целый век обходиться с ним, но если затем подсчитаем результаты, то окажется, что народ заплатил за красивые речи своих представителей дороже, чем тот римский император, который выдал своему придворному поэту за две строфы двадцать тысяч гульденов. Упрекают молодежь в склонности прибегать к насилию. Но разве мы не живем в постоянной атмосфере насилия? Так как мы родились и выросли в тюрьме, то уже более не замечаем, что сидим в яме, со скованными руками и ногами и с кляпом во рту. Что же называете вы законным порядком? Закон, превращающий огромную массу граждан государства в барщинный скот для того, чтобы удовлетворять неестественным потребностям ничтожного и испорченного меньшинства? И этот закон,

поддерживаемый грубой военной силой и вульгарной хитростью его агентов, этот закон есть постоянное и грубое насилие, насилие над правом и здравым рассудком, и я буду словом и делом бороться с ним, где и как могу. Если я не принимал участия в том, что совершилось, и не приму участия в том, что, быть может, еще совершится, то не потому, что я не сочувствую, и не из страха, а только потому, что в настоящий момент я считаю всякое революционное движение безнадежным предприятием и не разделяю ослепления тех, которые видят в немцах народ, уже готовый к борьбе за свое право. Это безумное мнение привело к франкфуртским событиям, и сделанная ошибка дорого стоила. Впрочем, ошибка не грех, и немецкий индифферентизм, действительно, такого рода, что может посрамить все расчеты. От всего сердца сожалею я о несчастных. Не запутан ли в деле кто-нибудь из моих друзей?

7. РОДНЫМ

Страсбург, май 1833.

Только что мы получили известие, что в Нейштадте мирное и безоружное собрание подверглось нападению солдатчины, причем было убито несколько человек, первых попавшихся под руку. Подобные же происшествия, как говорят, имели место и в остальной Рейнской Баварии. *Либеральная партия* не имеет права на это жаловаться: долг платежом красен, за насилие платят насилием. Будет видно, кто сильнее.

Если бы на-днях, при ясной погоде, вы могли видеть вплоть до страсбургского собора, вы нашли бы меня в обществе одного длинноволо-сого, бородатого молодого человека. У этого че-ловека на голове был красный берет, вокруг шеи кашемировая шаль, короткая немецкая куртка на плечах, на жилетке вышито «Руссо», на ногах узкие панталоны со штрипками, в руке модная тросточка. Вы видите, это карикатура, составленная из нескольких столетий и частей света: Азия вокруг шеи, Германия на туловище, Франция на ногах, 1400 год на голове, 1833 — в руке. Это космополит — нет, более того, это *сен-симонист!* Вы думаете, конечно, что собесед-ник мой был дурак, но вы ошибаетесь. Это очень любезный молодой человек, много путе-шествовавший. Я никогда не заподозрил бы в нем сен-симониста, если бы не его роковой ко-стюм и если бы он в Германии не заговорил о «женщине». У сен-симонистов мужчины и жен-щины равны, они имеют равные политические права. У них есть лишь «отец», и это Сен-Си-мон, их основатель; но здраво рассуждая, они должны бы иметь также и «мать». Но ее еще надо найти, и вот они пускаются на поиски, как Саул за ослами своего отца, с тою лишь раз-ницей, что теперь — в XIX веке — мир сделал большой шаг по пути прогресса — осла ищут Саула. Руссо с одним из своих сподвижников (оба не понимают ни слова по-немецки) хотели искать «женщину» в Германии; однако, по глу-пости и нетерпимости, они были отвергнуты. Я сказал ему, что он не многое потерял бы в женщинах, но женщины многое потеряли бы

в нем, с одними он только бы скучал, а над другими смеялся бы. Он остается теперь в Страсбурге, заложил руки в карманы и проповедует народу труд, он хорошо оплачивается сообразно своим способностям и «идет навстречу женщинам» — как он выражается.

Впрочем, ему можно позавидовать: он удобнейшим образом устроился под солнцем, и я из-за одной только лени хотел бы стать сен-симонистом, ибо тогда я должен был бы получать надлежащий гонорар, сообразно моим способностям.

8. РОДНЫМ

Страсбург, конец мая 1833.

Относительно меня вы можете быть совершенно спокойны; я не отправлюсь во Фрейбург и так же, как в прошлом году, не буду принимать участия в собрании.

9. РОДНЫМ

Страсбург, июнь 1833.

Хотя я всегда буду поступать согласно с моими принципами, но за последнее время я убедился, что только необходимые потребности широких масс могут привести к изменениям, что всякие действия и крики отдельных лиц являются совершенно напрасной и безумной тратой сил. Они пишут — их не читают; они кричат — их не слушают, они действуют — им не помогают. . . Отсюда вы уже можете видеть, что я никоим образом не впутуюсь в гиссенскую кружковую политику и детские революционные шалости.

10. РОДНЫМ

Страсбург, 8 июля 1833.

(Путешествие по Вогезам)

То долиною, то высотами шли мы через эту живописную страну. На второй день мы достигли так называемых Белого и Черного озер, расположенных на высоте более чем трех тысяч футов. Это два темных водоема в углублении, около которого скалы стоят стеною в пятьсот футов. Белое озеро лежит на вершине. У наших ног покоились темные воды. Через ближайшие высоты мы могли видеть на востоке Рейнскую долину и Шварцвальд, на западе и северо-западе — горную Лотарингию. На юге висели темные тучи, воздух был тих. Вдруг бурный порыв ветра погнал облака вверх по Рейнской долине; слева от нас молнии бороздили тучи, а над темной Юрой под разорванными облаками сияли альпийские глетчеры в лучах вечернего солнца. На третий день мы любовались тем же великолепным видом; мы достигли высшей точки Вогезов, Бельгена, высотой около пяти тысяч футов. Отсюда виден Рейн от Базеля до Страсбурга, равнина за Лотарингией до гор Шампани, начало бывшей Франш-Конте, Юра и Швейцарские горы от Риги до отдаленнейших Савойских Альп. Солнце садилось, Альпы были как бледная вечерняя заря над потемневшей землей. Ночь провели мы недалеко от вершины, в хижине горных пастухов. У этих пастухов имеется сто коров и около девяноста молодых и взрослых быков. До восхода солнца небо было несколько туманно, солнце бросало красноватый отблеск на ланд-

шафт. Через Шварцвальд и Юру облака как бы низвергались пенящимся водопадом, и только Альпы светлели над ними, как сияющий млечный путь. Вообразите себе над темной цепью Юрских гор и над облаками на юге, насколько простирается взгляд, колоссальную, сверкающую ледяную стену, лишь кое-где прерываемую зубцами и острыми вершинами отдельных гор. — С Бельгена мы спустились направо в так называемую Амариненскую долину, последнюю большую долину Вогезов. Мы шли вверх по долине; она заканчивается великолепным лугом среди диких гор. Через эти горы мы прошли по хорошо поддерживаемой дороге в Лотарингию к источникам Мозеля. Некоторое время мы по течению воды, затем отклонились к северу и, посетив несколько интересных мест, вернулись в Страсбург.

Здесь за последние дни несколько беспокойно. Депутат министерской партии господин Саглио несколько дней тому назад вернулся из Парижа. На него никто не обращал внимания. Банкротство честности в наши дни вещь настолько обычная, что народный представитель, который носит свой фрак, как позорный столб на спине, ни кого уже не может особенно интересовать. Но полиция была противоположного мнения и потому выставила значительное количество солдат на плацпараде и перед домом господина Саглио. В конце концов на второй или на третий день это привлекло толпу, которая вчера и третьего дня несколько пошумела перед домом. Префект и мэр сочли это удобным поводом для того, чтобы получить орден; они

пустили в ход войска, которые очистили улицы, действуя штыками и ударами прикладов; были произведены аресты, вывешены обращения к жителям и т. п.

11. РОДНЫМ

Гиссен, 1 ноября 1833.

Вчера снова арестованы два студента — маленький *Штамм* и *Гросс*.

12. РОДНЫМ

Гиссен, 19 ноября 1833.

Вчера я присутствовал на банкете в честь *вернувшихся депутатов*. Участвовало до двухсот человек, в том числе Бальзер и Фохт. Сначала было несколько лойяльных тостов, а потом, когда допились до храбрости, пели польский гимн, марсельезу и кричали «*vivat!*» в честь фридбергских арестованных. Люди храбро идут в огонь, зажженный горящим пуншем.

13. НЕВЕСТЕ

[Гиссен, весна 1834?]

Здесь нет ни одной горы, с которой открывался бы свободный вид. Один холм идет за другим, между ними широкие равнины, во всем голая посредственность. Я не могу привыкнуть к этой природе, и город кажется мне отвратительным. — Но и у нас весна, я могу постоянно подновлять твой букет фиалок, он бессмертен, как лама. Милое дитя! А что поделывает теперь добрый город Страсбург? Там происходят разные события, а ты не пишешь об этом ни слова.

Je baise ies petites mains en goûtant les souvenirs doux de Strasboürg. [Целую твои маленькие ручки, вкушая сладкие воспоминания о Страсбурге.]

Ты пишешь: «Prouve-moi que tu m'aimes encore beaucoup en me donnant bientôt des nouvelles». [«Докажи мне, что ты меня еще крепко любишь и пришли поскорее о себе весточку»]. А я-то заставил тебя ждать! Вот уже несколько дней, как я поминутно хватаюсь за перо, но не в состоянии написать ни слова. Я изучал историю революции. Я чувствовал себя раздавленным отвратительным фатализмом истории. В природе людей я нахожу ужасающую одинаковость. В человеческих отношениях непреодолимую силу, дарованную всем и никому. Отдельный человек лишь пена на волне, величие — простая случайность, господство гения — кукольная комедия, смешная борьба с железным законом; познать его — высшее, что нам дано, подчинить его себе невозможно. Я более уже не могу преклоняться перед парадными фигурами и столпами истории. Я приучил свои глаза к виду крови, но я не нож гильотины. «Ты должен» — одно из тех проклятий, которыми крещен человек. Изречение: злоба должна притти в мир, но горе тому, через кого она приходит — ужасно. Что же это такое, что в нас лжет, убивает, крадет? Я не хочу дальше углубляться в эту мысль. Если бы я мог прижать к твоей груди свое холодное, измученное сердце!

Беккель успокоит тебя относительно состояния моего здоровья, я ему писал. Я проклинаю свое здоровье. Я горел в лихорадке, она покрывала меня поцелуями и сжимала меня в объятиях,

как возлюбленная. Тьма нависала надо мною, сердце ширилось в бесконечном страстном порыве; звезды просвечивали сквозь темноту, руки и губы склонялись надо мною. А теперь, когда я здоров? Я лишен даже сладострастия боли и тоски. С тех пор, как я переправился через Рейнский мост, все во мне словно замерло. Во мне не возникает ни одного чувства. Я автомат; душа у меня отнята. Пасха — единственное мое утешение. У меня есть родственники в Ландау — я получил от них приглашение и разрешение их посетить. Я уже тысячу раз проделал это путешествие, но оно никогда мне не надоест. — Ты спрашиваешь меня, тоскую ли я по тебе? Я не знаю, назовешь ли ты это тоскою, если человек может жить только в одном месте и, оторванный от него, в состоянии ощущать себя лишь глубоко несчастным. Ответь мне. Разве мои губы так холодны? . . . Письмо это *charivari* [кошачий концерт]. Я постараюсь вознаградить тебя другим.

14. РОДНЫМ

Гиссен февраль 1834

Я никого не презираю и менее всего мог бы презирать людей за недостаток разума или образования, — ведь никто не в силах перестать быть глупцом или преступником, — ведь при одинаковых обстоятельствах мы все были бы одинаковы, а обстоятельства не в нашей власти. Притом же рассудок есть лишь очень ничтожная часть нашего духовного существа, а образование лишь очень случайная его форма. Упрекать меня в та-

ком презрении все равно, что утверждать, что я способен пренебрежительно относиться к человеку за то, что он носит плохой сюртук. Это значило бы: грубость, в которой никогда не заподозрят человека в материальной области, перенести в область духа, где она является еще более пошлою. Я могу назвать кого-нибудь глупцом, не презирая его за это, — глупость принадлежит к общим свойствам человеческой природы; в существовании ее я неповинен, но никто не может запретить мне называть все существующее своим настоящим именем и избегать того, что мне неприятно. Нанести оскорбление — это жестоко; но искать встречи с кем-нибудь или избегать ее — должно быть предоставлено моему благоусмотрению. Этим объясняется мое поведение по отношению к старым знакомым. Я никого не оскорбил, но старался избавить себя от скуки; если они считают меня высокомерным, потому что я не нахожу вкуса в их удовольствиях и занятиях, то это несправедливо; мне никогда не пришло бы в голову сделать кому-либо аналогичный упрек на этом основании. Меня называют насмешником. Это правда, я часто смеюсь; но я смеюсь не над тем, как устроен тот или другой человек, а лишь над тем, что он человек, за что он, конечно, нисколько не ответственен, я смеюсь вместе с тем над самим собою, так как разделяю с ним эту судьбу. Люди называют это насмешкой, они не выносят, когда кто-нибудь ведет себя, как дурачок, и обращается с ними за панибрата; они сами гордецы, насмешники, высокомерные, ибо ищут глупость только вне себя. Правда, у меня есть и другого рода насмешка,

но это не насмешка презрения, а насмешка не-кависти. Ненависть так же позволительна, как и любовь, и я питаю ее в полной мере к тем, которые презирают. Имеется очень большое число таких людей, которые, обладая смешным внешним преимуществом, называемым образованием, или мертвым скарбом, называемым ученостью, приносят огромную массу своих братьев в жертву своему презирающему эгоизму. Аристократизм — это позорнейшее презрение к духу святому в человеке; против него обращаю я его собственное оружие: высокомерие против высокомерия, насмешку против насмешки. — Обо мне вы могли бы лучше всего осведомиться у моего чистильщика сапог; мое высокомерие и презрение к нищим духом и невеждам здесь имело бы свой наилучший объект. Я прошу вас, спросите-ка его... Я надеюсь, вы не заподозрите меня в смешном чванстве своим великодушием, но я надеюсь также, что я бросил больше сострадательных взглядов страдающим и угнетенным, чем сказал горьких слов людям с холодным, надменным сердцем.

15. НЕВЕСТЕ

[Гиссен, февраль 1834].

Я жажду письма. Я одинок, как в могиле; когда пробудит меня твоя рука? Мои друзья покидают меня, мы, как глухие, кричим друг другу в уши; и я хотел бы, чтобы были немыми, тогда мы могли бы только смотреть друг на друга, а за последнее время я ни на кого не могу пристально посмотреть без того, чтобы слезы

не навернулись мне на глаза. Это — слезоточивость, которая часто бывает, когда пристально смотришь. Они объявили меня сумасшедшим, потому что я предсказал, что через шесть недель я воскресну, но сначала вознесусь на небо. а именно в дилижансе. Прощай, моя дорогая, не покидай меня. Скорбь оспаривает меня у тебя, я целыми днями не могу вырваться из ее объятий; бедное сердце, я думаю, что ты платишь мне тем же.

16. НЕВЕСТЬ

[Гиссен, март 1834.]

Первое светлое мгновение за неделю. Непрерывная головная боль и лихорадка, ночью едва удается забыться на несколько часов. До двух часов я не ложусь в постель и потом постоянно просыпаюсь, меня заливают море мыслей, от которых мешается ум. Мое молчание мучает тебя, как и меня, и все же я ничего не могу с собой поделать. Дорогая моя, дорогая, прощаешь ли ты меня? — Я только что вернулся домой. Пение тысячи жаворонков сливается в один звук, наполняющий жаркий летний воздух. Тяжелое облако бредет над землею, шум ветра звучит, как его мелодические шаги. Весенний воздух освободил меня от моего столбняка, я сам себя испугался. Ощущение смерти все еще господствовало надо мною. Все люди поворачивали ко мне свои гиппократовы маски: остеклевшие глаза, щеки, словно из воска; и когда затем весь механизм шарманки приходил в движение, рычажки двигались, трещал голос, я слышал все ту же повторяющуюся песенку и видел, как возвращаются

и прыгают валики и штифтики — я проклинал концерт, ящик, мелодию. . . Ах, мы бедные орущие музыканты! Если бы стоны от наших пыток прорвались сквозь облака и понеслись дальше и дальше, звуча, как мелодическое дуновение, и замерли наконец в ушах небожителей! Не являемся ли мы жертвами в раскаленном чреве быка Перилиуса, предсмертный крик которых звучит как ликование пожирающего себя в пламени божественного быка? Я не богохульствую, но люди богохульствуют. И все же я наказан. Я боюсь своего голоса и. . . своего зеркала. Я мог бы послужить моделью для господина *Калло* — *Гофмана* — не правда ли, моя дорогая? Тогда я получил бы деньги на проезд. Я замечаю, что я начинаю становиться интересным. Завтра до каникул останется две недели; если не получу разрешения, отправлюсь потихоньку. Я во что бы то ни стало хочу положить конец этому невыносимому состоянию. Мои духовные силы совершенно расшатаны. Работать я не могу; какое-то смутное брожение овладело мною. У меня не остается почти ни одной ясной мысли. Все само пожирает себя во мне; если бы я нашел какой-нибудь выход, — но у меня нет крика для боли, нет ликования для радости, нет гармонии для блаженства. Это онемение — мое проклятие. Я уже тысячу раз говорил тебе: не читай моих писем — холодные, мертвые слова! Если бы я мог излиться перед тобою полным голосом, я повлек бы за собою и тебя в мои дикие бредни. Ты сидишь теперь в темной комнате наедине со своими слезами — скоро и я присоединюсь к тебе. В течение двух недель образ твой постоянно передо

мною. Я вижу тебя в каждом сне. Твоя тень непрерывно стоит передо мною, как те дрожащие световые пятна, которые мы видим после того, как посмотрим на солнце. Я жажду радости; я скоро ее почувствую, скоро, у тебя.

17. РОДНЫМ

Гиссен, 19 марта 1834.

... Важнее расследование по обвинению в участии в организациях. Высылка предстоит по крайней мере тридцати студентам. Я готов под присягою засвидетельствовать невинность всех этих заговорщиков, но правительству надо же что-нибудь делать. Оно благодарит небо, если несколько ребят начинают потрясать основы! — *Арестованные во Фридберге* освобождены, за исключением четырех. . .

18. НЕВЕСТЬ

Гиссен, март 1834.

Я был бы безутешен, мое бедное дитя, если бы не знал, как помочь тебе. Я пишу теперь ежедневно, вчера опять начал письмо. Я почти готов вместо Дармштата прямо отправиться в Страсбург. Если твое нездоровье примет сколько-нибудь серьезный характер, я во мгновение ока буду здесь. Но к чему такие мысли? Этого я не могу допустить. — Мое лицо — как пасхальное яйцо, по которому радость разливается красными пятнами. Но я пишу отвратительно. Это утомляет твои глаза, это увеличивает лихорадку. Но нет, я не думаю ничего дур-

ного, это лишь отголоски старой болезни; поцелуй мягкого весеннего воздуха смертелен для стариков и чахоточных. Твоя болезнь стара и немощна — она умирает, вот и все. А ты думаешь, что вместе с нею уходит твоя жизнь. Разве ты не видишь нового яркого дня? Разве ты не слышишь моих шагов, которые снова направляются назад, к тебе? Смотри, я посылаю тебе поцелуй, подснежники, фиалки, первые робкие побеги земли навстречу огненному взору юноши-солнца. Полдня сижу я запершись с твоим портретом и говорю с тобою. Вчера утром я обещал тебе цветы; вот они. Что дашь ты мне взамен? Как нравится тебе *мой бедлам*? Когда я хочу сделать что-нибудь серьезное, со мною случается, как с Лярифари в известной комедии: когда он выхватывает меч, в руках его оказывается заячий хвост. . .

Мне кажется, было бы лучше, если бы я молчал. Меня охватывает невыразимая тревога. Ты напишешь тотчас же; но ради бога, не пиши, если это требует от тебя напряжения. Ты спрашиваешь меня, как помочь делу; дорогая моя, это средство давно уже у меня на языке, но я так любил нашу тихую тайну. Однако, расскажи все своему отцу, только с двумя условиями: ничего не говорить даже ближайшим родственникам; я не хочу за каждым поцелуем слышать стук печных горшков и корчить из себя отца семейства в глазах различных тетушек. Затем: ничего не писать моим родителям, пока я сам им не написал. Я все предоставляю тебе, делай то, что может тебя успокоить. Что я могу сказать тебе, кроме того, что я тебя люблю; что обещать,

кроме того, что уже заключается в слове «любовь»? — Верность. А так называемая «обеспеченность»? Еще два года — студент, и перспектива бурной жизни, быть может, в скором времени на чужбине! В заключение я подхожу к тебе и пою тебе старую колыбельную песню:

Она была слаба, покорна, молчалива,
Но в ней любовь жила, покинутая живо.
В уединении глухом, одна, сама с собою...
Воспоминания бегут тревожной чередой;
Возникнет вдруг; там у стены, где шкафа дверь
резная,
Стоит, как прежде, он. Недвижна тень немая.
Но вот овладевает сон, усталости дремота,
И возвращается он к ней и словно ждет чего-то.
И снова, снова перед ней того изображение,
Кто сердце отнял и внушил любви смятенье.
Черты изгладились лица, но сила слов живуча,
Как и утраченных часов блаженство всемогуще,
Как явь невыразимых снов, что с каждым
от рожденья,
Какие тщимся мы понять, найти их воплощенье.

19. НЕВЕСТЕ

Гиссен, март 1834

Отсюда я отправлюсь прямо в Страсбург, не заезжая в Дармштат; там меня встретили бы затруднения, которые, пожалуй, заставили бы отложить путешествие до конца вакаций. Но предварительно напишу тебе еще раз, иначе я заболею от нетерпения; а это письмо скучно, как доклад лакея в чванном доме: «Господин сту-

дент Бюхнер» — и это все! Как я здесь съезжил-ся, меня почти подавляет это сознание.

В сущности, это довольно безразлично, как будут оплакивать впавшего в столбняк или слабоумного. Но ты? Как отнесешься ты к инвалиду? Что касается меня, то я не выношу людей, которым место в богадельне.

Nous ferons un peu de romantique, pour nous tenir à la hauteur du siècle; et puis me faudrait-il du fer-à-cheval pour faire de l'impression à un coeur de femme? Aujourd'hui on a le système nerveux un peu robuste. Adieu.

[Немного романтики, чтобы итти в ногу с веком; не сесть ли мне на коня, чтобы произвести впечатление на сердце женщины? В настоящее время нервы наши немножко огрубели. Прощай.]

20. РОДНЫМ

Страсбург, апрель 1834.

Я был (в Гиссене) внешне спокоен, но мне было очень тяжело; к тому же меня угнетали *политические события*. Мне было стыдно быть слугою среди слуг в угоду вырождающемуся поколению князей и раболепному аристократизму государственных чиновников. Я попал в Гиссен в отвратительный момент, я заболел от отвращения и огорчения.

21. РОДНЫМ

Гиссен, 25 мая 1834.

Поведение «Бурша» меня мало интересует. Вчера вечером он был побит филистером. Раздались крики: «Бурш, вперед!». Но никто не вы-

шел, кроме членов двух союзов, которые, однако, должны были призвать на помощь университетского судью, чтобы спастись от мальчишек, сапожников и портных. Университетский судья был пьян и обругал бюргеров: меня удивляет, что его не побили. Самое забавное то, что мальчишки либеральны и поэтому напали на лойяльно настроенные союзы. Инцидент должен, как говорят, повториться сегодня вечером. Болтают даже о выступлении из города; я надеюсь, что «Бурш» опять будет побит; мы держим сторону бюргеров и останемся в городе.

22. РОДНЫМ

Гиссен, 2 июля 1834.

Что говорят об осуждении *Шульца*? — Меня это не удивляет. Тут чувствуется комиссарская работа. Между прочим, слышали ли вы забавную историю о господине комиссаре и проч.? Этот мудрый Колумб хотел открыть в Дармштате у одного столяра *тайный печатный станок*. Он окружает дом, врывается внутрь. «Ну-с, хозяин, нам все известно, ведите меня к прессу». Хозяин ведет его к прессу для выжимания винограда. «Да нет, хозяин, мне нужен *пресс, пресс!*» Тот ничего не понимает, и комиссар отваживается сам спуститься в погреб. Там темно. «Свечу, хозяин!» — «Ежели вам нужна свеча, так купите ее». Но господин комиссар охраняет страну от излишних издержек. Подобно Мюнхгаузену он бежит по бревну и высекает огонь из своего собственного носа, течет кровь, он не обращает на это внимания, но ничего не находит.

Надо надеяться, наш возлюбленный великий герцог пришлет ему орден за гражданские заслуги в виде пластыря на пострадавший нос.

23. РОДНЫМ

Франкфурт, 3 августа 1834.

Я пользуюсь каждым случаем, чтобы освободиться от своих цепей. В пятницу вечером я вышел из Гиссена; я предпочел идти ночью по причине страшной жары и путешествовал в приятной прохладе под ясным звездным небом, которое на горизонте то и дело вспыхивало отдаленными зарницами. Частью пешком, частью присаживаясь к почтальонам и другому подобного рода мелкому люду, я в течение ночи сделал большую часть пути. По дороге я несколько раз отдыхал. Около полудня я был в Оффенбахе. Я сделал этот маленький крюк, так как с этой стороны легче войти в город, не будучи задержанным. Краткость времени лишила меня возможности застаться необходимыми документами.

24. РОДНЫМ

Гиссен, 5 августа 1834.

Мне кажется, я уже вам рассказывал, что *Миннегероде* был арестован за полчаса до моего отъезда; его отправили во Фридберг. Я не могу понять, какова причина его ареста. Повидимому, нашему остроумному университетскому судье пришлось в голову разыскать связь между моим путешествием и арестом *Миннегероде*. Когда я вернулся сюда, я нашел свой шкаф запечатан-

ным, и, как мне сказали, бумаги мои подвергнуты были обыску. По моему требованию печати тотчас же были сняты, и бумаги мне вернули (ничего, кроме писем от вас и моих друзей); только несколько французских писем от Вильгельмины, Мустона, Люциуса и Беккеля были задержаны. Вероятно потому, что люди эти должны были прибегнуть к учителю французского языка, чтобы их прочитать. Я возмущен этим поведением; меня тошнит, когда я подумаю, что самые святые мои тайны были в руках этих грязных людей. И все это — знаете вы почему? Потому, что я уехал в тот же самый день, когда был арестован Миннегероде. На основании этого неопределенного подозрения нарушили мои священнейшие права и затем потребовали от меня только одного — чтобы я дал отчет в моем путешествии!!! Это я мог, конечно, сделать с большою легкостью; у меня есть письма от Беккеля, которые подтверждают каждое сказанное мною слово, и в моих бумагах нет ни одной строчки, которая могла бы меня компрометировать. Вы можете быть совершенно спокойны. Я на свободе, и нельзя себе представить, чтобы нашелся какой-нибудь повод арестовать меня. Я глубочайшим образом возмущен действием судебных властей, которые врываются в священнейшие семейные тайны на основании какого-то смутного намека на возможные подозрения. На университетском суде меня только спросили, где я находился в течение последних трех дней, и для того, чтобы осведомиться об этом, уже на второй день в моем отсутствии взламывают мою конторку и завладевают моими бумагами.

Я посоветуюсь с несколькими юристами — могут ли наши законы дать удовлетворение за такие правонарушения.

25. РОДНЫМ

Гиссен, 8 августа 1834.

Занятия мои идут своим обычным порядком, допросу я больше не подвергался. Ничего подозрительного не найдено, только французские письма, повидимому, до сих пор еще не расшифрованы; надо думать, что господин университетский судья должен для этого предварительно обучиться французскому языку. Их мне еще не возвратили. . . Впрочем, я обратился уже к дисциплинарному суду и просил защитить меня от произвола университетского судьи. Я с нетерпением жду ответа. Я ни в коем случае не хочу отказаться от удовлетворения, на которое имею право. Нарушение моих священнейших прав, грубое вмешательство во все мои тайны, просмогр бумаг, которые для меня святыня, — возмущают меня слишком глубоко, чтобы я не схватился за всякое средство, при помощи которого можно отомстить виновникам этого насилия. Университетского судью я уже почти сжил со света изысканно-вежливыми насмешками. Когда я вернулся назад и нашел свою комнату закрытою и свою конторку запечатанною, я тотчас же отправился к нему и сказал ему совершенно хладнокровно, с величайшею вежливостью в присутствии нескольких лиц: «Как я слышал, в мое отсутствие вы почтили мою комнату своим посещением, и вот я пришел, чтобы узнать причину

вашего столь любезного внимания и г. д.» — Жаль, что я не пришел к нему после обеда, Впрочем он и так чуть не лопнул, но вынужден был отвечать на мою язвительную иронию в тоне величайшей вежливости. Закон говорит, что домашний обыск может быть произведен только в случаях основательного подозрения, такого подозрения, которое наполовину уже является уликой. Вы видите, как здесь истолковывают закон. Подозрения, по крайней мере основательного, против меня не имеется, иначе меня должны были бы арестовать; ведь за то время, пока я нахожусь здесь, я мог бы совершенно парализовать следствие, уговорившись с другими лицами относительно одинаковых показаний и другими способами. Отсюда следует, что я еще ничем не скомпрометирован и что обыск у меня был предпринят только потому, что я не имею того распутного и рабского вида, при котором во мне нельзя было бы заподозрить демагога. Перенести молча такое насилие значило бы сделать соучастником в нем само правительство; это значило бы высказать, что никакой законной гарантии более не существует, это значило бы объявить, что попранное право не получает более никакого удовлетворения. Я не желал нанести нашему правительству столь грубое оскорбление.

Мы ничего не знаем о *Миннегероде*; слух, связанный с *Оффенбахом*, есть во всяком случае чистая выдумка; что я также был уже там, не может компрометировать меня более, чем всякого иного проезжающего... Если же меня арестуют без всякой законной причины, как без всякой законной причины обыскали мои

бумаги, — что же, с богом! С этим я ничего не могу поделать. И в этом я был бы так же мало виноват, как если бы на меня напала шайка бандитов, ограбила и умертвила меня. Это насилие, которому приходится подчиняться, если не имеешь достаточно силы для сопротивления; но слабость никому не может быть поставлена в упрек.

26. РОДНЫМ

Гиссен, конец августа 1834.

Со времени обыска прошло уже почти три недели, и до сих пор я не получил по этому поводу никакого объяснения. Опрос у университетского судьи в первый день не идет в счет, так как не стоит с этим ни в какой законной связи; Господин *Георги* в качестве *университетского судьи* потребовал у меня, как у *студента*, чтобы я осведомил его о моем путешествии, в то время как обыск он производил в качестве *правительственного комиссара*. Вы видите, таким образом, до какой анархии дошел наш законный порядок вещей. Я забыл, если не ошибаюсь, указать на то важное обстоятельство, что обыск был произведен у меня даже при отсутствии трех предписанных законом понятых и, следовательно, тем более носил характер воровского налета. Нарушение наших семейных тайн есть уже само по себе воровство более значительное, чем отнятие нескольких монет. Вломиться в мою комнату в мое отсутствие также было незаконно; они имели право только опечатать мои двери и присутствовать в мое отсутствие к обыску лишь в том

случае, если бы я не явился на вызов в суд. Таким образом, имели место три нарушения закона: обыск без обоснованного подозрения (как сказано, я еще не допрошен, хотя прошло уже три недели), обыск без понятых и, наконец, обыск на третий день моего отсутствия без предварительного вызова в суд.

Мое обращение в *дисциплинарный суд* в сущности излишне, так как университетский судья в качестве правительственного комиссара ему не подчинен. Я сделал этот шаг лишь как предварительный, надо было начать дело; я поставил себя под его защиту, я передал ему свою жалобу. По своему положению он *должен был бы* принять мое дело к производству, но люди трусоваты; я убежден, что они направят меня в другие инстанции. Я ожидаю их резолюции. . . .
Случай так прост и так ясен, что или должно быть дано мне полное удовлетворение, или же публично объявлено, что закон устранен и его место заступила сила, на которую можно апеллировать только к набатному колоколу и камням на мостовой.

27. ЗАУЕРЛЕНДЕРУ

Дармштат, 21 февраля 1835.

Милостивый государь, вместе с этими строками имею честь переслать вам рукопись. Это драматический опыт, сюжет которого заимствован из новейшей истории. Если вы будете склонны взять на себя его издание, то я покорнейше просил бы вас известить меня об этом

возможно скорее; в противном случае, будьте любезны отослать рукопись назад, в книжный магазин Гейера.

Вы меня очень обяжете, если перешлете господину Карлу Гуцкову прилагаемое при сем письмо и передадите ему драму на просмотр.

Ответ будьте добры вложить в запечатанный конверт с адресом: госпоже правительственной советнице Рейсс, в Дармштате. Различные обстоятельство заставляют меня настоятельно желать получить от Вас ответ возможно скорее.

С совершенным уважением остаюсь Вашим покорным слугою.

Бюхнер

28. ГУЦКОВУ

Дармштат, 21 февраля 1835.

Милостивый государь.

Быть может, из наблюдений над другими людьми, а при несчастии и по собственному опыту Вам уже известно, что существует такая степень нищеты, при которой люди забывают всякие условности и теряют способность чего-либо стесняться. Правда, некоторые утверждают, что в таких случаях лучше умереть с голоду, но в опровержение этого я могу сослаться на пример одного недавно ослепшего нищенствующего капитана, который заявил, что он застрелился бы, если бы не был вынужден сохранить свою жизнь, чтобы кормить семью. Это ужасно. Отсюда Вы можете видеть, что могут быть такие обстоятель-

ства, при которых человек, потерпевший в этом мире кораблекрушение, не может сбросить себя, как запасной якорь, с обломков корабля, и Вы не удивитесь поэтому, что я распахиваю Вашу дверь, врываюсь в Вашу комнату, приставляю Вам рукопись к груди и требую подаяния.

А именно, я прошу Вас прочитать эту рукопись как можно скорее, в случае, если это позволит Ваша совесть *критика*, рекомендовать ее господину Зауерлендеру и немедленно ответить.

О самом произведении могу Вам сказать только одно: что несчастные обстоятельства принудили меня написать его в течение всего только пяти недель. Я говорю это, чтобы дать Вам мотив для суждения об авторе, а не о драме самой по себе. Что я должен был бы из нее сделать, этого я сам не знаю. Я знаю только, что имею все основания краснеть перед *историей*; но я утешаю себя той мыслью, что за исключением Шекспира все поэты стоят, как школьники, перед лицом природы.

Я повторяю мою просьбу о скором ответе; в случае благоприятного исхода несколько строк, написанных Вашей рукой, если они придут сюда до ближайшей среды, могут спасти несчастного от очень тяжелой участи.

Вас, быть может, покоробит тон этого письма; примите тогда во внимание, что мне легче в лохмотьях просить милостыню, чем подавать слезницу во фраке, и, пожалуй, легче с пистолетом в руке крикнуть «Кошелек или жизнь!», чем пролепетать дрожащими губами: «Бог да благословит вас».

29. РОДНЫМ

Вейссенбург, 9 марта 1835.

Только что благополучно прибыл сюда. Путешествие совершилось быстро и удобно. Поскольку дело касается моей личной безопасности, можете быть совершенно спокойны. Основываясь на самых надежных данных, я нисколько не сомневаюсь, что мне будет разрешено *пребывание в Страсбурге*. . . Только настоятельная необходимость могла побудить меня так покинуть отечество и отчий дом. . . Я мог бы предстать перед нашей политической инквизицией; результатов следствия я не имел никаких оснований опасаться, но я имел все основания опасаться самого следствия. . . Я убежден, что по прошествии двух-трех лет не будет никаких препятствий к моему возвращению. Но если бы я остался на родине, это время пришлось бы мне просидеть в тюрьме во Фридберге; я был бы освобожден оттуда физически и духовно разрушенным. Это представлялось мне так ясно, я был в этом настолько уверен, что предпочел этому страшному несчастью добровольное изгнание. Теперь у меня руки и голова свободны. . . Теперь все в моих руках. Я с величайшим усердием займусь изучением *медицинско-философских наук*. На этом поле достаточно простора, чтобы совершить что-либо дельное, и наша эпоха как-раз нуждается в такого рода трудах. С тех пор, как я перешел границу, я чувствую себя свежим и жизнерадостным; я теперь совершенно одинок, но это как-раз прищипывает меня. Освободиться от постоянного опасения ареста и прочих преследо-

ваний, угрожавших мне в Дармштате, — это большое благо.

30. ГУЦКОВУ

Страсбург, март 1835.

Из официального приказа о моем аресте, опубликованного во «Франкфуртском журнале», Вы, быть может, уже знаете о моем отъезде из Дармштата. Несколько дней тому назад я прибыл сюда, в Страсбург; останусь ли я здесь, я еще сам не знаю — это зависит от различных обстоятельств. Меж тем моя рукопись совершит свой круговорот.

Будущее мое настолько проблематично, что начинает интересовать меня самого, а это уже много значит. На утонченное самоубийство при помощи труда мне не легко решиться; я надеюсь, что мне удастся предаваться лени по меньшей мере в течение четверти года, а затем я возьму задаток или у иезуитов под службу пресвятой деве Марии, или у сен-симонистов под «*femme libre*» [свободную женщину], или же умру вместе с моей невестой. Мы посмотрим. Быть может также, я доживу до того момента, когда собор снова напялит на себя якобинскую шапку. Что скажете Вы об этом? Впрочем, я шучу. Но вы увидите, на что способен немец, когда он голоден. Мне хотелось бы, чтобы вся нация находилась в таком же положении, как и я. О, если бы случился общий неурожай, и только пенька уродилась бы в изобилии! Это было бы весело, и мы сплели бы тогда хорошего удава. Мой «Дантон» это пока еще шелковый шнурочек, и моя муза — переодетый Самсон.

31. РОДНЫМ

Страсбург, 27 марта 1835.

Я сильно опасаясь, что результат следствия в достаточной степени оправдает тот шаг, который я сделал; произведены новые аресты, и в ближайшее время их ожидается еще больше. Миннегероде схвачен «in flagranti crimine» [на месте преступления]. В нем видят путь к раскрытию всех имевших до сих пор место революционных происков: всеми средствами стараются вырвать у него его тайну. Как-то он, при его слабом телосложении, сможет перенести те медленные пытки, которым его подвергают?.. Было ли в немецких газетах сообщено о казни лейтенанта Козерица в Гогенасперге в Вюртемберге? Он был осведомлен о франкфуртском комплоте, и несколько времени тому назад его расстреляли. Книготорговец Франк из Штутгарта и еще несколько человек по аналогичному обвинению приговорены к смерти, и полагают, что приговор будет приведен в исполнение.

32. РОДНЫМ

Страсбург, 20 апреля 1835.

Сегодня утром я получил печальное известие. Сюда прибыл один беглец из района Гиссена; он рассказал мне, что в районе Марбурга арестовано несколько лиц, причем у одного из них найден печатный станок, кроме того, привлечены к делу мои друзья А. Беккер и Клемм и ректор Вейдиг из Буцбаха. При таких обстоятельствах для меня непонятно освобождение П...

Только теперь я начинаю радоваться тому, что уехал, меня ни в коем случае не пощадили бы. . . Я очень спокойно смотрю в лицо будущему. Во всяком случае, я мог бы жить литературным заработком. . . Мне предлагают, между прочим, посылать в «Литературный листок» критику на вновь появляющиеся французские произведения; это хорошо оплачивается. Я мог бы заработать еще гораздо больше, если бы захотел употреблять на это больше времени; но я твердо решил не отступать от моего плана академических занятий.

33. РОДНЫМ

Страсбург, 5 мая 1835.

Шульц и его жена очень мне нравятся; я уже довольно давно с ними познакомился и частенько их посещаю. Оказалось, что *Шульц* вовсе не является той юркой канцелярской крысой, какой я его считал; это довольно спокойный и очень непритязательный человек. Он предполагает в самое ближайшее время отправиться со своей женой в Нанси, а затем, приблизительно через год, переселиться в Цюрих, чтобы там читать лекции. . .

Условия, в которых находятся политические беглецы в Швейцарии, отнюдь не так плохи, как воображают; строгие мероприятия распространяются только на тех, которые своими непрекращающимися безумствами в самой Швейцарии вызвали трения между нею и другими странами и чуть-чуть было не вовлекли ее в войну.

Беккель и Баум неизменно остаются моими интимнейшими друзьями; последний думает напечатать свой трактат о методистах, за который он получил премию в три тысячи франков. Я от его имени обратился к Гуцкову, с которым нахожусь в постоянной переписке. В настоящий момент он в Берлине, но скоро должен вернуться. Он, повидимому, многого от меня ожидает; это меня очень радует — его литературный журнал пользуется большой популярностью. Как он мне писал, в июне он собирается приехать сюда. Я узнал от него, что некоторые выдержки из моей драмы появились в «Фениксе». Он уверял меня, что это принесло журналу большой успех. Скоро будет опубликована вся пьеса в целом. Если она попадетя вам на глаза, то я прошу вас, составляя о ней свое мнение, прежде всего иметь в виду, что я должен был оставаться верным истории и изображать деятелей революции такими, какими они были на самом деле: кровавыми, распутными, энергичными и циничными. Я рассматриваю свою драму, как историческую картину, которая должна быть похожа на свой оригинал. . . Гуцков просил меня о критике, как об особом одолжении; я не мог отказаться, — ведь в свободные часы я все равно занимаюсь чтением, и если иногда, взяв перо в руки, напишу кое-что о прочитанном, то это не будет стоить большого труда и не отнимет много времени. . . День рождения короля прошел здесь очень тихо. Никто этим не интересуется, даже республиканцы были спокойны; они больше не хотят восстаний, но их принципы с каждым днем находят себе все более и более последова-

телей, особенно среди молодого поколения, и, таким образом, мало-по-малу, без значительного переворота, правительство само собою должно будет развалиться... *Сарториус* арестован, а также *Беккер*. Сегодня узнал я, кроме того, об аресте господина Вейдига и пастора Фликка из Петервейля.

34. РОДНЫМ

Страсбург, среда после троицы 1835.

Меня очень беспокоит то, что вы мне пишете о распространяющихся в Дармштате слухах по поводу существующей якобы в Страсбурге организации. Здесь находится не более восьми-девяти немецких беглецов; я почти не имею с ними никаких связей, и о какой-нибудь политической организации не может быть и речи. Они так же хорошо, как и я, видят, что при существующих обстоятельствах такая организация была бы совершенно бесплодной, но в высшей степени гибельной для тех, кто в ней участвует. Они имеют лишь одну цель: своим трудом, прилежанием и добрыми нравами поднять сильно упавшее здесь реноме немецкой эмиграции, и я нахожу это в высшей степени похвальным. Нашему правительству Страсбург, повидимому, представляется очень подозрительным и опасным; поэтому распространяемые слухи несколько меня не удивляют. Я опасаясь лишь одного, что наше правительство будет требовать высылки виновных. Мы не пользуемся здесь никакой юридической защитой, мы пребываем здесь, в сущности, вопреки закону, нас только терпят, и потому мы всецело зависим от произвола префекта. Если бы

подобного рода требование поступило от нашего правительства, то не стали бы расследовать, существует или нет организация, а просто выслали бы всех, кого это касается. Я, правда, могу в достаточной степени рассчитывать на протекцию, чтобы удержаться здесь, но это возможно лишь до тех пор, пока гессенское правительство не потребует моей *персональной* высылки, ибо в этом последнем случае закон говорит слишком ясно для того, чтобы местное начальство могло уклониться от его выполнения. Я надеюсь, однако, что все это преувеличено. Касается нас также и следующий факт: доктор Шульц несколько дней тому назад получил приказ оставить Страсбург; он жил здесь очень уединенно и держал себя чрезвычайно скромно — и все-таки! Я надеюсь, что наше правительство считает меня слишком незначительным для того, чтобы прибегать по отношению ко мне к таким мероприятиям, и что мне удастся без помехи остаться здесь. Скажите знакомым, что я отправился в Швейцарию.

Вчера я говорил с Гейманом. За последнее время сюда снова перебрались пять беглецов из Дармштата и Гиссена и уже проехали дальше в Швейцарию. Среди них *Розенштиль*, *Винер* и *Штамм*.

35. ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ

Страсбург, июль 1835.

Я не сказал бы тебе этого, если бы мог верить хотя бы в малейшую возможность политического переворота. За последние полгода я совершенно убедился в том, что ничего нельзя поде-

лать и что каждый, кто в данный момент приносит себя в жертву, даром платится своей шкурой. Я не могу сказать тебе ничего более определенного, но я знаю обстоятельства момента; я знаю, как слаба, незначительна, раздроблена либеральная партия. Я знаю, что целесообразное, единодушное действие не возможно и что всякая попытка окончится безрезультатно... Обстоятельное знакомство с деятельностью немецких революционеров за границей убедило меня, что и с этой стороны нельзя ни на что надеяться. Среди них царствует вавилонское смешение языков, которое немислимо распутать. Возложим свои надежды на время.

36. ГУЦКОВУ

Страсбург, 1835.

Вся революция разделалась на либералов и абсолютистов, но ее должны взять в свои руки массы необразованных и бедняков; *отношение между богатыми и бедными* есть единственный революционный элемент в мире. Один только голод может породить богиню свободы, один только Моисей, наслав на нас семь казней египетских, смог бы стать нашим мессией. Откормите крестьян, и революция умрет от апоплексии. Курица в горшке каждого крестьянина свернет шею Галльскому петуху.

37. РОДНЫМ

Страсбург, июль 1835.

Мне здесь еще передано устно много неприятных известий из Дармштата. *Кох, Валлот, Гейль-*

фус и один из моих гиссенских друзей, по имени *Беккер*, недавно прибыли сюда, молодой *Штамм* также находится здесь. Явилось сюда и еще несколько человек, но все они направляются далее в Швейцарию или в глубь Франции. Да, я могу говорить теперь о счастье, я чувствую себя иногда особенно легко и свободно, окидывая взглядом широкое пространство вокруг меня и вспоминая при этом тесный дармштатский арестный дом. Несчастные! Миннегероде сидит почти уже год; он должно быть совершенно изнурен телесно, но это не мешает ему обнаруживать героическую твердость. Говорят, что его неоднократно подвергали побоям — я не хочу и не могу этому верить. *А. Беккер* покинут богом и миром: его мать умерла, когда он сидел в гиссенской тюрьме; через две недели его известили об этом!! *Клемм* — предатель, это несомненно; и все же, когда я думаю об этом, иногда мне кажется, что это только сон. Знаете ли вы, что его сестра и свояченица также арестованы и отвезены в Дармштат и притом, весьма вероятно, по его собственному оговору? Впрочем, он роет самому себе могилу; своей цели — жениться на фрейлейн. . . в Гиссене — он все-таки не достигнет, общественное презрение, которое, несомненно, на него обрушится, убьет его. Я очень опасаясь только, что все бывшие до сих пор аресты — это лишь прелюдия; дальше дело пойдет еще жарче. Правительство не в состоянии умерить себя, оно до крайности злоупотребляет теми выгодами, которые дают ему преимущества переживаемого момента, это очень неумно и послужит нам на пользу. Молодой *фон Бигелебен*, *Вейденбуш*,

Флорес также привлечены к дознанию; этому не будет конца. Среди арестованных имеются три пастора: *Фликк*, *Вейдиг* и *Тудихум*. Я очень опасаясь, что наше правительство не оставит нас здесь в покое; правда, я уверен в заступничестве профессоров *Лаута* и *Дювернуа*, а также доктора *Беккеля*, все они находятся в хороших отношениях с префектом.

Перевод свой я давно уже закончил; как обстоит дело с моей драмой, не знаю. Прошло уже пять-шесть недель с того времени, как *Гуцков* мне написал, что она будет напечатана; с тех пор я о ней больше ничего не слышал. Я думаю, она должна была уже выйти в свет, и, вероятно, ее пришлют мне лишь тогда, когда появятся рецензии, вместе с этими последними; иначе я ничем не могу объяснить этого замедления. Иногда я боюсь за *Гуцкова*; он пруссак и не так давно навлек на себя неудовольствие своего правительства за предисловие к одной книжке, напечатанной в Берлине. Пруссаки не любят церемониться; быть может, он уже сидит в какой-нибудь прусской крепости. Но будем надеяться на лучшее.

38. РОДНЫМ

Страсбург, 16 июля 1835.

Я живу здесь совершенно беспрепятственно; правда, несколько времени тому назад сюда пришло отношение из *Гиссена*, но полиция, повидимому, не намерена принимать его к сведению. . . Мне становится тяжело, когда я представляю себе *Дармштат*. Я вижу наш дом и сад, а потом,

невольно вспоминаю отвратительный арестный дом. Несчастные! Чем это кончится? Конечно, так же, как и во Франкфурте, где арестованные один за другим умирают и их потихоньку хоронят. Смертный приговор, эшафот — не страшны! Человек умирает за свое дело. Но медленно умирать в тюрьме — это ужасно! Не можете ли вы мне сказать, кто сидит в Дармштате? Здесь много всяких слухов, но толком ничего не поймешь. Клемм, повидимому, играет позорнейшую роль. Я любил этого парня, он казался мне чрезвычайно страстным, но открытым, живым, смелым и бодрым. Не слышали ли вы чего-нибудь о Миннегероде? Неужели его действительно били? Я не могу себе этого представить. Его героическая твердость должна была внушить почтение даже самому одеревяневшему аристократу.

39. РОДНЫМ

Страсбург, 28 июля 1835.

Я должен сказать несколько слов о моей драме. Прежде всего, приходится отметить, что мое разрешение вносить в нее некоторые изменения было использовано слишком широко. Почти на каждой странице выпуски или вставки и почти всегда ко вреду для целого. Иногда смысл совершенно искажен или вовсе уничтожен, и на место него оказывается почти полная бессмыслица. Кроме того, книга изобилует безобразнейшими опечатками. Мне не посылали корректурных листов. Заглавный лист безвкусен, и на нем проставлено мое имя, что я категори-

чески запретил; к тому же в заголовке рукописи нет моего имени. Кроме того, корректор вложил в мои уста несколько пошлостей, которых я ни в коем случае не мог бы сказать. Блестящую критику Гудкова я прочитал и к моей радости заметил, что я чужд тщеславия. Что касается обвинения моей книги в *безнравственности*, то я должен возразить на это следующее: *драматический поэт* на мой взгляд является не чем иным, как историком, но он стоит *над* историком в том смысле, что вторично создает для нас историю, дает нам не сухой рассказ, а непосредственно вводит нас в жизнь определенной эпохи. Вместо характеристик дает характеры, вместо описаний — образы. Его высшая цель — как можно ближе подойти к истории, как она действительно совершалась. Книга его не должна быть ни более нравственной, ни менее нравственной, чем *сама история*; но история создана господом богом не для чтения молодых девиц, а потому и мою драму нельзя упрекать в том, что она к этому мало пригодна. Ведь не мог же я из Дантона и бандитов революции сделать героев добродетели! Раз я хотел изобразить их распутство, я должен был сделать их именно распутными; раз я хотел показать их безбожие, я должен был заставить их говорить языком атеистов. Если при этом встречаются кое-какие неприличные выражения, то вспомните всем известный бесстыдный язык того времени; то, что говоряг мои герои, есть лишь слабый отзвук его. Меня можно было упрекать лишь в том, что я избрал себе такой сюжет, но несостоятельность подобного рода упреков давно уже доказана.

Если бы они были справедливы, пришлось бы выбросить величайшие шедевры поэзии. Поэт — не учитель морали. Он ищет и создает образы, он оживляет прошлые времена, и люди могут учиться у него совершенно так же, как они учатся, изучая историю или наблюдая то, что происходит вокруг них в человеческой жизни. В противном случае, не следовало бы изучать истории, так как там рассказывается много безнравственных вещей, надо было бы ходить по улицам с завязанными глазами, чтобы не увидеть неприличных сцен, и пришлось бы кричать караул по поводу того, что бог создал мир, где происходит так много гнусностей. Если же мне скажут, что поэт должен показывать мир не таким, каков он есть, а таким, каким он должен быть, то я отвечаю, что не собираюсь делать мир лучшим, чем его сделал господь бог, который, конечно, сотворил мир именно таким, каким он должен быть. Что касается так называемых идеальных поэтов, то я нахожу, что они не создали почти ничего, кроме марионеток с небесно-голубыми носами и аффектированным пафосом, они не дают нам людей с плотью и кровью, страдания и радости которых я мог бы переживать, поступки которых внушали бы мне отвращение или восхищение. Одним словом, я очень высоко ставлю Гете или Шекспира, но очень низко Шиллера. Само собою понятно, однако, что должна появиться и очень неблагоприятная критика; ведь должны же правительства, устами оплачиваемых ими литераторов, доказывать, что все их противники глупцы или безнравственные люди. Впрочем, я никоим обра-

зом не считаю мое произведение совершенным и с благодарностью приму всякую подлинную эстетическую критику.

Слышали ли вы об ужасном ударе молнии, поразившем на этих днях здешний собор? Я никогда не видал такой яркой вспышки огня, никогда не слышал такого страшного грома; на несколько мгновений я был как бы оглушен. Старожилы не запомнят, чтобы гроза причиняла такие громадные разрушения. Камни раздроблены с чудовищною силою и далеко откинута в сторону; на расстоянии ста шагов в окружности крыши соседних домов пробиты упавшими камнями.

Здесь опять появились три беглеца, в том числе *Нивергельдер*; в Гиссене на днях были арестованы два студента. Я держу себя чрезвычайно осторожно. Мы здесь не слышали о том, чтобы кто-нибудь был арестован на границе. Вероятно, это басня.

40. РОДНЫМ

Страсбург, начало августа 1835.

Прежде всего я должен вам сказать, что по особому ходатайству мне обещано охранное удостоверение в случае, если я смогу представить метрическое свидетельство (не свидетельство о подданстве). В этом надо видеть лишь формальность, предписанную законом; я должен представить какой-нибудь документ, хотя бы он сам по себе и не имел никакого значения... Впрочем, я живу здесь совершенно беспрепятственно; это только профилактическое мероприя-

тие, предпринимаемое мною на будущее время, но все же распространяйте слух, что я отправился в Цюрих; так как я уже довольно давно не получал от вас писем по почте, то полиция не может точно знать, где я нахожусь, тем более, что я писал своим друзьям о своем отъезде в Цюрих.

Сюда опять прибыло несколько беглецов, среди них один из сыновей профессора *Фохта*. Они принесли известие о новых арестах трех отцов семейств! Один был арестован в Родельгейме, другой во Франкфурте, третий в Оффенбахе. Говорят также, что арестована сестра несчастного *Нейгофа*, красивая и милая девушка. Достоверно известно, что одна женщина перевезена из Гиссена в дармштатский арестный дом; утверждают, что это. Очевидно, правительство все это держит в большой тайне, так как вы в Дармштате, повидимому, очень плохо информированы. Мы узнаем все новости от беглецов, которые осведомлены об этом лучше всего, так как в большинстве своем они сами были привлечены к дознанию. Что Миннегероде во Фридберге сидел некоторое время в ручных кандалах, я знаю наверное; я знаю это от человека, который сидел вместе с ним. Говорят, что он смертельно болен; да сократит небо его страдания! Верно также, что арестованные получают только тюремную пищу и не пользуются ни освещением, ни книгами. Благодарю небо, что я во-время предвидел, что должно случиться; я сошел бы с ума в такой дыре. . . В политике здесь снова начинается оживление. Адская машина в Париже и предложенные палате законо-

проекты возбуждают много толков в прессе. Правительство поступает совершенно антиморально: хотя юридически доказано, что виновник покушения — хитрый негодяй, служивший уже всем партиям и, по всей вероятности, получивший деньги за свою работу, тем не менее, правительство старается навязать преступление республиканцам и карлистам и пользуется возбуждением текущего момента, чтобы провести невыносимые ограничения для печати. Полагают, что закон пройдет в палате и, быть может, даже будет принят в еще более суровой форме. Правительство очень неумно: через полтора месяца об адской машине позабудут, и тогда оно со своим законом окажется лицом к лицу с народом, который за последние годы привык публично высказывать все, что приходит ему в голову. Самые тонкие политики устанавливают связь между адской машиной и свиданием монархов в Калише. Мне кажется, что они не совсем неправы: вспомните адскую машину при Бонапарте! Убийство послов в Раштате... Как видим, абсолютные монархи стараются привести все опять в состояние прежнего хаоса; Польшу, Италию, Германию они уже растоптали — нехватает только Франции; она — над их головами, как Дамоклов меч. Во всяком случае, нельзя допустить, чтобы в Калише были выброшены в окошко миллионы просто так, для препровождения времени. Если бы король был убит, наступившее после его смерти смятение было бы ловко использовано, и войска очень быстро оказались бы на Рейне. Никакого другого объяснения я не могу при-

думать для этого покушения. У республиканцев, во-первых, нет денег, и, во-вторых, они находятся в таком жалком положении, что ничего не смогли бы предпринять даже в том случае, если бы король пал. Пожалуй еще отдельные легитимисты могли бы быть здесь запутаны. Я не думаю, чтобы судебное разбирательство разъяснило это дело.

41. РОДНЫМ

Страсбург, 17 августа 1835.

О каких-либо новых предприятиях мне ничего не известно. Я и все мои друзья того мнения, что сейчас все должно быть предоставлено времени; впрочем, те злоупотребления, с которыми князя используют свою восстановленную власть, могут быть лишь нам на пользу. Не давайте сбивать себя с толку всевозможным слухам; говорят, что даже вас посетил какой-то человек, выдававший себя за одного из моих друзей. Я не могу припомнить, чтобы когда-нибудь видел этого человека; но, по рассказам других, это определенный прохвост, который, по всей вероятности, распространил также и слух о существующей здесь организации. Пребывание принца Эмиля, который в настоящее время находится здесь, могло бы иметь для нас плохие последствия, если бы он пожелал, чтобы префект нас выслал; однако мы считаем себя слишком ничтожными для того, чтобы его высочество стал нами заниматься. К тому же почти все эмигранты уехали в Швейцарию или внутрь Франции; через несколько дней отправляются

еще несколько человек, так что здесь останется не более пяти или шести.

42. ГУЦКОВУ

Страсбург, осень 1835.

То, что Вы мне пишете о послании из Швейцарии, заставляет меня смеяться. Я уже вижу, от кого оно исходит. Этот человек был мне некогда — уже давно — очень дорог, а потом стал невыносимую обузой, которую я уже несколько лет таскаю за собою; без симпатии, без любви, без доверия, я не знаю, какую проклятою силою привязан он ко мне и мучает меня, и я должен сносить его, как необходимое зло! Я чувствовал себя, как парализованный или калека, и не знал, как облегчить мои страдания. Теперь я доволен, словно смертный грех свалился с моей души. Я наконец нашел надлежащий способ выбросить его за дверь. До сих пор я был безрассудно мягкосердечен; мне было бы легче убить его, чем сказать: «Убирайся вон!» Но теперь я от него освободился. Славу богу! Ничто в этом мире не обходится так дорого, как гуманность.

43. РОДНЫМ

Страсбург, 20 сентября 1835.

Мне открылся новый источник; я имею в виду большое литературное издание под заглавием «Немецкое обозрение», которое с начала нового года будет выходить в свет еженедельными

книжками. *Гуцков* и *Винбарг* будут руководить этим предприятием; мне предлагают давать месячные обзоры. Хотя это, быть может, и дало бы мне возможность обеспечить себе регулярный доход, я все же, в интересах моих занятий, отклонил обязательство давать периодические обзоры. До конца года я, быть может, еще что-нибудь напечатаю.

Итак, *Клемм* на свободе? Это скорее несчастный, чем преступник, и я более жалею его, чем презираю: и ловко же, должно быть, пользовались безумную страсть бедняги. Он вовсе не был лишен чувства чести; я не думаю, чтобы он был в состоянии перенести свой позор. Его семья отказалась от него за исключением старшего брата, который, повидимому, играл в этом деле главную роль. Очень многие из-за них пострадали. Говорят, что положение Миннегероде несколько улучшилось. Неужели же *Гладбах* до сих пор еще не получил приговора? Вот это я называю быть погребенным заживо. Я чувствую содрогание, когда подумаю, что такова могла бы быть и моя участь.

44. РОДНЫМ

Страсбург, октябрь 1835.

Я добыл себе здесь, между прочим, разные интересные сведения об одном друге Гете, несчастном поэте, по имени *Ленц*, который был здесь одновременно с Гете и стал полупомешанным. Я хочу напечатать о нем статью в одном из немецких журналов. Вместе с тем я собираю материал для работы на философскую или

естественно-историческую тему. Еще некоторое время упорного изучения, и дорога будет проложена. Здесь есть люди, которые пророчат мне блестящую будущность. Я ничего не имею против.

45. РОДНЫМ

Страсбург, 2 ноября 1835.

Я определенно знаю, что в Дармштате рассказывают обо мне самые фантастические истории; уже в третий раз распространился слух о моем аресте на границе. Я нахожу это естественным — чрезвычайно большое число арестов и приказов о задержании беглецов должно возбуждать толки, а так как публика, конечно, не знает, в чем тут в сущности дело, то она и строит самые дикие гипотезы.

Из Швейцарии я имею самые лучшие известия. Не исключена возможность, что еще до нового года я получу докторскую шапку от цюрихского факультета, и в этом случае после ближайшей пасхи начну читать там лекции в качестве приват-доцента. В двадцать два года едва ли большего можно требовать. . .

Недавно мое имя пародировало в «Альгемайне Цейтунг». Дело шло о большом литературном журнале «Немецкое обозрение», для которого я обещал доставлять статьи. Это издание еще до выхода в свет подверглось нападкам, но затем было указано, что достаточно назвать имена гг. Гейне, Берне, Мундта, Шульца, Бюхнера и т. д., чтобы дать понятие о том успехе, который обеспечен журналу. . .

В «Temps» появилась статья о тех издевательствах, которым был подвергнут Миннегероде; мне кажется, что она написана была в Дармштате. Дело действительно зашло далеко — несчастные друзья мои!

46. ГУЦКОВУ

Страсбург [1835]

Вместе с этим письмом Вы получите томик стихов моего друга *Штебера*. Легенды действительно хороши, но я не почитатель манеры *Шваба* и *Уланда* и той партии, которая всегда обращает свои взоры назад в средние века, так как не находит себе места в современности. Но все же эта книжечка мне нравится; и если Вы не сможете сказать о ней ничего благоприятного, то прошу Вас лучше всего ничего о ней не пишите. Я здесь глубоко вжился в эту страну; Вогезские горы я люблю, как родную мать, я знаю каждую горную вершину и каждую долину, и здешние старинные легенды так оригинальны и таинственны, а оба *Штеберы* — мои старые друзья, с которыми я в первый раз совершил путешествие по горам. *Адольф* несомненно обладает талантом, его имя, вероятно, известно Вам по «Альманаху муз». *Август* ему уступает, но он хорошо владеет языком.

Вещь эта не лишена значения для Эльзаса, это одна из тех редких попыток, которые делают некоторые эльзасцы, желающие отстоять свою немецкую национальность во Франции или, по меньшей мере, не разрывать до конца духовной связи с отечеством. Было бы грустно,

если бы страсбургский собор оказался некогда на совершенно чуждой нам почве. Той цели, ради которой в значительной мере была составлена эта книжечка, очень бы помогло, если бы предприятие встретило поддержку в Германии, и с этой стороны я особенно рекомендую ее Вашему вниманию.

Я чувствую себя совсем дураком, изучая философию; я учусь здесь познавать нищету человеческого духа с новой его стороны. Ей-богу! Если бы можно было вообразить себе, что дыры в наших штанах — окна великолепного дворца, мы могли бы жить по-королевски! Но так как этого нет, то жестоко дрожишь от холода.

47. РОДНЫМ

Страсбург, 1 января 1836.

Запрещение «Немецкого обозрения» не причиняет мне особенного вреда. Несколько статей, уже готовых, я могу послать в «Феникс». Меня смешит, как благочестиво и высокоморально стало вдруг наше правительство. *Баварский король* запрещает безнравственные книги! Он должен был бы тогда прежде всего запретить свою собственную биографию, ибо ничего более грязного никогда не было написано! *Великий герцог Баденский*, первый рыцарь двойного ордена мопса, становится вдруг рыцарем святого духа и велит арестовать Гуцкова, а добрый немецкий Михель верит, что все это совершается во славу религии и христианства и хлопает в ладоши. Я не знаю этих книг, о которых теперь

везде столько толкуют; публичной библиотеки здесь нет, и они слишком дороги, чтобы купить их на собственные деньги. Но если даже все то, что говорят, — правда, то в худшем случае речь могла бы идти о заблуждении ума, ложно направленного философскими сочинениями. Это обычный прием, употребляемый для того, чтобы снискать одобрение толпы, кричать во всю глотку: «Безнравственно!» К тому же не нужно особенного мужества, чтобы напасть на писателя, который сидит в немецкой тюрьме и потому лишен возможности отвечать. Гуцков до сих пор держал себя благородно и твердо и дал образчики большого таланта; откуда же вдруг такие вопли? Мне представляется, что спорят о благах мира сего, делая вид, что спасают святую троицу. Гуцков в своей области мужественно боролся за свободу; и вот хотят заставить замолкнуть тех немногих, которые еще не сдались и осмеливаются говорить! Впрочем, я лично отнюдь не принадлежу к литературной партии Гуцкова и Гейне, к так называемой *Молодой Германии*. Лишь при полном непонимании наших общественных отношений можно верить, что посредством текущей прессы осуществим коренной переворот в наших религиозных и общественных идеях. Равным образом, я вовсе не разделяю их мнений относительно брака и христианства; но меня злит, когда люди, в тысячу раз больше нагрешившие на практике, чем они в теории, тотчас же принимают мину морального негодования и бросают камень в юный и полный силы талант. Я иду своим собственным путем и остаюсь на поприще *драмы*, которое не имеет

ничего общего со всеми этими спорными вопросами; я рисую свои характеры так, как они на мой взгляд созданы природой и историей, и смеюсь над людьми, которые стараются сделать меня ответственным за их нравственность или безнравственность. Об этом у меня свои мысли. . .

Я только что вернулся со святочного базара: везде кучки оборванных, замерзших детей, которые с широко раскрытыми глазами и печальными лицами стоят перед великолепными произведениями из теста, сусального золота и всякой дряни. Мне стало очень горько при мысли, что даже эти жалкие удовольствия и радости — недостижимая мечта для большинства людей.

48. РОДНЫМ

Страсбург, 15 марта 1836.

Я не допускаю, чтобы могли быть хоть какие-нибудь улики против *Кюхлера*; мне казалось всегда, что он ничем не занимается, кроме своей практики и пополнения своих знаний. Если он просидит даже короткое время, то все же будущность его будет испорчена; его могут выпустить на свободу, освободив от судебного преследования, но вместе с тем возьмут подписку о невыезде и запретят заниматься практикой, — на основании последних распоряжений это можно сделать. Могу сообщить вам с полной достоверностью, что на-днях в Баварии два молодых человека, просидевшие почти четыре года в строгом заключении, были выпущены на свободу, как ни в чем *не виновные!* Кроме *Кюхлера*

и Гросса арестованы еще три бюргера из Гиссена; из них два имеют собственное дело, а третий сверх того еще отец семейства. Мы слышали также, что *Макс фон Бигелебен* был арестован но тотчас же выпущен на поруки. Говорят, что Гладбах несколько времени тому назад приговорен к восьми годам каторжной тюрьмы; однако приговор этот был потом опять отменен, и следствие начинается сначала. Я был бы вам благодарен, если бы вы мне сообщили сведения о том и о другом.

В награду я расскажу вам замечательную историю, которую господин И. вычитал в английских газетах и которая, как там отмечено, не была сообщена в немецкой прессе. Директором театра в Брауншвейге является известный композитор *Метфессель*. У него есть хорошенькая жена, которая нравится герцогу, пара глаз, которые он охотно закрывает, и пара рук, которые он охотно открывает. Герцог страдает своеобразной манией любоваться на мадам *Метфессель* в театральных костюмах. Поэтому перед началом спектакля он обыкновенно находится с нею один на сцене. *Метфессель* ведет интриги против одного видного актера, имя которого у меня вылетело из головы. Актер хочет отомстить и подговаривает машиниста; в один прекрасный вечер машинист поднимает занавес на четверть часика раньше срока, и первую сцену разыгрывает герцог с мадам *Метфессель*. Герцог пришел в совершенную ярость — выхватил шпагу и заколол машиниста; актер спасся бегством.

Могу вас уверить, что эмигранты не обнаруживают здесь ни малейшей политической актив-

ности; достаточным доказательством этого являются многочисленные, хорошо выдержанные ими экзамены. Вообще беглецы и арестованные отнюдь не принадлежат к числу наименее знающих, малоспособных или распущенных. Я не преувеличу, если скажу, что эта судьба постигла как-раз самых лучших учеников гимназии и самых прилежных и знающих студентов, включая и тех, которым не дали сдать экзамена и лишили доступа к государственной службе. Люди, бегающие теперь по Дармштату в поисках местечка, являются в большинстве своем довольно жалкими представителями молодого поколения.

49. ГУЦКОВУ

Страсбург [1836].

Дорогой друг, я слишком долго молчал, не правда ли? И что сказать Вам в оправдание? Я также сидел в тюрьме и в самой скучной из всех земных тюрем — я писал трактат, день и ночь писал длинный, широковещательный, глубокомысленный трактат о противнейших вещах, и сам не понимаю, как у меня хватило терпения. А именно, мною овладела мания прочитать в Цюрихе в ближайший семестр курс о *развитии немецкой философии после Декарта*; я должен к тому же получить мой диплом, но люди, повидимому, не склонны увенчать докторской шапкой моего возлюбленного сына, Дантона; что же оставалось делать?

Итак, Вы во Франкфурте, целы и невредимы! Мне жаль, но в то же время я радуюсь за Вас, что Вам не пришлось искать приюта у Ребште-

кея. О теперешнем положении литературы в Германии я почти ничего не знаю; мне попало в руки лишь несколько запрещенных брошюр, неизвестно как оказавшихся здесь за Рейном.

В борьбе против Вас была проявлена основательная низость, очень здоровая низость, и меня удивляет даже, что мы еще в состоянии быть такими естественными! Насмешки Менцеля над политическими дураками, сидящими в немецких крепостях. . . Ах, эти люди! Я мог бы вам рассказать о них забавные историйки.

Это меня глубоко возмутило, мои бедные друзья! Не думаете ли Вы, что Менцель в ближайшее время получит профессуру в Мюнхене?

Впрочем, чтобы быть вполне откровенным, я должен сказать, что путь, избранный Вами и Вашими друзьями, на мой взгляд отнюдь не является самым мудрым. Реформировать общество при помощи идеи силами образованного класса? — Невозможно! Наша эпоха *насквозь материалистична*; чем прямее приступили бы Вы к делу политически, тем скорее достигли бы той точки, когда реформа прекращается сама собой. Вы никогда не перейдете через пропасть между образованным и необразованным обществом.

Я пришел к убеждению, что образованное и зажиточное меньшинство, каких бы уступок для себя ни добилось оно от власти, никогда не сумеет устранить свои обостренные отношения с широкой массой. А сама широкая масса? Чтобы привести ее в движение, имеются два рычага: материальная нищета и религиозный фанатизм. Каждая партия, которая сумеет нажать эти рычаги — победит. Наше время нуж-

дается в железе и хлебе — и, кроме того, ему нужен крест или что-то в этом роде. Я полагаю, что в социальных вопросах надо исходить из некоторого абсолютного правового принципа, искать пробуждения новой духовной жизни в народе, и пусть отправляются к чорту современные отжившие общества. Зачем подобным людям болтаться между небом и землею? Ведь вся их жизнь состоит в попытках отогнать от себя ужаснейшую скуку. Пусть они вымирают — это единственно новое, что они еще могут пережить.

50. РОДНЫМ

Страсбург, май 1836

Я твердо решил оставаться здесь до ближайшей осени. Последние происшествия в Цюрихе являются главным основанием для этого решения. Вы, вероятно, знаете, что среди немецких эмигрантов были произведены аресты под тем предлогом, что они готовят нападение на Германию. Подобные же случаи произошли и в других местах Швейцарии. Даже здесь эта глупая история имела свой отклик, и некоторое время сомневались, что нас можно здесь оставить, так как были сведения, что мы (в количестве семи, максимум восьми человек) собираемся с оружием в руках перейти через Рейн! Однако все кончилось благополучно, и нам не приходится спасаться никаких дальнейших неприятностей. Наше гессенское правительство, повидимому, иногда вспоминает о нас с любовью.

В чем тут, в сущности, дело, я в точности не

знаю; но так как я знаю, что большинство эмигрантов при современных условиях считает всякую прямую революционную попытку бессмыслицей, то о чем-нибудь подобном могло думать только совершенно ничтожное, неопытное меньшинство. Главную роль среди заговорщиков играл, по слухам, некий господин фон Эйб. Что этот индивидуум агент Союзного сейма — более чем вероятно; об этом весьма недвусмысленно свидетельствуют паспорта, найденные у него цюрихской полицией, а также то обстоятельство, что он получал значительные суммы денег от одного франкфуртского торгового дома. Говорят, парень этот был когда-то сапожником, а затем странствовал в обществе одной особы легкого поведения из Мангейма, которую он выдает за венгерскую графиню. Повидимому, ему действительно удалось надуть некоторых ослов среди эмигрантов. Вся эта история могла иметь лишь одну цель: в случае, если эмигранты позволят спровоцировать себя на открытое выступление, дать Союзному сейму основательный повод добиваться высылки из Швейцарии всех изгнанников. Впрочем, этот фон Эйб уже давно был на подозрении, и относительно его нас не раз предостерегали. Во всяком случае план этот потерпел крушение, и для большинства беглецов дело это не будет иметь никаких последствий. Тем не менее, я счел бы неблагоприятным отправиться в Цюрих немедленно; при таких обстоятельствах лучше держаться пока в стороне. Цюрихское правительство, естественно, несколько встревожено и недоверчиво, и поэтому в настоящий момент мое переселение туда могло бы на-

толкнуться на некоторые затруднения. По истечении двух-трех месяцев вся эта история будет, конечно, забыта.

51. РОДНЫМ

Страсбург, июнь 1836.

Не может быть даже и речи о том, чтобы в настоящий момент государство отказалось от права убежища, ибо такой отказ обозначал бы политическое унижение перед теми государствами, по требованию которых он производится. Швейцария, если бы она сделала такой шаг, вышла бы из состава тех либеральных государств, к которым она естественно принадлежит по своей конституции, и примкнула бы к государствам с абсолютной властью — комбинация, при современных политических условиях совершенно невозможная. Но что высылают тех беглецов, которые компрометируют строй принявшего их государства и отношения между ним и соседними государствами, — это вполне естественно и вовсе не есть отмена права убежища. Соответственное решение уже принято. Высылке будут подвергнуты лишь те беглецы, которые уже раньше были высланы, как участники савойского похода, а также те, которые принимали участие в последних событиях. Эти сведения вполне аутентичны. Следовательно большинства беглецов это не коснется, и каждому будет попрежнему предоставлено селиться в Швейцарии. Но только во многих кантонах правительство считает себя вынужденным требовать поручительства, что, впрочем, практи-

куется уже довольно давно. Таким образом, моему путешествию в Цюрих ничто более не мешает. — Вы знаете, что наше правительство пытается преследовать нас и здесь, и поднималась речь о том, чтобы выслать нас под тем предлогом, что мы находимся в связи с этими глупцами в Швейцарии. Префект потребовал более точных сведений о том, как мы здесь занимаемся. Я передал полицейскому комиссару мой членский билет общества «Société d'histoire naturelle» [«Общество естествоиспытателей»], а также свидетельство, выданное мне профессорами. Префект был этим очень доволен, и мне было сказано, что я персонально могу быть совершенно спокоен.

52. ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ

Страсбург, 2 сентября 1836.

Я вообще доволен собою, за исключением тех дней, когда идет дождь или дует северо-западный ветер; тогда я теряю всякую энергию и вечером, сняв с ноги один чулок, чтобы лечь в постель, готов повеситься на дверях моей комнаты при мысли о тех усилиях, которые надо сделать, чтобы снять другой чулок. . . Я теперь всецело отдался изучению *естественных наук* и *философии*; скоро я отправлюсь в Цюрих, чтобы в качестве лишнего члена общества читать моим собратьям-людям лекции о некоторых столь же лишние вещах, а именно о философских системах немцев со времен *Декарта* и *Спинозы*. При этом я замышляю также заставить нескольких людей на бумаге убить друг друга или поже-

ниться и молю бога, чтобы он послал мне возможно более простодушного издателя и возможно более многочисленную и непритязательную публику. Под солнцем есть очень много вещей, требующих мужества; оно нужно даже для того, чтобы стать приват-доцентом философии.

53. РОДНЫМ

Страсбург, сентябрь 1836.

Две мои драмы я еще не выпустил из рук; многим я еще недоволен и не хочу, чтобы вышло так, как в первый раз. Это работа такого рода, что ее нельзя закончить к заранее определенному сроку, как портной заканчивает платье.

54. РОДНЫМ

Цюрих, 26 октября 1836.

Как обернется спор между Швейцарией и Францией, известно одному небу. Намедни я слышал, как кто-то сказал: «Швейцария делает легкий поклон, а Франция скажет, что это был глубокий реверанс». Я думаю, что это так и будет.

55. РОДНЫМ

Цюрих, 20 ноября 1836.

Что касается политических дел, то вы можете быть совершенно спокойны. Не смущайтесь только детскими рассказами в наших газетах. Швейцария — республика; а так как эти господа

не могут обычно выдумать в защиту своего дела ничего более остроумного, как то, что республика вообще не возможна, то они и рассказывают ежедневно добрым немцам всякие небылицы об анархии, грабежах и убийствах. Если бы вы меня посетили, вы были бы поражены; уже по дороге вы встретили бы везде приветливые деревни с красивыми домами, и чем ближе к Цюриху и берегу озера, тем больше благосостояния; деревни и городки имеют такой вид, о каком у нас нельзя получить никакого представления. Улицы не кишат здесь солдатами, канцеляристами и ленивыми слугами государства, вы не рискуете попасть под колеса дворянской кареты; вместо этого везде здоровый, сильный народ и простое, хорошее, настоящее республиканское правительство; оно стоит очень мало денег и содержится за счет поимущественного налога, который у нас с негодованием признали бы вершиной анархии. . .

Мне пишут, что Миннегероде умер, то-есть его замучили насмерть в течение трех лет. Три года! Кровавые французские террористы расправлялись с человеком в течение нескольких часов: приговор — и затем гильотина! Но три года. У нас очень гуманное правительство; оно не выносит вида крови. И в таком положении сидят еще до сорока человек; и это не анархия, это порядок и право; и эти господа возмущаются, когда вспоминают об анархической Швейцарии! Ей-богу, эти люди забрали себе слишком большой капитал, но настанет время, когда им придется возвратить его с тяжелыми, очень тяжелыми процентами.

56. ВИЛЬГЕЛЬМУ БЮХНЕРУ

Цюрих, конец ноября 1836.

Дни я провожу со скальпелем, а ночи с книгами.

57. НЕВЕСТЕ

Цюрих, начало января 1837.

Не далее, как через неделю, я сдам в печать свою пьесу «Леонс и Лена» и еще две другие драмы.

58. НЕВЕСТЕ

Цюрих, 12 января 1837.

Дорогое дитя!.. Я считаю по пальцам недели, оставшиеся до пасхи. Я все сильнее ощущаю пустоту. Вначале дело кое-как шло: новые окрестности, люди, отношения, занятия — но теперь, когда я ко всему этому привык, когда все вошло в колею и идет регулярно, я не могу более забытья. Лучше всего то, что фантазия моя остается деятельной и механическое занятие препарированием оставляет для нее достаточно свободы. Передо мною среди рыбьих хвостов, лягушачьих сухожилий и т. п. то и дело встает твой образ. Не правда ли, это более трогательно, чем история Абеяра, у которого имя Элоизы невольно слетало с губ всякий раз, когда он начинал молиться? О, я становлюсь с каждым днем поэтичнее, и мои мысли плавают в эфире. Благодарение богу, я снова вижу сны, и сон мой теперь уже не так тяжел.

59. НЕВЕСТЕ

Цюрих, 20 января 1837.

Я простудился и слег в постель. Но теперь мне лучше. Когда чувствуешь себя слегка нездоровым, так приятно отдаваться лени; но мельничное колесо продолжает вращаться без устали и отдыха. . . Все же сегодня и вчера я позволил себе немножко отдохнуть и не читал; с завтрашнего дня все опять пойдет своим обычным ходом, ты не согласишься, с какой регулярностью и правильностью. Мой ход почти так же точен, как у шварцвальдских часов. Но это хорошо: после такой напряженной духовной жизни — отдых, и притом радость творчества моих поэтических произведений. Бедный Шекспир был писцом в течение дня и должен был сочинять ночью, а я, который недостоин развязать ремня у его башмаков, нахожусь в гораздо лучшем положении. . .

Быть может, если это тебя не утомит, ты разучишь к пасхе *Народные песни*? Я совсем не слышу здесь пения; народ не поет, а ты знаешь, что я не большой охотник слушать визгливые или крикливые голоса дам, выступающих на вечерах и концертах. Я все ближе подхожу к народу, по мере того как приближаюсь к среднему возрасту, с каждым днем мне это становится яснее. А ты? Поешь ты песни? Я почти ощущаю тоску по родине, когда начинаю мурлыкать про себя какую-нибудь мелодию. . .

Каждый вечер я просиживаю один или два часа в казино. Ты ведь знаешь мое пристрастие к красивым залам, яркому освещению и шумной человеческой толпе.

60. НЕВЕСТЕ

Цюрих, 27 января 1837.

Дорогое дитя, ты полна нежной озабоченности и готова заболеть от тревоги; я думаю даже, ты могла бы умереть — но я не имею никакого желания умирать и здоров, как никогда. Мне кажется, я так быстро выздоровел от страха перед лечением здесь; в Страсбурге это было бы очень приятно, и я с большим удовольствием лег бы в постель недельки на две на Rue Saint-Guillaume № 66, в первом этаже, дверь налево, в несколько чрезмерно миниатюрной комнатке с зелеными обоями. Разве там пришлось бы мне звонить понапрасну? Сегодня у меня хорошо на душе, я еще наслаждаюсь вчерашним днем: на безоблачном небе было большое, горячее солнце, к тому же я погасил свой фонарь и прижал к своей груди благородного человека, а именно моего маленького хозяина, который выглядит как пьяный кролик и который в своем великолепном доме на краю города дал мне большую изящную комнату. Благородный человек! Дом стоит недалеко от озера, под моими окнами водное зеркало и со всех сторон Альпы, как сверкающие на солнце облака.

Ты скоро приедешь? Мое юношеское мужество отлетело, и я рискую поседеть; чтобы снова набраться силы, мне нужно твое душевное веселье, твое божественное простодушие, твое милое легкомыслие и все твои дурные качества, дурная моя девочка! Addio, piccola mia! [Прощай, моя крошка!]

КОММЕНТАРИИ

СМЕРТЬ ДАНТОНА *

Отрывки из драмы „Смерть Дантона“ были впервые напечатаны Гуцковым, одним из вождей „Молодой Германии“, в его издании „Феникс“ в 1835 г. Пропущенные сцены были заменены кратким пересказом содержания. Первое отдельное издание драмы вышло под заглавием: „Смерть Дантона. Драматические сцены из эпохи террора во Франции. Сочинение Георга Бюхнера. Типография и издательство Ж. Д. Зауерлендера, Франкфурт-на-Майне, 1835“. Редакторами книги были Карл Гуцков и Эдуард Дуллер. Редакторы многое вычеркнули, причем Гуцков, руководился главным образом цензурными соображениями, Дуллер же вычеркивал в соответствии со своими эстетическими взглядами, осуждая целый ряд сцен у Бюхнера, как слишком грубые и непристойные.

„«Дантон» наделал мне больших хлопот, — писал Гуцков во «Франкфуртском телеграфе» за 1837 г., — я забыл, что такие вещи, такие выражения даже, какие есть у Бюхнера, теперь не позволят напечатать. Когда же я, чтобы не доставлять цензору радости вычеркивания, сам вооружился красным карандашом и стал подстригать буйный демократизм произведения ножницами предварительной цензуры, то при этом я чувствовал, конечно, что нашим нравам и обычаям я жертвую самой сущностью произведения, его лучшей, индивидуальной и своеобразнейшей частью. Большие, непристойные диалоги в народных сценах, которые искрились шуткой и мыслью, должны были исчезнуть. Острия игры слов пришлось притупить или исказить глупейшими, мною выдуманскими пересказами. Подлинный «Дантон» Бюхнера издан не был. От него осталась жалкая развалина, которая мне стоила многих огорчений“.

* Цифры перед примечаниями означают страницы текста.

В июле 1835 г. Георг Бюхнер получил свою книгу. О том, какое впечатление она произвела на него в печатном виде, можно судить по следующим отрывкам из его письма к родным из Страсбурга: „Мое разрешение вносить в нее некоторые изменения было использовано слишком широко. Почти на каждой странице выпуски или вставки и почти всегда ко вреду для целого. Иногда смысл совершенно искажен или вовсе уничтожен, и на место него оказывается почти полная бессмыслица. Кроме того, книга изобилует безобразнейшими опечатками... Кроме того, корректор вложил в мои уста несколько пошлостей, которых я ни в коем случае не мог бы сказать“.

Восстановление подлинного текста „Смерти Дантона“ началось с 1850 г., когда брат покойного писателя, Людвиг Бюхнер, выпустил посмертное издание произведений Георга Бюхнера. Окончательно восстановил текст по рукописи Карл-Эмиль Француз, который в 1879 г. выпустил первое критическое издание сочинений Бюхнера. Действие драмы „Смерть Дантона“ развертывается в течение двух недель: от падения Гебера (24 марта 1794 г.) до казни Дантона (5 апреля 1794 г.). Для освещения эпохи Бюхнер использовал работы Тьера и Минье ((Тьер, «История французской революции», Париж 1823—1827 гг.; Thiers, Adolphe, „Histoire de la révolution française“, Paris 1823—1827; Минье, „История французской революции“, 1824; Mignet, F. A., „Histoire de la révolution française depuis 1789 jusqu'au 1814“, P. Didot. 1824). Кроме того, он использовал вышедшие в 1830 г. в немецком переводе мемуары Робеспьера и книгу Нодье „Воспоминания, эпизоды и характеристики из времен Революции и Империи“, переведенную на немецкий язык в 1831 г.

Надо отметить что у Минье впервые Французская революция получила научнообразное освещение. Разбираясь в борьбе партий, Минье уже видит в ней отражение борьбы классов. Правда он оперирует понятиями среднего класса и того, что он называет толпой или массой. Но все же благодаря этому в поступательном ходе Французской революции Минье вскрывает известную закономерность и последовательность. Это должно было привлечь к нему симпатии Бюхнера, материалиста и приверженца Спинозы, философа строгой необходимости.

Однако, используя исторические работы, Бюхнер не считал себя обязанным с рабской покорностью следовать им. Сохраняя общий колорит эпохи, он изменял ряд деталей, руководясь эстетическими соображениями, так как считал, что драматический поэт стоит *над* историком (см. его письмо к родным из Страсбурга, 28 июля 1835 г.).

В этом отношении приходится особенно отметить то изумительное мастерство, с каким Бюхнеру удалось воссоздать в своей драме фразеологию действующих лиц Французской революции. Особенностью этой революции, как отметил Маркс в „Восемнадцатом брюмера Луи Бонапарта“, является то, что она „драпировалась поочередно в костюм римской республики и в костюм римской империи“. Подобно тому, как в эпоху английской революции „Кромвель и английский народ воспользовались для своей буржуазной революции языком, страстями и иллюзиями, заимствованными из Ветхого завета“ — герои Французской революции заимствовали у античных историков, и писателей — Плутарха, Саллюстия, Тацита и Цицерона — весь арсенал употребляемых ими фраз и оборотов. „Камилл Демулен, Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст, Наполеон, — герои, равно как партии и масса старой французской революции, — в римском костюме и с римскими фразами осуществили дело своего времени, — они освободили от феодальных уз и возвели здание современного буржуазного общества... Однако, как ни мало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, междоусобная война и битвы народов. В классически строгих преданиях римской республики борцы за буржуазное общество нашли идеалы и искусственные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно-ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии“ (Маркс, „Восемнадцатое брюмера“).

Той же темы — противоречия между античной фразеологией и реальной действительностью — Маркс касается в своем более раннем труде „Святое семейство“. Поскольку эта фразеология отражала собой идеологию якобинцев, — постольку противоречие между нею и интересами буржуазного общества было, по Марксу, даже причиной гибели якобинцев. „Робеспьер, Сен-Жюст и их

партия погибла потому, что они смешали античный реалистически-демократический общественный порядок, который покоился на основе действительного рабства, с новейшим, спиритуалистически-демократическим предстательственным государством, которое покоится на эмансипированном рабстве, на буржуазном обществе. Какая колоссальная ошибка — быть вынужденным признать и санкционировать в «правах человека» современное буржуазное общество, общество промышленности, всеобщей конкуренции, свободно преследующих свои цели частных интересов, анархии... и в то же время аннулировать, в лице отдельных индивидуумов, жизненные проявления этого самого общества, и в то же время желать построить по античному образцу политическую верхушку этого общества!» (Маркс и Энгельс, Сочинения, т. III, стр. 150). Как образец применения подобной фразеологии Маркс приводит Робеспьера, который „беспрестанно воскрешает в памяти слушателей античную „народную сущность“, и приводит имена как ее героев, так и ее нарушителей: Ликурга, Демосфена, Мильтиада, Аристида, Брута и Катилину, Цезаря, Клавдия и Пизона. Маркс указывает также на Сен-Жюста, который, обвиняя Дантона, выступает против него, как против нового Катилины, и „характеризует «свободу, справедливость, добродетель», которых он добивается, одним коротким выражением: революционеры должны быть римлянами“ (там же, стр. 150).

Эта насыщенность языка участников Французской революции античными оборотами, их драпировка в античные костюмы прекрасно переданы в трагедии Бюхнера. Действующие лица, выступающие в ней, все время говорят и чувствуют так, как будто бы они были древними римлянами. Вот почему даже пьяный суфлер в первом действии все время пересыпает свою речь именами античных героев. Да это и не удивительно: ведь в большинстве драм и трагедий, которые ставились во французских театрах в эпоху революции, выступают античные герои. Таковы драмы Корнеля, Расина, Вольтера и других. При этом мы должны помнить, что при всем разнообразии авторов и трагедий действующие лица, выступающие в драмах, всегда обладают одними и теми же чертами характера, приписываемыми им традицией. Так, например,

Нерон всюду является образцом коварного, жестокого тирана, Брут образцом патриота-республиканца, Лукреция воплощает добродетельную римскую матрону и т. д.

Исходя из этих соображений, мы должны в первую очередь постараться расшифровать тот смысл, который современники Французской революции вкладывали в имена античных героев. Для нас важна не столько их действительная историческая роль, сколько тот образ, который приписывали им современники Французской революции. Для этого мы должны обратиться к тем источникам, откуда они черпали характеристики античных деятелей. Источники эти — Плутарх, Саллюстий, Тацит, Цицерон, Тит Ливий, Светоний. Этими соображениями мы и руководствовались, составляя свои примечания.

38. *Дантон*, Жорж-Жак (1759—1794) — по профессии адвокат. Главную роль в революции стал играть после низвержения короля, в подготовке чего принимал видное участие. Занимая пост министра юстиции, он, опираясь на парижскую коммуну и на другие революционные организации, фактически играл руководящую роль в деле управления страной и ее обороне от врагов внешних и внутренних. Проявляя необычайную энергию, он в этот период стал самым популярным человеком в стране; так, при выборах в Конвент он получил наибольшее число голосов из всех парижских депутатов. После падения жирондистов его политическое влияние начало уменьшаться. Он не вошел в состав второго Комитета общественного спасения, избранного в июле 1793 г. С конца 1793 г. он стал лидером оппозиции, выступавшей против Робеспьера и требовавшей смягчения террористического режима. Это привело к его казни 5 апреля 1794 г. Главным недостатком Дантона был его оппортунизм. Дантон — типичный представитель буржуазной интеллигенции, связанной с новой, богатеющей за счет революции, буржуазией, превратившийся во время революции в крупного буржуазного собственника. Однако мы должны обратить внимание на то, что, несмотря на все эти недостатки, Маркс и Энгельс чрезвычайно высоко ценили Дантона, которого они характеризуют как величайшего из известных до настоящего времени мастеров революционной политики („Революция и контрреволюция в Германии“, гл. XVII).

38. *Лезандр, Луи* (1752—1797) — член клуба якобинцев и кордельеров, член Конвента. В политических взглядах колебался между робесперистами и дантонистами.

— *Демулен, Камилл* (1760—1794) — журналист эпохи Французской революции. Играл видную роль при взятии Бастилии, член клуба якобинцев, член Конвента. В эпоху диктатуры якобинцев издавал газету „Старый кордельер“ (1793—1794), в первых двух номерах которой он, при поддержке Робеспьера, выступил против гебертистов. Однако в третьем номере он выступил с едкой статьей против террора Робеспьера. В политическом отношении примыкал к Дантону и был казнен вместе с ним.

— *Эро де Сешель, Луи-Жан* (1760—1794) — член Конвента. Во время революции занимал ряд крупных должностей. Член второго Комитета общественного спасения, где он проводил дипломатические идеи Дантона. 15 марта 1794 г. арестован по обвинению в измене. Казнен вместе с Дантоном.

— *Лакруа, Жан-Франсуа* (1754—1794) — член Конвента. Сторонник Дантона, арестован за сношения с эмигрантами-роялистами. Казнен вместе с Дантоном.

— *Филиппо, Пьер* (1759—1794) — член Конвента, по профессии адвокат. После неудачного подавления вандейского восстания был обвинен в измене. По возвращении в Париж оправдан, примкнул к Дантону в его борьбе с Робеспьером. Был исключен из клуба якобинцев. Казнен вместе с Дантоном.

— *Фабр д'Элантин, Филипп-Франсуа-Нозер* (1750—1794) — поэт, автор драм и комедий, пользовавшихся большим успехом. Был секретарем Дантона, когда тот был министром юстиции. Был арестован по обвинению в причастности к лихоимствам, раскрытым по делу о ликвидации Ост-Индской компании в январе 1794 г. Казнен вместе с Дантоном.

— *Мерсье, Луи-Себастьян* (1740—1814) — французский энциклопедист и утопист. Наиболее известен как автор произведения „Картина Парижа“, в котором изображено французское общество накануне революции. В Конвенте примыкал к жирондистам. Арестован с ними в июне 1793 г. После термидора был освобожден и вернулся в Конвент,

38. *Пейн, Томас* (1737—1809) — английский публицист и общественный деятель. В 1774 г. эмигрировал в Америку, где в своих журнальных и газетных статьях боролся за независимость Соединенных Штатов. Вернувшись в Англию, он в 1791—1792 гг. выпустил книгу „Права человека“, где горячо защищал Французскую революцию от нападок английского политического деятеля Борка. Подвергшись преследованиям в Англии, он эмигрировал во Францию, где был избран в Конвент. Там он примкнул к жирондистам, вместе с которыми был арестован. Освобожден после 9 термидора.

— *Робеспьер, Максимилян* (1758—1794) — один из вождей Великой французской революции, вдохновитель и руководитель диктатуры мелкой буржуазии 1792—1794 гг. Стоял во главе второго Комитета общественного спасения, образованного в июле 1793 г. Сторонник Руссо и деист, противник материалистов. Разрыв с крайней левой и казнь ее вождей повели к изоляции Робеспьера, созданию против него объединенного блока враждебных якобинскому режиму партий и к падению Робеспьера 9 термидора (27 июля 1794 г.). Его казнь послужила сигналом к торжеству контр-революции во Франции.

— *Сен-Жюст, Антуан-Луи-Леон* (1767—1794) — политический деятель эпохи Великой революции. По образованию юрист. Член Конвента, член второго Комитета общественного спасения, образованного в июле 1793 г. Близкий помощник Робеспьера, один из главных организаторов революционного террора. Реорганизовал рейнскую и северную революционные армии, неоднократно посылался Комитетом общественного спасения на фронты. Казнен вместе с Робеспьером 10 термидора.

— *Баррер де Вьезак, Бертран* (1755—1841) — член Конвента и Комитета общественного спасения. Сначала в своем журнале проводил конституционно-монархические взгляды, а затем примкнул к левому крылу якобинцев и к Робеспьеру. Во время 9 термидора держался неопределенно, но после падения Робеспьера стал одним из видных вождей реакции. В 1795 г. был присужден к изгнанию. Во время Империи занимался литературной работой. После реставрации изгнан из Франции, в которую вернулся лишь после Июльской революции 1830 г.

38. *Колло д'Эрбуа*, Жан-Мари (1750—1796) — член Конвента и Комитета общественного спасения, где был сторонником последовательного террора. Содействовал падению Робеспьера. В 1795 г. был приговорен к изгнанию в Гвиану, где и умер.

— *Бильо-Варенн*, Жан-Никола (1756—1819) — член Конвента и Комитета общественного спасения. Один из влиятельнейших вождей якобинского клуба, сторонник террора, принял участие в заговоре против Робеспьера. В 1795 г. сослан в Кайенну. Умер в изгнании.

— *Шометт*, Анаксагор (Пьер-Гаспар) (1763—1794) — прокурор революционной парижской коммуны. Сторонник Гебера и один из инициаторов культа разума. Был обвинен в атеизме и казнен 13 апреля 1794 г.

— *Диллон*, Артур (1750—1794) — французский генерал, командовавший северной армией в 1792 г. Арестован за измену республике и казнен.

— *Фукье-Тенвиль*, Антуан-Кентен (1746—1795) — прокурор Революционного трибунала. Организатор процесса Дантона. Казнен в 1795.

— *Эрманн*, Арман-Марциал-Жозеф (1759—1795) — в 1793 г. председатель Революционного трибунала, в 1794 г. министр внутренних дел, комиссар суда и полиции. Казнен после 9-го термидора.

— *Дюма*, Ренэ-Франсуа (1757—1794) — председатель Революционного трибунала, по профессии юрист. Казнен после 9 термидора.

— *Жюли* (р. в 1777) — в действительности Луиза Жели, вторая жена Дантона. Она не покончила с собой, а вскоре после смерти Дантона вторично вышла замуж.

— *Люсиль Демулен* (1771—1794) — дочь крупного банкира Дюплесси, на которой Демулен женился в 1793 г. Обвинена в сношениях с генералом Диллоном и казнена 13 апреля 1794 г.

41. *Красный колпак* — символ свободы.

— *Святой Яков* — намек на исключение Демулена из клуба якобинцев после того, как он выступил в своем органе „Старый кордельер“ против террора и за более мягкую политику.

41. *Сократ* (469—399 до н. э.)—древнегреческий философ, учениками которого были многие видные политические деятели.

— *Алкивиад* (451—404 до н. э.)—афинский политический деятель, ученик Сократа. Обвиненный в святотатстве, бежал из Афин, боролся на стороне Спарты против своей родины, вернулся в Афины и опять был изгнан. В древности считался образцом изменчивого человека, ставящего свое честолюбие выше блага родины. Ксенофонт характеризует его как самого необузданного и своевольного из всех демократов.

— *Гебертисты* — сторонники Гебера, опиравшиеся на парижскую коммуну и департамент, отчасти на революционную армию Парижа и клуб кордельеров. Гебер (1757—1794) принадлежал к левому крылу монтаньяров, в своей газете „Отец Дюшен“ выдвигал программу радикальных мероприятий в различных областях (усиление террора, реквизиция хлеба, замена католического богослужения культом разума). 4 марта Гебер выступил против Робеспьера в клубе кордельеров с призывом к восстанию. Это послужило поводом для Робеспьера расправиться с гебертистами. 24 марта гебертисты погибли на гильотине.

— *Децемвиры* („десять мужей“) — согласно римскому историку Титу Ливию, в 452 г. до н. э. правление консулов в Риме было заменено правлением децемвиров. В эпоху Великой французской революции децемвирами назывались члены второго Комитета общественного спасения, образованного в июле 1793 г., после устранения из него Дантона. Этим Комитетом руководил Робеспьер.

— *Адвокат из Арраса* — Робеспьер был адвокатом в Аррасе, откуда был выбран депутатом в Национальное собрание в 1789 г.

— *Женевский часовщик*—Жан-Жак Руссо (1712—1778), французский писатель и философ, идеи которого вдохновляли Робеспьера, родился в Женеве, в семье часовщика. В данном случае имеются в виду идеи, развитые в сочинении „Эмиль“, изданном в 1762 г. В этом сочинении Руссо предлагает реформировать воспитание, выдвигая на первый план физическое воспитание, и доказывает бытие

бога не теоретическими соображениями, а исходя из чувства, потребностей сердца. — Эта речь Эро Сешеля заключает в себе анахронизм: он был арестован 15 марта, т. е. до казни гебертистов, о которой здесь упоминается.

43. *Эпикур* (341—270 до н. э.) — древнегреческий философ-материалист, которого очень высоко ценил Маркс и о философии которого им написана докторская диссертация. В данном контексте „римской добродетели“ Робеспьера противопоставляется философия Эпикура, как проповедь утонченного эгоизма и равнодушия к политическим интересам.

— *Марат*, Жан-Поль (1744—1793) — один из вождей левого крыла якобинской партии. Врач по профессии. В своей газете „Друг народа“ последовательно боролся со стремлением крупной буржуазии использовать революцию в своих интересах и разоблачал вождей буржуазного либерализма. Благодаря этому он подвергался преследованиям и до 1793 г. принужден был оставаться в подполье. Его участие в падении жирондистов привело к убийству его 13 июля 1793 г. Шарлоттой Кордэ, близкой к либеральным, крупно-буржуазным кругам. Убитый Марат сделался в глазах народа олицетворением революции; его бюсты были выставлены во всех общественных местах, и Конвент постановил перенести его прах в Пантеон. Энгельс чрезвычайно высоко ценил Марата и считал, что он и Маркс во время революции 1848 и 1849 гг.: бессознательно подражали во многих отношениях великому образцу подлинного (не фальсифицированного роялистами) „друга народа“... он безжалостно совлек покрывало с тогдашних кумиров — Лафайета, Бальи и других, разоблачив в них уже готовых изменников революции, и... подобно нам он не считал революцию завершенной, а хотел сделать ее перманентной“ („Маркс и «Новая рейнская газета»“, соч., т. VI).

— *Шалье* (1747—1793) — поклонник Марата, вождем лионских якобинцев, прозванный „другом бедных“. Во время контрреволюционного восстания роялистов в Лионе в мае 1793 г. был схвачен и казнен ими.

— *Катон* — см. примечание к очерку „Катон Утический“.

44. *Весталка* — жрица римской богини домашнего очага Весты, обязанная жить в безбрачии и соблюдать девственность.

45. *Виргиний* — согласно рассказу римского историка Тита Ливия, Люций Виргиний — один из вождей плебеев, дочь которого, Виргинией, хотел завладеть обманом децемвир Аппий-Клавдий, подговорив одного из своих друзей выступить на суде с требованием выдачи ее в качестве рабыни. Отец, не имея возможности защитить свою дочь иным способом, для того, чтобы не подвергнуть ее бесчестию, принужден был зарезать ее. Это вызвало восстание возмущенного народа, заставившего децемвиров отказаться от своей власти. Аппий-Клавдий был заключен в тюрьму, где он покончил с собой. Виргиния стала символом женской чистоты, предпочитающей смерть бесчестию.

— *Лукреция* — римская матрона, по преданию обещанная Секстом Тарквинием, сыном царя Тарквиния Гордого. Призвав своих отца и мужа, она закололась кинжалом, заклиная их отомстить за ее смерть. По преданию это вызвало восстание против царской власти и замену ее властью консулов (510 г. до н. э.). Лукреция, так же как и Виргиния, всегда служила образцом добродетельной римской женщины.

— *Аппий-Клавдий* — см. примечание приведенное выше („Виргиний“).

46. *Veto* (запрещаю) — право короля не утверждать декретов, принятых Законодательным собранием. Людовик XVI воспользовался этим правом для того, чтобы не утвердить декретов об обязательной гражданской присяге священников и о ссылке не присягнувших, а также декрета против эмигрантов. Таким образом, в праве veto ярче всего сказалась антидемократическая сущность королевской власти, и оно вызвало общее возмущение против себя.

48. *Август и сентябрь* — 10 августа 1792 г. — взятие Тюильри и падение королевской власти; 2—6 сентября 1792 г. — убийства парижской толпой монархистов, заключенных в тюрьмах.

— *Аристид* (ок. 540—467 до н. э.) — афинский политический деятель, принадлежавший к умеренному крылу

консервативной землевладельческой партий. Славился своей справедливостью и неподкупностью.

48. *Мессия* — у еврейских пророков грядущий избавитель, который должен установить царство справедливости и мира.

49. *Бавкида* — в „Метаморфозах“ римского поэта Овидия рассказывается о примерной супружеской паре Филемоне и Бавкиде; Юпитер в награду за оказанное ему гостеприимство удовлетворил их просьбу о том, чтобы они умерли одновременно, превратив их в два дерева, сплетшиеся ветвями.

— *Порция* — римская матрона, жена Марка-Брута и дочь Катона. По преданию, покончила с собой после смерти мужа. Считается образцом твердости.

— *Не Гамлет то...* слова Гамлета, обращенные к Лаерту (V действие, 2 сцена).

— *Лион* — город, торговавший предметами роскоши и изготавливавший шелковые изделия, был теснее всего связан с старым строем. После падения жирондистов в нем произошло восстание против якобинцев, подавленное после жестокого сопротивления. Город был взят республиканскими войсками 10 октября 1793 г.

— *Ронсен*, Шарль-Филипп (1752—1794) — один из руководителей республиканской армии, сражавшейся в Вандее. Примыкал к Геберу и казнен вместе с ним.

50. *Питт*, Вильям (1759—1806) — английский премьер-министр, объявивший в феврале 1793 г. войну Франции и пославший свой флот и войско для подкрепления роялистских мятежников.

— *31 мая* — восстание парижских секций, требовавших у Конвента исключения и ареста двадцати двух жирондистских депутатов. Это требование было удовлетворено 2 июня 1793 г.

— *Гэйар* — гебертист, покончивший самоубийством.

— *Кубок Сократа* — греческий философ Сократ, приговоренный к смертной казни, должен был выпить кубок яда.

— *Академический словарь* — словарь литературных слов и оборотов, составленный Французской академией.

В него не входили простонародные выражения и обороты.

51. *Медуза* (греч. миф.)—дочь Форкина и Кето. Чудовище со змеями вместо волос на голове. Голова ее была так ужасна, что всякий, взглянувший на нее превращался в камень. Она сохранила эту способность даже после того, как была отрублена Персеем.

54. *Бесстыднейшая пародия на Тацита* — намек на статьи Демулена в „Старом кордельере“, где он сравнивал правление Робеспьера с правлением римских императоров, описанных римским историком Тацитом. В этих статьях Демулен осыпал революционное правительство едкими эпиграммами, приводившими в восторг врагов революции.

— *Саллюстий*, Гай-Крисп (86—35 до н. э.) — римский историк, автор сочинений „О заговоре Катилины“ и „Югуртинская война“.

— *Катилина*, Люций-Сергий (108—62 до н. э.) — разорившийся аристократ, Катилина возглавил борьбу, которая велась в Риме вокруг аграрных законов. Катилина составил заговор с целью поднять низшие слои населения и, проведя конфискацию земель богатых и знатных, захватить власть. Заговор был открыт Цицероном, сторонники Катилины были казнены, а сам он погиб в бою.

В эпоху Французской революции суждение о Катилине составлялось на основании сочинений Саллюстия и речей противника Катилины, Цицерона. В них он рисуется с самой отрицательной стороны. Так, Саллюстий, пишет о нем: „С юношеских лет ему приятны были внутренние войны, убийства, грабежи, гражданские раздоры... ненасытный, он ставил предметы своих стремлений выше мер, вероятия, сил“. Говоря о Катилине, Робеспьер, вероятнее всего, подразумевает Дантона, которому он таким образом дает самую отрицательную характеристику.

55. *Минотавр* (греч. миф.) — чудовище, питавшееся человеческим мясом; Минос заключил его в лабиринт, Тезей убил его.

56. *Венера Медицейская* — статуя Венеры, находящаяся в Уффициях, флорентийском музее.

56. *Медея* (греч. миф.) — дочь Аэты, царя Колхиды, супруга Язона, которого она спасла от преследования своего отца, заколовши своего брата.

60. *Адонис* (римск. миф.). — В „Метаморфозах“ римского поэта Овидия приводится следующий рассказ о нем. Адонис — красавец и любимец Венеры, охотясь за кабаном, ранил его пикой. Кабан набросился на него „и все зубы вонзает в пах и на желтый песок его умирающим ринул“. Венера, увидев его бездыханный труп, превратила его кровь в цветок.

61. *Пет, это не больно* — восклицание жены римского заговорщика Цединия Пета (42 н. э.), не имевшего силы покончить с собой. Она на глазах мужа закололась мечом, потом подала ему меч со словами: „Пет, это не больно“.

— *Брут* — Люций-Юний Брут Старший. У Тита Ливия рассказывается, что Брут, изгнавший царя Тарквиния Гордого, подверг казни, при которой он сам присутствовал, своих собственных сыновей, участвовавших в заговоре, имевшем целью восстановление царской власти.

62. *Сатурн* (римск. миф.) — царь древнего Лациума, впоследствии отождествленный с Кроносом, древнейшим из богов, пожиравшим своих собственных детей для того, чтобы они не лишили его власти над миром. Сравнение революции с Сатурном принадлежит вождю жирондистов, Верньо, который на заседании Конвента сказал: „Приходится опасаться, что революция, подобно Сатурну, поочередно пожрет всех своих детей“.

63. *Карманьола* — первоначально так называлась французская революционная песня, сложенная в 1792 г., вероятно, в связи с завоеванием города Карманьолы в Пьемонте. Песня сопровождалась танцами. Впоследствии этим именем стали обозначать род камзола с короткими полами и низким воротником, который носили преимущественно низшие классы. Этот костюм служил показателем принадлежности к якобинцам.

— *Тарпейская скала* — скала на южной стороне Капитолийского холма в Риме, с которой в древности сбрасывали государственных преступников.

69. „*Старый францисканец*“.— Журнал Камила Демулена назывался „Старый кордельер“. Кордельер по-французски то же, что францисканский монах.

— *Кутон*, Жорж (1755—1794)— член Конвента и Комитета общественного спасения. Ближайший помощник Робеспьера. Перед термидорианским переворотом требовал чистки Конвента. Казнен вместе с Робеспьером.

— *Святой Денис*— обезглавленный в Париже в III веке святой Денис, согласно религиозной легенде, дошел до предместья, названного по его имени, неся свою отрубленную голову в руке.

— *Старый мешок*— здесь игра слов: Баррера звали Вьезак (*Vieuzac*); *vieux sac*— по-французски старый мешок.

— *Гиппократова печать*— гиппократово лицо— характерное изменение лица, описанное древнегреческим медиком Гиппократом, которое наблюдается у умирающих и тяжело больных.

70. *Поддельватели*— так называемая амальгама. Этим именем обозначались процессы, при которых соединялись самые разнообразные элементы. Так, например, в процессе Дантона были свалены в одну кучу лица, обвинявшиеся в политических преступлениях, в спекуляции, подделках, измене и т. д. Таким образом, вторые компрометировали первых. Дантон жаловался, что его присоединяют к мошенникам.

— *Гефсиманский сад*— место, где, по религиозному преданию, Христос предавался скорби в ночь перед заключением, предчувствуя казнь.

71. *Равниной или болотом* назывались умеренные члены Конвента, которые, не примыкая решительно к жирондистам или якобинцам, поддерживали большую часть Робеспьера.

— *Гора*— под этим именем подразумеваются якобинцы.

72. *Брут*, Марк-Юний (85—42 до н. э.)— глава заговора против Юлия Цезаря и участник в убийстве его; разбитый Антонием и Октавианом при Филиппах, лишил себя жизни. Брут был типичным представителем аристократического класса, под республиканской свободой пони-

мавшего собственное неограниченное господство в Риме и в провинциях. По отношению к последним он показал себя самым беспощадным эксплуататором. Однако ораторами революционной Франции Брут превозносился как образец республиканской добродетели и как тираноубийца.

72. *Кордельеры* — члены клуба кордельеров, или „Общества защитников прав человека и гражданина“. Клуб этот помещался в монастыре, ранее принадлежавшем кордельерам (ветви монашеского ордена францисканцев), и отстаивал главным образом интересы пассивных граждан, нападая на привилегии активных граждан, представителей крупной буржуазии. Сначала к нему принадлежали Дантон и Демулен, позднее, в 1794 г., клуб занял гораздо более левую позицию, являясь цитаделью гебертистов.

75. *Корнелия* — дочь римского полководца Сципиона Африканского, победителя карфагенского вождя Ганнибала, и мать знаменитых народных трибунов Тиберия и Кая Гракхов, погибших в борьбе со знатью. Служит образцом добродетельной римской женщины, всецело посвятившей себя воспитанию в героическом духе своих детей.

76. *Ромул* — легендарный основатель Рима; по преданию, вместе со своим братом Ремом был воспитан волчицей.

80. *Пигмалион*. — В „Метаморфозах“ Овидия рассказывается, что скульптор Пигмалион влюбился в сделанную им статую. Вняв его мольбам, Венера оживила ее. Бюхнер в передаче легенды ошибается, так как, согласно Овидию, от брака Пигмалиона с Галатеей родился сын Пафос.

— *Давид*, Жак-Луи (1748—1825) — художник эпохи Французской революции и Наполеона, активнейший участник революционных событий и организатор революционных празднеств и процессий. Член Конвента и Комитета общественной безопасности. Личный друг Робеспьера. В своих картинах увековечил ряд революционных моментов. В эпоху Империи — придворный художник Наполеона.

87. *Дубовый венок* — жаловался за гражданскую доблесть в древнем Риме.

89. *Шабо*, Франсуа (1757—1794)—якобинец. В октябре 1793 г. женился на сестре австрийского банкира Фрея и пустился в спекуляции, связанные с Ост-Индской компанией. В связи с этим был арестован зимой 1793 г. Дело его было присоединено к делу Дантона („амальгама“ см. прим. к стр. 70. „Подделыватели“). Казнен вместе с Дантоном.

— *Делоне* (1752—1794) — член Законодательного собрания и Конвента. Якобинец. Замешан в дело о фальсификации документов в связи с Ост-Индской компанией. Казнен вместе с Дантоном.

90. *Лафайет*, Мари-Жозеф (1757—1834) — участник революций 1789 и 1830 г. В юности сражался во главе французских добровольцев за освобождение Соединенных Штатов. В эпоху Великой революции был одним из вождей умеренно-либеральной буржуазии. В качестве начальника национальной гвардии всеми силами стремился задержать поступательный ход революции. После низложения короля пытался устроить контрреволюционное восстание в армии, стоявшей в Арденнах. После этого бежал за границу. В революции 1830 г. способствовал возведению на престол Луи-Филиппа.

— *Дюмурье*, Шарль-Франсуа (1739—1823)— французский генерал эпохи Великой революции. Министр иностранных дел в жирондистском министерстве 1792 г. Впоследствии перешел к якобинцам, но лишь для того, чтобы лучше подготовить восстановление монархии. После неудачи этой попытки бежал за границу.

— *Бриссо*, Жан-Пьер (1754—1793)—литератор и вождь жирондистов. Член Законодательного собрания и Конвента. Казнен в 1793 г.

91. *Теллурический* — вулканический, находящийся во внутренности земли.

93. 14 июля 1789 г. — взятие Бастилии. 10 августа 1792 г. — взятие Тюильри и низложение короля. 31 мая 1793 г. — исключение жирондистов из Конвента.

— *Пелий* — греч. миф. — сын бога морей Посейдона. *Медея* — дочь колхидского царя, волшебница — подговорила его дочерей рассечь его на части и сварить, чтобы он снова стал юным.

95. *Спиноза*, Бенедикт (1632—1677)— голландский философ. Был отлучен от еврейской синагоги за свои взгляды. В своем главном сочинении „Этика“ доказывает тождество бога и природы, состоящей из бесконечного количества атрибутов, среди которых нами познаваемы два— мышление и протяженность. Философия Спинозы, по существу, носит материалистический и атеистический характер. Бюхнер был приверженцем Спинозы.

— *Вольтер*, Франсуа-Мари (1694—1778) — французский литератор и философ, один из самых блестящих „просветителей“, т. е. вождей буржуазии накануне Великой французской революции. Участник программного издания этой группы „Энциклопедии“. В своих многочисленных произведениях (драмах, новеллах, памфлетах, публицистических и научных трактатах), а также и в своей общественной практике выступал как борец во имя „разума“ против феодальной реакции в лице католической церкви, против которой выдвинул лозунг: „Раздавите гадину!“ Но, борясь с идеологией и практикой „старого режима“, Вольтер сам обнаружил колебания в сторону примирения с ним. Так, он настаивает на сохранении религии как узды для народа, утверждая, что, если бы бога не было его следовало бы выдумать. Как блестящий стилист, сыграл большую роль в развитии французской прозы.

98. *Моморо* (1756—1794) — приверженец Гебера, осужденный вместе с ним. Его жена, славившаяся красотой, фигурировала на празднествах в честь разума в качестве богини свободы и разума.

99. *Двадцать два* — подразумеваются жирондисты, исключенные из Конвента и впоследствии казненные.

— *Генерал-прокурор фонаря* — фонарь, как символ смерти аристократов. Популярная поговорка гласила: „Аристократов на фонарь!“

101. *Баязет* (1347—1403) — с 1389 г. турецкий султан. Приводится как образец жестокости: после битвы при Никополе велел убить три тысячи пленных.

102. *Мирабо*, Оноре-Габриель Рикетти (1749—1791) — вождь либеральной крупной буржуазии в эпоху Великой французской революции. Руководил борьбой крупной

буржуазии за создание буржуазной монархии. После его смерти обнаружилось, что он получал стипендию от двора.

102. *Орлеаны* — имеется в виду Филипп-Эгалитэ (1747 — 1793), сын герцога Орлеанского. Примкнул к монтаньярам. Его сын был замешан в измене Дюмурье.

— *Людовик XVII* (1785—1795) — сын Людовика XVI. Роялисты впоследствии считали его королем, хотя он никогда не царствовал.

104. *Марсово поле* — 15 июля 1791 г. якобинский клуб послал петицию о низложении Людовика XVI. 16 июля эта петиция была отнесена на Марсово поле, где ее читал Дантон. 17 июля толпа, поддерживавшая эту петицию, была разогнана на Марсовом поле войсками, оставив множество убитых и раненых.

— 21 января 1793 г. — день казни короля.

106. *Эдип* — согласно греч. миф., Эдип, тотчас после своего рождения брошенный отцом, был воспитан у чужих людей. Прибыв в Фивы, он освободил город от чудовища Сфинкса, разрешил загадку, которую тот ему задал. В награду за это он получил Фиванское царство и руку царицы Иокасты, не зная о том, что она его мать. Когда же это обнаружилось, он сам себя ослепил и удалился в изгнание.

108. *Юпитер* (рим. миф.) — сын Сатурна, громовержец, главное божество у римлян.

— *Самсон* — имя парижского палача.

— *Зифрид Роговая Кожа* — герой германского народного эпоса, неуязвимый в бою, так как кожа его стала непроницаемой после того, как он искупался в крови убитого им дракона.

110. *Тарквиний* — см. прим. к стр. 45 („Лукреция“).

111. *Консул, открывший заговор Катилины* — подразумевается Марк-Туллий Цицерон (106—43 до н. э.), римский государственный деятель, оратор и писатель. Цицерон настаивал в сенате на казни соучастников Катилины, хотя законы запрещали убивать римских граждан без выполнения обычной судебной процедуры. Впоследствии Цицерон подвергался за это сильным нападкам со сто-

роны приверженцев демократической партии и принужден был даже удалиться в изгнание.

111. *Семела* (греч. миф.) — дочь фиванского царя Кадма, мать Вакха. По наущению ревнивой Юноны попросила Зевса явиться к ней в том же виде, в каком он является Юноне. Когда он явился к ней, вооруженный громом и молнией, она сгорела.

115. *Вечный жид* — Агасфер. По средневековому религиозному сказанию, был обречен на вечное странствование в наказание за проступок против Христа во время пути его на Голгофу.

116. *Амар*, Андре (1750—1815) — президент Конвента в 1794 г. Якобинец, участник термидорианского переворота.

— *Вулан*, Анри (1750—1802) — член Конвента и Комитета общественной безопасности. Участник термидорианского переворота.

119. *Герцог Орлеанский* — см. прим. к стр. 102 („Орлеаны“).

122. *Платон* (427—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист. В данном контексте подразумеваются средневековые сказания, связанные с его именем.

124. „*Ночные размышления*“ — сентиментально-мистическая поэма английского поэта Юнга (1681—1765).

125. „*Девственница*“ — антицерковная сатирическая поэма Вольтера, где в насмешливом виде изображаются подвиги Жанны д'Арк.

128. *Клитемнестра* — в греческом эпосе о троянской войне жена вождя ахейских войск Агамемнона, изменившая мужу во время его пребывания под стенами Трои и убившая его после его возвращения.

— *Самсон* — библейское мифическое лицо, славившееся своей колоссальной физической силой, о котором рассказывается в книге „Судей“. Согласно преданию он убил ослиною челюстью тысячу человек.

129. *Нерон* (30—68 н. э.) с 59 г. римский император. Дантон намекает здесь на качества, приписывавшиеся Нерону римскими историками: коварство, злобность, кровожадность.

131. *Молох*—древне-сирийское божество, которому приносились человеческие жертвы, преимущественно дети, путем сожжения.

132. *Карманьола*— см. прим. к стр. 63.

133. *Упала гора*— намек на Робеспьера, руководителя горы, левой части Конвента.

— *Харон* (греч. миф.)— старец, перевозящий в подземное царство тени умерших через реку Стикс.

ЛЕНЦ

Рукопись „Ленца“ Гуцков получил от невесты Бюхнера Мины Егле после смерти писателя. „Ленц“ был напечатан в „Немецком телеграфе“ в 1839 г. (№ 5, 7, 11, 13, 14), с кратким введением Гуцкова, затем вошел в полное собрание сочинений 50-го и 79-го года. Дневник пастора Оберлина, где шла речь о пребывании Ленца в Вальдбахе, был опубликован Августом Штебером дважды — в „Эрвинии“ (1839) и в монографии „Поэт Ленц и Фредерика из Зезенгейма“ (Базель 1842). К этой вторичной публикации Штебер делает следующую сноску: „Этот рассказ положен в основу новеллы моего покойного друга Георга Бюхнера, оставшейся, к несчастью, в виде фрагмента. Еще в Страсбурге он носился с мыслью сделать Ленца героем новеллы, и я дал ему для работы все рукописи, которые имел“.

В письме к родным из Страсбурга (октябрь 1835 г.) Бюхнер пишет: „Я добыл себе здесь, между прочим, разные интересные сведения об одном друге Гете, несчастном поэте, по имени Ленц, который и был здесь одновременно с Гете и стал полупомешанным. Я хочу напечатать о нем статью в одном из немецких журналов“.

Герой этой новеллы, Яков-Михаил-Рейнгольд Ленц, представляет собой в высшей степени интересную фигуру. Он родился в Лифляндии в 1751 г. В качестве гувернера двух курляндских дворян, он вместе с ними приехал в Страсбург в 1770 г., где познакомился с Гердером и Гете. Вслед за Гете стал одним из главных представителей эпохи „бури и натиска“. Вместе с ним и Гердером

усиленно пропагандировал Шекспира, комедию которого „Тщетные усилия любви“ он перевел. Он сам писал талантливые комедии, из которых у Бюхнера упоминаются „Гувернер“ и „Солдаты“. Они написаны ярко реалистически, со смелой откровенностью, и представляют подражание Шекспиру. Он писал также лирические стихотворения, из которых одно приводится Бюхнером в его письме к невесте. В отличие от Гете и Клингера, он не „остепенился“. Будучи, по словам Гете, в высшей степени склонным к мучительному самоанализу, он нигде не мог найти себе места. Гете характеризует его как самую удивительную личность.

После отъезда Гете из Страсбурга он влюбился в дочь зезенгеймского пастора, Фредерику Брион, которой Гете посвятил несколько замечательных стихотворений и любовь которой он подробно описал в „Поэзии и правде“. Там же он описывает свое знакомство с Ленцем. Фредерика Брион сначала относилась благосклонно к Ленцу, но потом они разошлись, и его предложение было отклонено.

После этого он был некоторое время в Веймаре, где давал уроки английского языка знаменитой возлюбленной Гете, мадам фон-Штейн. После скандала, произошедшего у него там с Гете и с нею, он принужден был удалиться. В 1782 г. он приехал в Москву, где зарабатывал себе средства на жизнь грошовыми уроками. Здесь он, между прочим, познакомился с Карамзиным, и есть основание предполагать, что он привил Карамзину любовь к Шекспиру. Он умер в Москве в 1792 г. на улице, от удара. Ему посвящена монография М. Н. Розанова.

Иоганн-Фридрих Оберлин (1740—1826), пастор в небольшом селе в Вогезах, известен своей филантропической деятельностью. Он организовал работы по прокладке дорог, мостов; устраивал кассы взаимопомощи, аптеки, библиотеки и т. д. Сам про себя он говорил в шутку, что никогда не был „попом“. Когда вспыхнула Великая французская революция, он объявил себя ее сторонником. Впоследствии он получил орден „почетного легиона“. В 1778 г. у него проживал Ленц, который потом заболел психически и был отвезен в Страсбург на излечение. Таким образом, в основу новеллы Бюхнера положено действительно происшествие. Как взаимоотношения Ленца

и Оберлина, так и душевное состояние самого Ленца описываются в соответствии с действительностью.

Девушка, упоминаемая в новелле, — Фредерика Брион. Когда Гете познакомился с нею в Страсбурге в 1770 г., ей было 18 лет. Гете расстался с ней в августе 1771 г. Когда он вновь посетил ее в 1779 г., их разговор враждался, главным образом, вокруг Ленца. Гете передает его содержание в следующем виде. Познакомившись с нею после отъезда Гете, Ленц усиленно интересовался всем, что касалось Гете, и пытался получить письма последнего к Фредерике. Притворившись влюбленным в нее для того, чтобы легче добиться своей цели, он, после того как она стала к нему относиться более сдержанно, „прибегнул к самым смешным попыткам самоубийства, так что его принуждены были объявить полоумным и отвезти в город“. Хотя Гете относился в этот период к Ленцу неприязненно, подозревая его в попытках вредить ему и скомпрометировать его, тем не менее из этого описания видно, насколько неустойчиво было душевное состояние Ленца и как, в основном, правильно Бюхнер сумел обрисовать его душевное настроение.

141. *Кауфман*, Христоф (из Винтертура) — медик; подражал пользовавшемуся в то время большой известностью и принятому в высших аристократических и придворных кругах шарлатану Калиостро. Был одно время в Веймаре, где подвергался насмешкам Гете, сочинившего на него несколько эпиграмм. Умер в 1795 г.

150. *Юнг-Штиллинг*, Иоганн-Генрих (1740—1817) — мистик, полагавший, что он пользуется особым покровительством бога и видевший перст божий во всех обстоятельствах своей жизни. Особенно популярен стал в эпоху реставрации, после падения Наполеона, во время образования „Священного союза“. Написал многочисленных сочинения мистико-назидательного характера.

152. *Медуза* см. прим. к стр. 51.

153. *Аполлон Бельведерский* — знаменитая статуя Аполлона, находящаяся в Бельведере (отделение ватиканского музея в Риме).

— *Рафаэль* (1483—1520)— один из наиболее крупных итальянских художников эпохи Возрождения.

155. *Лафатер*, Иоганн-Каспар (1741—1801) — швейцарский писатель. Был пастором в Цюрихе, где его проповеди пользовались большим успехом. Плодовитый писатель. Из его сочинений наиболее известна „Физиогномика“ (1772—1778). Он был одним из самых популярных людей своей эпохи. Карамзин посетил его и пишет о нем: „Всякий чужестранец, приезжающий в Цюрих, считает за должность быть у Лафатера“.

157. *Иаков*. — В Библии рассказывается, что Иаков, возвращаясь на родину, всю ночь боролся с богом и не был им побежден.

163. *Пфедфель* (1736—1809) — эльзасский писатель, президент евангелической консистории в Кольмаре. Двадцати одного года ослеп; из его сочинений наибольшей известностью пользуются басни.

— *Вечный жид* — см. прим. к стр. 115.

ЛЕОНС И ЛЕНА

Комедия „Леонс и Лена“ была написана Бюхнером на конкурс, устроенный известным издателем Коттой на лучшую комедию. Срок был назначен на 1 июля 1836 г. Бюхнер по небрежности опоздал на несколько дней, и его комедия была ему возвращена в нераспечатанном виде. При жизни Бюхнера напечатана не была. После его смерти его невеста Минна Егле переслала рукопись Карлу Гуцкову. Отрывки из комедии были напечатаны в „Немецком телеграфе“ (№ 76—80). Так же как и к „Смерти Дантона“, Гуцков написал к пьесе короткое вступление и изложил своими словами те сцены, которые были им выкинуты. Целиком комедия была напечатана в посмертном издании сочинений Бюхнера. Окончательный текст установлен в издании 1922 г. „Леонс и Лена“ до сих пор на русский язык переведена не была и печатается ныне впервые.

В виде предисловия автор предпослал комедии короткий диалог между двумя итальянскими драматургами Альфиери и Гоцци. Альфиери спрашивает: „А слава?“ Гоцци отвечает: „А голод?“. В этом диалоге, который

не является подбором цитат, а принадлежит Бюхнеру, автор противопоставляет трагедиям Альфиери, исполненным ложного пафоса и бессодержательной декламации в стиле XVIII века, иронические комедии Гоцци, имеющие характер гротеска.

Критики находят в комедии Бюхнера черты сходства с комедиями „Понс де Леона“ Клеменса Брентано и „Цербино“ Тика. Однако, несмотря на сходство, не следует переоценивать их влияние на Бюхнера, так как общие черты всех этих комедий восходят к первоисточникам — к комедиям Гоцци и Шекспира.

Комедия „Леонс и Лена“ под видом сказки представляет собой сатиру на жизнь мелких немецких княжеских дворов середины XIX века. Таково, например, княжество Попо, которое так мало, что из зала дворца можно установить самое строгое наблюдение за всеми границами государства. Тем не менее там имеется целый штат чиновников, государственный совет и церемониймейстер, который наблюдает за точным соблюдением придворного этикета. С другой стороны, мы имеем в комедии смешение фантастического с реалистическим, характерное для романтических писателей начала XIX века, например, Гофмана и Тика. Некоторыми своими чертами, например, изображением людей в виде масок, эта комедия Бюхнера напоминает комедии Гоцци. В обращении Валерио к публике специфически бюхнеровский характер имеет насмешливое изображение нравственности высшего общества. Изображение же „механизма любви“ напоминает учение об аффектах Спинозы, приверженцем которого был Бюхнер.

183. *Субстанция есть в себе бытие.* — Здесь в насмешливом виде изображаются категории системы Спинозы, основные понятия которой составляют: субстанция, атрибуты и модусы.

186. *Dolce far niente* — сладкое безделье (итальянское выражение).

189. *Калигула*, Гай-Цезарь (12—41 н. э.) — с 37 г. римский император. Известен своей жестокостью.

— *Нерон* — см. прим. к стр. 129.

190. *Адонис* — см. прим. к стр. 60.

195. *Шенди*. — В романе английского писателя Лоренса Стерна (1713—1768) „Тристрам Шенди“ отец героя регулирует всю свою жизнь, в том числе и брачную, по часам.

— *Априори, апостериори* — философские понятия. Априори — значит из чистого мышления, апостериори — из опыта.

196. *Пан* (греч. миф.) — бог лесов и полей. Глубокая тишина, которая царит на полях в полуденные часы, заставляла древних верить, что в это время Пан спит.

— *Вергилий*, Публий-Марон (70—19 до н. э.) — римский поэт. В своих эклогах он описывает мирную деревенскую жизнь, восхваляя ее преимущества перед городской. В средние века Вергилий считался волшебником: так, у Данте он является провожатым поэта через ад и чистилище.

— *Лаццарони* — бездельник (итальянское выражение).

199. Эпиграф ко второму акту — негочная цитата из стихотворения Адальберта Шамиссо (1781—1838): „Слепая“, напечатанного впервые в „Альманахе муз“ за 1834 г.

202. *Оттилия* — легендарная католическая святая, дочь герцога эльзасского.

205. *Башня на Ливане* — насмешливое подражание стиху из библейской „Песни песней“: „Нос твой, как башня Ливанская, стоящая лицом к Дамаску“ (гл. VII).

206. *Дух, который носился над водами* — намек на первую главу библейской книги „Бытия“ где говорится, что до сотворения мира дух божий носился над водами.

ВОЙЦЕК

„Войцек“ остался после смерти Бюхнера в виде отдельных разрозненных листков, написанных очень мелким и неразборчивым почерком. Разобраться в них на первый взгляд представлялось совершенно невозможным. Брат писателя, Людвиг Бюхнер, издавая посмертное собрание сочинений Георга Бюхнера, оговорил в предисловии, что после покойного остались разрозненные листки, не представляющие законченной вещи. Карл-Эмиль

Француз, приступив к изданию полного собрания сочинений Бюхнера, решил разобраться в этих листках. Это представляло громадные трудности, так как чернила поблелили и еле проступали на пожелтевшей бумаге. Лишь с помощью химических препаратов, применяемых для чтения старинных рукописей, Француз удалось расшифровать листки. Француз привел их в порядок и дал первую редакцию „Войцека“, напечатанную в 1879 году в собрании сочинений Бюхнера, изданном им.

В основу драмы „Войцек“ положено действительное происшествие — уголовное дело об убийстве, происшедшем 26 июня 1821 г. Подробное описание этого дела было напечатано в конце двадцатых годов в медицинской газете, в которой сотрудничал отец Бюхнера, врач по профессии. Оно заключалось в том, что не вполне нормальный человек, Иоганн-Христиан Войцек, парикмахер по профессии, убил из ревности свою любовницу, вдову Воост. В своих показаниях он объявил, что на небе явилось огненное лицо — явление, которое он объяснил масонскими козьями — и что звуки скрипок, при которых его любовница плясала с его соперниками, преследовали его повсюду, пока он не услышал голоса „заколи Воостиху“. В соответствии со своими задачами Бюхнер изменил возраст, социальное положение и характеры своих героев.

В результате получилась драма с социальным содержанием. Мы видим, с одной стороны, представителей трудящихся масс, а с другой — доктора и капитана, оторванных от масс, представителей высших классов, которые могут позволить себе роскошь быть добродетельными, Бедным же людям, у которых нет денег, приходится „рождать на свет себе подобных без морали“. Мысль об искусственном характере морали, созданной в интересах высших классов для обуздания народа, встречается у Бюхнера также в комедии „Леонс и Лена“ и в драме „Смерть Дантона“. Что касается тамбур-мажора, то в его лице изображено развращающее действие высших классов на народ. Тамбур-мажоры (полковые барабанщики) выбирались из числа самых высоких и сильных людей и носили блестящую, яркую форму. Своим мундиром и подарками тамбур-мажор Бюхнера соблазняет Марию,

Вещь хотя и не обработана, но, написанная резкими и сильными штрихами, производит сильное впечатление.

233. *Пустите детей...* имеются в виду приписываемые Иисусу слова „пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне“ (Евангелие от Матфея, гл. XIX).

237. *Протей* (греч. миф.) — морское божество, которому приписывается способность принимать всевозможные формы.

244. *И не было в нем лукавства* — Иисус дает такую характеристику одному из своих учеников (Евангелие от Иоанна, гл. I).

— *Но фарисеи привели к нему...* — передача с некоторыми пропусками рассказа, приводимого в Евангелии от Иоанна (гл. VIII).

245. *И ставши позади у ног его...* — передача рассказа, приводимого в Евангелии от Луки (гл. VII).

ГЕССЕНСКИЙ КРЕСТЬЯНСКИЙ ВЕСТНИК

В марте 1834 г. Бюхнер организовал „общество прав человека“, в состав которого вошли студенты, ремесленники и бюргеры. Кроме него главную роль играл там пастор Фридрих Вейдиг (1791—1837), вождь гессенских либералов. По своим политическим взглядам он и Бюхнер резко различались между собой. Бюхнер считал, что, только опираясь на широкие массы, можно с успехом вести освободительную борьбу и что только материальные нужды могут всколыхнуть эти массы. К либеральному движению Бюхнер относился с нескрываемой иронией, считая, что „всякие действия и крики отдельных лиц являются совершенно напрасной и безумной тратой сил“ (письмо к родным от июня 1833 г.). Вейдиг же стремился главным образом к чисто политическому перевороту силами и средствами „образованной“ части общества. Вопрос о том, во имя чьих социальных интересов будет произведен политический переворот, занимал его мало. Вот почему для Вейдига либеральная оппозиция была одной из основных сил политического переворота. Он уже раньше, в 1833 г., принимал деятельное участие в подготовке вооруженного восстания во

Франкфурте-на-Майне, которое окончилось полной неудачей. Несмотря на многочисленные аресты, произведенные среди участников восстания, сам Вейдиг уцелел и продолжал энергично вербовать новых сторонников среди радикально настроенной буржуазии.

Ближайшей задачей, которая стояла перед новым обществом, было составление и распространение воззваний и прокламаций. Но здесь между Бюхнером и Вейдигом обнаружилось резкое разногласие. Бюхнер находил необходимым обращаться к беднякам по поводу их материальных интересов, гнета податей, нужды и бесправия. Вейдиг же считал необходимым опираться на либеральное общество и на студентов. Целью переворота ему представлялось учреждение конституционной монархии. Они согласились на разделение труда: Бюхнер должен был воздействовать на массы, а Вейдиг на „общество“ „Гессенский крестьянский вестник“ был составлен Бюхнером во исполнение этой программы. Воззвание Бюхнера обращает внимание главным образом на материальные нужды народа. В нем бедные резко противопоставляются богатым. Но Вейдиг нашел это воззвание слишком смелым, без ведома Бюхнера сильно смягчил его, вставил в него целый ряд мест из библии и пророков, со ссылками на господа бога, вместо „богатых“ всюду ставил „знатные“, а резкие выражения против либералов смягчил или даже совсем вытравил. Таким образом, острота памфлета была значительно уменьшена, чем Бюхнер был очень недоволен. Несмотря на все это, памфлет все же представляет собой замечательное явление как по энергичному, резкому языку, так и по содержанию.

Практического значения он почти не имел. Студент, с головы до ног обложенный его экземплярами, показался подозрительным чиновнику одной из бесчисленных внутренних таможен тогдашней Германии. Он был задержан, обыскан и передан жандармам. После этого начались многочисленные аресты среди участников общества. Бюхнер не был арестован, но его несколько раз вызывали на допросы, и за ним был установлен строгий надзор. В конце концов ему пришлось бежать сперва в Страсбург, а затем в Швейцарию, в Цюрих, где он и умер.

Что касается Вейдига, то он был арестован в апреле 1835 г. Чтобы добиться от него нужных показаний, его посадили в карцер, заковали в цепи, на шесть недель приковывали к стене. Камера, в которой он сидел, кишела мышами и мириадами блох, так что судебные власти, посещавшие раз в месяц тюрьму, не решались даже входить в нее. 23 февраля 1837 г. Вейдиг был найден в своей камере мертвым. По наиболее распространенной версии, он покончил самоубийством после того, как был подвергнут жестоким истязаниям.

Напечатать воззвание в том виде, в каком оно было составлено Бюхнером, не представляется возможным в виду отсутствия подлинника. Однако для того, чтобы оттенить разницу в тоне между Бюхнером и Вейдигом, те места, которые вставлены Вейдигом, напечатаны особым шрифтом.

255. *Фогельсбергские сограждане* — имеются в виду крестьяне Фогельсберга, области Верхнего Гессена, арестованные драгунами во время крестьянского восстания в 1830 г. и заключенные в Рокенбургскую тюрьму.

256. *Зедель* — деревня, где в 1830 г. произошло кровавое столкновение между восставшими крестьянами и войсками. Драгуны, не сделав безоружной толпе даже предостережения, чтобы она разошлась, врзались в нее, ранив и убив при этом множество народа.

257. *Людвиг II* (1777—1848) — великий герцог Гессенский, вступил в управление страной с 1830 г.

262. *Бурбоны* — старинный французский род (с первой, половины X века); потомки его занимали французский престол с 1589 г. по 1792 г. и в эпоху реставрации (1814—1830).

— *Карл X* (1756—1836)—французский король (1824—1830).

— *Луи-Филипп* (1773—1850)—французский король (1830—1848).

263. *Грольман* — депутат гессенского ландтага, который внес предложение, чтобы государство взяло на себя частные долги Людвига II.

КАТОН УТИЧЕСКИЙ

„Катон Утический“ представляет собой гимназическую речь, произнесенную Бюхнером в 1830 г., когда ему было 17 лет. Обращает на себя внимание смелость гимназиста, отваживающегося критиковать христианскую точку зрения и предпочитающего ей древне-римский идеал отечества и свободы. Здесь мы уже видим того Бюхнера, который впоследствии составил воззвание к герсенским крестьянам. Что касается содержания речи, то вряд ли нужно напоминать о том, что образ Катона, изображенный Бюхнером, сильно идеализирован. В действительности Марк-Порций Катон Младший (95—46 до н. э.) вместе с Брутом, Кассием и Цицероном является типичным представителем старой римской аристократии, подразумевавшей под республиканской свободой неограниченное господство своего класса в Риме и в провинциях. Это были те люди, которые, по выражению Маркса, стремились „вернуть назад колесо истории“ или, по выражению самого Бюхнера, хватали колесо времени за спицы и либо отбрасывались назад его могучим вращением, либо, раздавленные его тяжестью, находили себе смерть. Моммзен называет Катона — Дон-Кихотом. Особенную популярность получил Катон благодаря своей смерти, которая описывается римскими историками следующим образом. Будучи в Утике, в Африке, которую он должен был защищать от Цезаря, он получил известие, что битва, при Тапсе, где сражались последние остатки помпеянцев, окончилась их поражением и что Цезарь направляется к городу. Поняв, что всякое сопротивление бесполезно, и не желая принимать прощения от своего противника, он, спокойно приведя в порядок свои дела и простившись с сыном, удалился к себе в комнату, долго читал там диалог Платона „Федон“, где описывается смерть Сократа, и потом вонзил себе меч в грудь. Его нашли уже в агонии.

Катона стали приводить как пример древней римской добродетели. Данте, который отправил ближайших союзников Катона, Брута и Кассия, в самый нижний круг ада, наравне с предателем Иудой, самого Катона ценит очень высоко и помещает его в чистилище, т. е. выше всех языческих мудрецов, в награду за то, что

своей смертью Катон доказал свою любовь к свободе. Идеализированный образ Катона был также очень популярен во время Великой французской революции. Речь Бюхнера, воодушевленная идеей древне-римской добродетели, воплощенной в Катоне, примыкает к речам деятелей Французской революции.

275. *Катилина* — см. прим. к стр. 54.

276. *Веллей Патеркул Кай* (родился ок. 19 г. до н. э.) — римский историк времен Августа и Тиберия. Он дает очень льстивую характеристику правлению Тиберия, который у Тацита и Светония изображается тираном.

280. *Филиппы* — местность в Македонии, где соединенные войска Кассия и Брута были разбиты войсками Антония и Октавиана (42 г. до н. э.). В этом сражении был убит сын Катона, храбро сражавшийся на стороне Брута и возбудивший своей смертью удивление в рядах неприятелей.

— *Люден*, Генрих (1780—1845) — немецкий историк.

281. *Гердер*, Иоанн-Готфрид (1744—1803) — немецкий философ и критик. Главные сочинения: „Идеи к философии истории“ и „Голоса народов в поэзии“.

ПИСЬМА

Письма Бюхнера при жизни его опубликованы не были. Их можно разделить на три части. Одна была написана к родным. Впервые письма к родным были опубликованы братом писателя, Людвигом Бюхнером, в собрании сочинений Георга Бюхнера. Здесь были помещены только те, которые, по мнению редактора, знакомили с политическим движением эпохи и с ролью в нем Георга Бюхнера. Целый ряд писем не мог быть напечатан по цензурным соображениям. Подлинники писем, хранившиеся в семье Бюхнеров, сгорели во время пожара, вследствие чего восстановление подлинного текста не представляется возможным.

Другая часть писем адресована известному писателю Гуцкову. Частично они были опубликованы Гуцковым во „Франкфуртском телеграфе“ в июне 1837 г. Впоследствии он опубликовал еще два письма Бюхнера к нему.

Третью часть составляют письма, адресованные к невесте Бюхнера, Луизе-Вильгельмине Егле. В 1838 г. она прислала Гудкову копии части писем Бюхнера к ней. Впоследствии, рассорившись с семьей Бюхнеров, она отказалась предоставить в распоряжение издателей остальные.

Письма Бюхнера дают много материала для всех интересующихся его политической деятельностью и поэтическим творчеством. В них рассеян целый ряд важных высказываний Бюхнера по вопросам литературы и политики. Но они представляют также и значительный биографический интерес. Мы знакомимся в них с интимной жизнью писателя. Таким образом всякому, кому Бюхнер близок, как писатель, человек и революционер, знакомство с письмами поможет уяснить его действительный облик.

285. *Ромарино*, Джироламо (1790—1849) — по происхождению генуэзец, польский и итальянский генерал. После падения Варшавы в сентябре 1831 г. перешел австрийскую границу и бежал во Францию. В 1834 г. с отрядом, составленным из эмигрантов разных национальностей, вторгся в Савойю, чтобы ниспровергнуть власть сардинского короля и помочь „Молодой Италии“. В 1849 г. был обвинен в поражении пьемонтских войск при Новаре и расстрелян по приговору военного суда (Бюхнер неправильно пишет Ромарино).

— *Шнейдер*, Антуан (1779—1847) — французский военный министр в 1839—1840 гг.

— *Лангерман*, Жорж-Фредерик — польский и французский военный деятель. В молодости был на морской службе. Участвовал в наполеоновских кампаниях 1813—1814 гг. и в испанской войне 1823 г. Играл значительную роль в польском восстании 1831 г. Умер в 1840 г.

287. *Перье*, Казимир (1777—1832) — министр-президент реакционного французского кабинета с 1831 г.

— *Голландская смута*. — В результате революции 1830 г. Бельгия отделилась от Голландии. В виду напряженного отношения между обоими государствами, обе стороны готовились к войне.

289. *Франкфуртские события*. — Имеется в виду вооруженное восстание во Франкфурте-на-Майне 3 апреля 1833 г.

Восстание окончилось полной неудачей. После этого сотни людей были брошены в тюрьмы, где томились многие годы в ожидании суда.

289. *Нейштадт*. — В 1833 г. жители Нейштадта хотели отпраздновать мирной демонстрацией годовщину гамбахского народного праздника. Они были разогнаны вооруженной силой, причем пострадали женщины, старики и дети.

290. *Сен-Симон*, Анри де Рувруа (1760—1835) — французский философ, социалист-утопист. Учение его было очень распространено во Франции в 20-х и 30-х годах XIX века.

— *Как Саул за ослами своего отца*. — По библейскому сказанию Саул, отправившись на поиски пропавших ослиц своего отца, оказался по дороге у пророка Самуила, который помазал его на царство.

293. *Салио*, Флоран (1777—1841) — член муниципально-го совета Страсбурга и депутат французского парламента от Нижне-Рейнской провинции. До Июльской революции 1830 г. был в оппозиции, после нее перешел на сторону правительства и поддерживал все министерства, находившиеся у власти.

294. *Штамм*, Карл-Теодор - Фридрих — дармштатский школьный товарищ Бюхнера, студент медицинского факультета гиссенского университета. В 1833 г. был арестован по делу о франкфуртском путче, но был освобожден за недостатком улик. В 1835 г. эмигрировал за границу.

— *Гросс*, Август (1810—1893) — студент-экономист, арестованный в 1833 г. в связи с франкфуртским путчем и освобожденный через полтора года.

— *Бальзер*, Георг-Фридрих-Вильгельм (1780—1846) — профессор медицины гиссенского университета.

— *Фохт* (1787—1860) — профессор гиссенского университета. За сочувствие революционной деятельности студентов принужден был оставить кафедру и переселиться в Берн в 1836 г.

— *Фридберские арестованные* — ряд лиц, арестованных по делу „Общества прав человека“, был отправлен в Фридбергскую тюрьму.

294. *Лама* — буддийский жрец, в котором якобы воплощается будда, вследствие чего он считается бессмертным.

295. *Беккель*, Евгений — врач, страсбургский друг Бюхнера.

299. *Гиппократова маска* — см. прим. к стр. 69 („Гиппократова печать“).

300. *Бык Перилиуса* — древне-греческий скульптор Перилиус приготовил для одного из греческих тиранов медного быка, во внутренность его помещались политические осужденные, после чего его раскаляли на огне.

— *Калло-Гофман* — имеются в виду „Фантастические повести в манере Калло“ немецкого романтического писателя Эрнста-Теодора-Амедея Гофмана (1776—1822)

302. *Лярифари* — комический персонаж итальянской народной комедии.

303. *Она была слаба* — строфы из стихотворения Ленца „Деревенская любовь“, опубликованного в шиллеровском „Альманахе муз“ в 1798 г. Героиней его является Фредерика Брион из Зезенгейма, которую любил Гете.

305. *Шульц*, Вильгельм-Фридрих (1797—1860) — гессенский офицер, принужденный подать в отставку, вследствие своих либеральных убеждений. Занялся научной деятельностью и получил звание доктора прав. Тщетно пробовал найти себе место на гессенской государственной службе. Занялся публицистической деятельностью, защищая либеральные требования свободы слова и печати, сокращения постоянной армии, единства Германии. В 1834 г. был приговорен к пятилетнему заключению в крепость. Вскоре убежал в Страсбург. В 1836 г. переехал в Цюрих, где вел курс юридических наук. Написал книгу „Тайная кабинетная юстиция“, где разоблачил приемы, применявшиеся гессенскими судьями в процессе Вейдига. В 1848 г. — член франкфуртского Национального собрания.

— *Барон Мюнхгаузен* — популярный немецкий герой фантастических рассказов.

306. *Миннегероде*, Карл (1814—1861) — сын крупного гессенского судебного чиновника, друг Бюхнера, член „Общества прав человека“. Был арестован в августе 1834 г. В тюрьме психически заболел вследствие жестокости следователя Георги, ведшего его дело. В 1837 г. был

освобожден по болезни. Впоследствии эмигрировал в Америку, где умер епископом одной секты.

307. *Вильгельмина* — невеста Бюхнера, Луиза-Вильгельмина Егле.

— *Мустон* — французский политический эмигрант, участвовавший в походе генерала Раморино на Савойю.

— *Люциус*, Фердинанд — евангелический (протестантский) теолог в Страсбурге.

310. *Георги*, Конрад (1801—1857) — гессенский судья, специально ведавший политическими делами. Подвергал политических заключенных жестоким истязаниям, доведшим Вейдига до самоубийства, а Миннегероде до помешательства.

311. *Набатный колокол* — подразумевается народное восстание, которое обычно производилось при звоне набатного колокола.

— *Зауерлендер Ж. Д.* — издательство во Франкфуртена-Майне, где была напечатана в 1835 г. драма Бюхнера „Смерть Дантона“.

312. *Гуцков*, Карл (1811—1878) — немецкий писатель, один из представителей радикальной группы писателей „Молодая Германия“. Эта группа объединялась общим оппозиционным настроением по отношению к правительству. Гуцков в своих литературных произведениях уделял значительное место религиозным вопросам и вопросам радикального переустройства семейных отношений. Роман Гуцкова „Валли“, вышедший в 1835 г., в котором идеи религиозного скептицизма сочетались с проповедью свободной любви, произвел большой шум. По доносу Менцеля, жаловавшегося на разрушение автором романа семейных устоев, Гуцков был посажен в тюрьму. Его драма „Уриель Акоста“ сохранила значение до сих пор. Что касается Бюхнера, то Гуцков сильно содействовал его популярности. Получив рукопись „Смерть Дантона“, он сразу признал в Бюхнере замечательного писателя. Он напечатал драму в своем издании и написал о ней хвалебную рецензию, где оценивал драму как гениальную. Благодаря этому Бюхнер сразу стал заметной литературной величиной.

312. *Рейсс* Луиза-Филиппина, урожденная Германи (1764—1846) — бабушка Георга Бюхнера, которая, овдовев, переселилась в дом родителей Бюхнера.

315. *Собор снова напялит на себя якобинскую шапку* — подразумевается революция.

— *Самсон* — парижский палач эпохи террора 1793 г.

316. *Козериц* — лейтенант, участник демократического движения в Вюртемберге, бежал от суда и эмигрировал в Америку.

— *Франк*. — Известие о смертном приговоре Франку оказалось неверным. Франк был присужден к лишению свободы.

— *Марбур.* — В Марбурге печаталось второе издание „Гессенского крестьянского вестника“.

— *Беккер*, Август (1814—1875) — т. н. „красный Беккер“, сын пастора. Будучи студентом богословского факультета в Гиссене, примкнул к революционному кружку „Общество прав человека“, организованному Бюхнером. За принадлежность к названному обществу был арестован и после долгого следствия приговорен к девяти годам тюрьмы. В 1839 г. попал под амнистию и вскоре уехал в Швейцарию. В Женеве познакомился с рабочим движением и стал ревностным последователем Вейтлинга, написал ряд брошюр и сотрудничал в радикальных газетах. Находился в переписке с Марксом и Энгельсом. Умер в эмиграции в Америке.

— *Клемм*, Густав — студент теологии, а затем фармакологии. Член „Общества прав человека“. До этого принимал участие во франкфуртском путче и десять месяцев провел в тюрьме. Освобожден в марте 1834 г. Арестованный в мае 1835 г. по делу о „Гессенском крестьянском вестнике“, был вскоре освобожден на поруки, по официальной версии — из-за слабого здоровья, на самом же деле потому, что выдал ряд товарищей.

— *Вейди* — см. вступительное примечание к „Гессенскому крестьянскому вестнику“.

317. *Трения между Швейцарией и другими странами* — имеются в виду трения между иностранными государствами и Швейцарией, вызванные тем, что в Швейцарии

различные эмигрантские организации формировали революционные армии, подготавливая восстание против деспотических правительств. В результате таможенной войны, объявленной ими Швейцарии, швейцарское правительство обязалось выслать всех беспокойных иностранцев. Во исполнение этого постановления из Швейцарии был выслан ряд эмигрантов.

318. *Баум*, Иоганн-Вильгельм (1809—1878)—страсбургский друг Бюхнера, впоследствии ставший историком церкви.

319. *Сарториус* — никаких биографических данных установить не удалось.

— *Флик*, Генрих-Христиан (род. в 1790 г.) — священник в Петервейле, друг и единомышленник пастора Вейдига. В 1838 г. был приговорен к восьмилетнему тюремному заключению, освобожден по амнистии в 1839.

320. *Гейман*, Адольф (1811—1852)—дармштатский врач. В 1833 г. эмигрировал в Страсбург, так как был связан с радикальными и нелегальными организациями.

— *Розенштиль*, Людвиг (1806—1863)—кандидат юридических наук во Франкфурте. Впоследствии переселился в Дармштат, где и умер.

— *Винер*, Герман (1813—1897)— дармштатский школьный товарищ Бюхнера; студент филологического и теологического факультетов в Гиссене. За участие во франкфуртском путче был арестован в 1833 г., освобожден в 1834 г. В 1835 г. эмигрировал в Швейцарию. В 1842 г., поселился в Лондоне, где был профессором греческого языка и литературы. В 1848 г. член франкфуртского парламента.

— *Бюхнер*, Вильгельм (1817—1892)—брат Георга Бюхнера, фармацевт, затем владелец химической фабрики. Был избран депутатом в гессенский ландтаг от гессенских умеренных либералов.

321. *Курица в горшке* — имеется в виду изречение, приписываемое французскому королю Генриху IV (1553—1610): он желал, чтобы всякий крестьянин имел по воскресеньям курицу в горшке.

— *Галльский петух*—символ Французской революции.

321. *Кох, Яков*—член „Общества прав человека“ в Дармштате. Эмигрировал в Швейцарию в 1835 г.

— *Валлот, Иоганн-Фридрих* (1810—1877)—дармштадтский школьный товарищ Бюхнера, студент медицинского факультета гиссенского университета. Член запрещенного буршеншафства, с 1835 г. до 1848 г., в Верхнем Эльзасе. В 1849 г. принимал участие в баденском восстании, после чего был принужден эмигрировать в Швейцарию.

— *Гейльфус, Георг* — был арестован за участие в буршеншафстве и бежал.

322. *Беккер, Людвиг* — кандидат теологии в Гиссене, член „Общества прав человека“.

— *Бигелебен*—в Гиссене было два брата: один из них — Максимилиан-Людвиг (1812—1872), другой—Максимилиан (1813—1899). О ком из них идет речь в письме — не установлено.

— *Вейденбуш, Филипп-Карл-Николай* (1811—1893) — сын гиссенского адвоката. С 1842 г. сам адвокат.

323. *Флорес, Иосиф* (1811—1846) — сын председателя гиссенского верховного суда, впоследствии сам судья.

— *Тудихум, Георг* (1794—1873) — пастор и директор школы в Бюдингене, переводчик Софокла и греческих лириков, принадлежал к либеральной партии, был сторонником единства Германии. В 1835 г. был арестован по процессу Вейдига, но вследствие недостатка улик оправдан.

— *Лаут, Эрнст* (1803—1837) — профессор анатомии страсбургского университета, автор руководства по анатомии.

— *Дювернуа, Жорж-Луи* (1777—1835) — профессор сравнительной анатомии в страсбургском университете.

327. *Нивергельдер* — никаких биографических данных установить не удалось.

328. *Фохт* — сын профес., Карл Фохт (1817—1895)—немецкий естествоиспытатель и политический деятель.

— *Нейгоф* — сестра бежавших в апреле 1834 г. братьев Георга и Вильгельма Нейгоф. Она держала связь с революционными организациями, передавала письма, разбрасывала листовки и укрывала преследуемых.

328. *Адская машина в Париже* — бомба, при помощи которой было совершено покушение Фиески на французского короля Луи-Филиппа (28 июля 1835 г.).

329. *Карлисты* — сторонники Дон-Карлоса Испанского (1788—1855), который в 1834 году был претендентом на испанский престол. Луи-Филипп отказался помочь законной династии в ее борьбе против него.

— *Свидание монархов в Калише*. — В 1835 г. в польском городе Калише состоялись парады прусских, австрийских и русских войск, в присутствии прусского, русского и австрийского государей.

— *Адская машина при Бонапарте* — покушение на Наполеона I в 1800 г.

— *Убийство послов в Раштате*. — В 1799 г. Меттерних — представитель Австрии на Раштатском конгрессе — потребовал от французских уполномоченных, чтобы они немедленно удалились из города. При выезде из города двое из них было убито; это послужило сигналом к новой войне.

330. *Принц Эмиль* (1790—1876) — брат великого герцога гессенского Людвиг II; командовал войсками, усмирявшими восстание крестьян в 1833 г. в Гессене.

331. *Послание из Швейцарии* — имеется в виду Герман Трапп, школьный и университетский товарищ Бюхнера. Он был членом „Общества прав человека“ и эмигрировал почти одновременно с Бюхнером. После выхода в свет трагедии Бюхнера „Смерть Дантона“ он написал Карлу Гудкову анонимное письмо, в котором поносил Бюхнера и издевался над его произведением. Впоследствии, однако, Бюхнер с ним примирился.

332. *Винбарт*, Рудольф (1802—1872) — критик и идеолог „Молодой Германии“. Он был теоретиком этой литературной группы и выступал против реакционного литературного и политического движения, руководимого романтической школой.

— *Гладбах*, Георг (1811—1883) — двоюродный брат Карла Фохта, дармштатский школьный товарищ Бюхнера, студент юридического факультета гиссенского университета. Был членом буршеншайфства, в 1833 г. был арестован в связи с франкфуртским покушением, но лишь в 1838 г.

был приговорен к восьмилетнему заключению. Освобожден по амнистии в 1839 г., эмигрировал в Швейцарию.

333. *Гейне*, Генрих (1799—1856) — знаменитый немецкий поэт и публицист. В 30-х годах был близок к „Молодой Германии“.

— *Берне*, Карл-Людвиг (1786—1837)—немецкий публицист и критик, предвестник общественно-литературных идей „Молодой Германии“. Одна из его наиболее известных вещей—„*Менцель-французоед*“ — направлена против Менцеля.

— *Мундт*, Теодор (1808—1861) — немецкий писатель и издатель многих немецких журналов 30-х и 40-х годов XIX века; принадлежал к „Молодой Германии“.

334. *Штебер*, Адольф (1811—1892) — сын эльзасского писателя Даниэля Штебера, автора биографии пастора Оберлина, которую Бюхнер использовал для своей новеллы „*Ленц*“. Адольф Штебер писал также на эльзасском наречии и вместе со своим братом Августом издал в 1836 г. книгу эльзасских песен, преданий и сказаний.

— *Штебер*, Август (1808—1884)—брат предыдущего. Он обратил внимание Бюхнера на Якоба Ленца; в ту пору, когда Бюхнер и Штебер встречались в Страсбурге, Штебер писал свою монографию о Ленце и познакомил Бюхнера со всеми неизданными материалами о нем.

— *Шваб*, Густав (1792—1850) — немецкий поэт, один из главнейших представителей так называемой новейшей швабской школы романтиков, вдохновлявшейся средневековым прошлым Германии.

— *Уланд*, Людвиг (1787—1862)—немецкий поэт и ученый.

335. *Баварский король*— Людвиг I (1786—1868), занимал престол с 1825 г. до 1848 г., когда принужден был отречься. При нем был проведен ряд реакционных мероприятий: усилена цензура, введена палочная дисциплина в войсках. Был известен своими любовными похождениями.

— *Великий герцог баденский* — Людвиг I (1790—1852). Правил страной с 1830 г.

— *Немецкий Михель*—насмешливое название для простоватого немца.

337. *Кюхлер*, Генрих (1811—1873) — дармштатский врач, приговоренный к восьми годам заключения по делу Вейдига. В 1839 г. был освобожден по амнистии.

338. *Метфессель*, Альберт-Готлиб (1785—1869) — немецкий композитор. Некоторые его песни стали народными.

339. *Декарт*, Ренэ (1597—1650) — французский философ, один из родоначальников философии нового времени. Бюхнер специально занимался им.

— *Рештекель* — гостиница в Страсбурге.

340. *Менцель*, Вольфганг (1798—1873) — консервативный немецкий критик и публицист; известен своими доносами на „Молодую Германию“.

343. *Савойский поход* — поход генерала Раморино с отрядом эмигрантов разных национальностей.

345. *Две драмы* — „Войцек“ и драма об итальянском писателе XVI века „Аретино“, которая была, повидимому, уничтожена невестой Бюхнера в виду ее атеистического содержания.

— *Спор между Францией и Швейцарией* — имеются в виду дипломатические осложнения, вызванные пребыванием в Швейцарии Луи Бонапарта (будущего императора Наполеона III).

347. *Абеляр*, Петр (1070—1142) — французский философ, богослов и поэт. Известна его переписка с его ученицей и возлюбленной *Элоизой*.

349. *Rue Saint-Guillaume № 66* — дом пастора Егле, отца невесты Бюхнера, где он поселился во время своего пребывания в Страсбурге.

ПЕРЕЧЕНЬ ПИСЕМ
1831—1837

1. <i>Родным.</i> Страсбург, октябрь 1831	285
2. <i>Родным.</i> Страсбург, декабрь 1831	286
3. <i>Родным.</i> Страсбург, февраль 1832	—
4. <i>Родным.</i> Страсбург, декабрь 1832	287
5. <i>Родным.</i> Страсбург, январь 1833	—
6. <i>Родным.</i> Страсбург, 5 апреля 1833	—
7. <i>Родным.</i> Страсбург, май 1833	289
8. <i>Родным.</i> Страсбург, конец мая 1833	291
9. <i>Родным.</i> Страсбург, июнь 1833	—
10. <i>Родным.</i> Страсбург, 8 июля 1833	292
11. <i>Родным.</i> Гиссен, 1 ноября 1833	294
12. <i>Родным.</i> Гиссен, 19 ноября 1833	—
13. <i>Невесте.</i> Гиссен, весна 1834	—
14. <i>Родным.</i> Гиссен, февраль 1834	296
15. <i>Невесте.</i> Гиссен, февраль 1834	298
16. <i>Невесте.</i> Гиссен, март 1834	299
17. <i>Родным.</i> Гиссен, 19 марта 1834	301
18. <i>Невесте.</i> Гиссен, март 1834	—
19. <i>Невесте.</i> Гиссен, март 1834	303
20. <i>Родным.</i> Страсбург, апрель 1834	304
21. <i>Родным.</i> Гиссен, 25 мая 1834	—
22. <i>Родным.</i> Гиссен, 2 июля 1834	305
23. <i>Родным.</i> Франкфурт, 3 августа 1834	—
24. <i>Родным.</i> Гиссен, 5 августа 1834	306
25. <i>Родным.</i> Гиссен, 8 августа 1834	307
26. <i>Родным.</i> Гиссен, конец августа 1834	310
27. <i>Зауерлендору.</i> Дармштат, 21 февраля 1835	311
28. <i>Гуцкову.</i> Дармштат, 21 февраля 1835	312
29. <i>Родным.</i> Вейссенбург, 9 марта 1835	314
30. <i>Гуцкову.</i> Страсбург, март 1835	315
31. <i>Родным.</i> Страсбург, 27 марта 1835	316
32. <i>Родным.</i> Страсбург, 20 апреля 1835	—

33.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 5 мая 1835	317
34.	<i>Родным.</i>	Страсбург, среда после троицы 1835	319
35.	<i>Вильгельму Бюхнеру.</i>	Страсбург, июль 1835	320
36.	<i>Гуцкову.</i>	Страсбург, 1835	321
37.	<i>Родным.</i>	Страсбург, июль 1835	—
38.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 16 июля 1835	323
39.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 28 июля 1835	324
40.	<i>Родным.</i>	Страсбург, начало августа 1835	327
41.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 17 августа 1835	330
42.	<i>Гуцкову.</i>	Страсбург, осень 1835	331
43.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 20 сентября 1835	—
44.	<i>Родным.</i>	Страсбург, октябрь 1835	332
45.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 2 ноября 1835	333
46.	<i>Гуцкову.</i>	Страсбург [1835]	334
47.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 1 января 1836	335
48.	<i>Родным.</i>	Страсбург, 15 марта 1836	337
49.	<i>Гуцкову.</i>	Страсбург [1836]	339
50.	<i>Родным.</i>	Страсбург, май 1836	341
51.	<i>Родным.</i>	Страсбург, июнь 1836	343
52.	<i>Вильгельму Бюхнеру.</i>	Страсбург, 2 сентября 1836	344
53.	<i>Родным.</i>	Страсбург, сентябрь 1836	345
54.	<i>Родным.</i>	Цюрих, 26 октября 1836	—
55.	<i>Родным.</i>	Цюрих, 20 ноября 1836	—
56.	<i>Вильгельму Бюхнеру,</i>	Цюрих, конец ноября 1836	347
57.	<i>Невесте.</i>	Цюрих, начало января 1837	—
58.	<i>Неесте.</i>	Цюрих, 12 января 1837	—
59.	<i>Невесте.</i>	Цюрих, 20 января 1837	348
60.	<i>Невесте.</i>	Цюрих, 27 января 1837	349

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

1. Г. Бюхнер. — С литографии. *Музей Института Маркса—Энгельса—Ленина* 6—7
2. Иллюстрации Н. Б. Розенфельда:
 - Робеспьер в клубе 34—35
 - Люсиль и Камилл Демулен 80—81
 - Дантон на суде 96—97
 - Ленц 136—137
 - Леонс и Лена 174—175
 - Войцек 222—223

СОДЕРЖАНИЕ

От Издательства	7
<i>А. Живелегов</i> , Георг Бюхнер	9

Георг Бюхнер. Сочинения

Смерть Дантона. Драма	37
Ленц. Новелла	137
Леонс и Лена. Комедия	175
Войцек. Сцены из неоконченной драмы	223
Гессенский крестьянский вестник. Воззвание к гессен- ским крестьянам	249
Катон Утический. Речи	269
Письма. 1831—1837	283

Комментарий

Смерть Дантона	353
Ленц	373
Леонс и Лена	376
Войцек	378
Гессенский крестьянский вестник	380
Катон Утический	383
Письма	384
Перечень писем	395

Редактор М. А. Лифшиц.
Художественная редакция
М. П. Сокольников
Технический редактор
Л. А. Чалова

*

Сдано в набор 3.III—1934 г.
Подпис. к печ. 27.I 1935 г.
Вышла в свет III. 1935 г.
Тираж 5.300 экз. Уполном.
Главл. № Б—39977. Индекс
А-1. Изд. № 142. Формат
бумаги 72 × 109 в 1/32. Ав-
торск. листов 13,62. Бум.
листов 6.25. Заказ № 1057

*

Отпечатано в типографии
им. Володарского Ленин-
град, Фонтанка, 57

Цена Р. 5.—
Переплет Р. 2.—

Георг Бюхнер



academica

Бюхнер умер двадцати трех лет, оставив среди немногочисленных произведений четыре замечательных пьесы и „Воззвание к гессенским крестьянам“. Он был революционером, идеологом крестьянской революции в Германии в ту эпоху, когда ставка на революцию пролетарскую еще не была возможна. Он умер, не найдя выхода. Но его искренний революционный пафос остался жить в его драмах, особенно в „Смерти Дантона“, одном из самых блестящих и захватывающих воплощений революционной мысли в сценических образах, которое по праву занимает видное место в жизни советского театра.

Цена Р. 5.—

Переплет Р. 2.—